В. А.
ГИЛЯРОВСКИЙ

2

Вл. Гиляровский

В. А. ГИЛЯРОВСКИЙ

ИЗБРАННОЕ

в трех томах

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1961

В. А. ГИЛЯРОВСКИЙ

Том второй

МОСКВА ГАЗЕТНАЯ
РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1961

Составление, подготовка текста,
статья и примечания
Е. Г. Киселевой



Вл. Гиляровскiй

Последние годы своей жизни мой отец неотрывно работал над этой книгой. Она целиком поглощала его интересы и силы, все его разговоры были только о ней.

«Мне хочется,— говорил он,— дополнить ею мои прежние рассказы о газетной и журнальной работе, которую я страстно любил за жизненную остроту и неповторимость».

В этой книге, так же как и в предшествующих, отца интересовали главным образом люди: иногда хорошие, иногда плохие, талантливые и бездарные, но всегда живые и колоритные.

Книга публикуется впервые полностью, какою создали ее вдохновение и пыл сердца писателя-москвича.

Н. Гиляровская

Москва, июнь, 1960 г.

«МОСКВА ГАЗЕТНАЯ» И ГИЛЯРОВСКИЙ

«Москва газетная» — новая, не известная нашему читателю книга Владимира Алексеевича Гиляровского. Она создавалась автором в последние годы жизни, как третья часть автобиографической трилогии (первая — «Мои скитания», вторая — «Люди театра»). Книга эта как бы подводит итог репортерской деятельности писателя.

«С гордостью почти полвека носил я звание репортера,— пишет В. А. Гиляровский.— Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска. И никогда, ни одно мое сообщение не было опровергнуто. Все было строгой, проверенной правдой. И если теперь я пишу эти строки, так только потому, что я репортер — имею честь быть членом Союза советских писателей».

В. А. Гиляровский предполагал издать «Москву газетную» в 1935 г., объединив ее с ранее написанными, но давно не печатавшимися рассказами. Время охвата событий в «Москве газетной», а также в рассказах падает на конец прошлого и начало нынешнего столетия, и В. А. Гиляровский назвал книгу «На грани двух веков». В настоящем томе количество рассказов по сравнению с книгой «На грани двух веков» значительно увеличено.

В. А. Гиляровский родился в глухих Сямских лесах Вологодской губернии. Отец его был помощником управляющего лесным имением. «Самое мое рождение было приключением,— говорит В. А. Гиляровский в неопубликованных записках.— Я родился в хлеве, куда мать пошла доить свою любимую корову,

и меня, всего занесенного снегом, принесла в подоле в кухню. Трех лет свалился с моста в речку Сяму. Тетка отхлопала меня изрядно. Потом стал моей нянькой и воспитателем дядя Китай, беглый матрос... Это был двоюродный брат дедушки. Он до самого конца жизни как и дед прожил тайно под чужим именем, и я узнал, что он дедушка мой, много после. Третье приключение было, когда мне исполнилось четыре года. Недалеко от хутора в малиннике на буреломе около реки раз мы с Китаем собирали малину — я в рот, а он на пирог. День солнечный, ветерок из леса, пахнет сосной, смесью малины и поляники, этой самой ароматной ягоды в мире. Вдруг дядя Кит (я его так звал) поднял голову, понюхал воздух и показал мне... Медведь невдалеке малину жрет. Как я закричу, и как рявкнет не своим голосом дядя Кит! Бросился медведь по лесу удирать. Только треск идет. А там с легкой руки и пошли мои приключения. С семи лет на озеро рыбу ловить с отцом ездил, скакал верхом на кабардинце Абреке. Небольшой гнедой Абрек легко выдерживал восьмипудового сухого и жилистого дедушку Петра, который меня трехлетнего сажал перед собой и скакал по Архангельскому тракту, катал и тешил. С семи лет ходил с нашими на охоту, скакал на кабардинце Абреке и ни разу не упал — умная лошадь была...»

В 1860 году семья переехала в Вологду, которая в то время была местом политической ссылки. Сюда высылались революционеры-демократы, народники, участники польского восстания 1863 года. У юноши Гиляровского были репетиторы братья Васильевы, тоже политические ссыльные. Возникший у В. А. Гиляровского в конце 60-х годов интерес к народной жизни, впоследствии определивший весь его творческий путь, несомненно был результатом общения с политическими ссыльными. Прочитав роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», Гиляровский решил «послужить угнетенному народу». Позднее он писал: «Рахметов, который пошел в бурлаки и спал на гвоздях, чтобы закалить себя, стал моей мечтой, моим героем, и... я решил осуществить свою мечту — бежать на Волгу, в бурлаки, послужить угнетенному народу».

Десять долгих лет прошли в скитаниях по России. За это время В. А. Гиляровский испытал на себе тяжесть бурлацкой лямки и десятипудового мешка грузчика на волжской пристани, холод и голод беспаспортного бродяги, пешком идущего из города в город, унижение и оскорбление провинциального актера,

полностью подчиненного воле и прихоти антрепренера... Он был охотником-пластуном на русско-турецкой войне 1877 года, где за храбрость получил солдатского Георгия.

С рахметовской последовательностью В. А. Гиляровский шаг за шагом проникал в глубину народной жизни. Много хорошего воспринял он от волжских бурлаков. Они были первыми, с кем пришлось ему встретиться во время скитаний. Прожитые годы не стерли в памяти образы этих богатырей, научивших его товариществу и любви к человеку труда. Если бурлачество, работа грузчика, труд кубовщика на белильном заводе и табунщика в задонских степях были для В. А. Гиляровского школой жизни, то театр, в который он приходит в 1875 году, был для него еще и своеобразным университетом. В театре В. А. Гиляровский серьезнее и глубже познакомился с русской и иностранной классикой, театр способствовал развитию его литературных склонностей. «Сцена, интересные люди,— пишет он в дневнике,— поездки из города в город, роли, чтение. Я набросился на книги и читал все, что попадало под руку». В театре В. А. Гиляровский заводит тетрадь своих первых литературных опытов. Он называет ее «Бредни Владимира Соллогуба» (Соллогуб — театральный псевдоним В. А. Гиляровского — *Е. К.*). Наряду с экспромтами и эпиграммами на товарищей по театру есть в ней и серьезные стихи, такие, как «Крючник», «Бурлаки», написанные под впечатлением недавних скитаний по Волге. Наконец, в 1881 году он смог сказать: «Я узнал то, что стремился узнать, я испытал то, что хотел испытать». В это время В. А. Гиляровский поселяется в Москве и вступает на литературный путь.

Беспросветная нужда человека, обессиленного в борьбе за свое существование, тяжелый труд, изнуряющий физически и морально, резкие контрасты в жизни народа и власть имущих, стремление к свободе — такова в основном тематика произведений В. А. Гиляровского. Его первые выступления в печати обращают на себя внимание. М. Е. Салтыков-Щедрин одобрительно отозвался о рассказе «Человек и собака», а Г. И. Успенский, прочитав рассказ «Обреченные», посвященный жизни рабочих на белильном заводе, сказал автору: «Ведь это золото, ведь ты показал такой ад, откуда возврата нет. Приходят умирать, чтобы хозяин мошну набил».

Первый сборник рассказов В. А. Гиляровского «Трущобные люди» (1887 г.) по распоряжению царской цензуры был сожжен до выхода его в свет. В цензурном комитете В. А. Гиляровскому

сказали: «Так писать нельзя. Сплошной мрак, ни одного проблеска, никакого оправдания, только обвинение существующего порядка».

Такой же участи подвергались и многие стихи В. А. Гиляровского. Артист В. П. Далматов в 1881 году пишет ему: «Как жаль, что Ваши стихи не напечатаны. Пришлите мне их прочесть, интересно, за что запретили». Н. А. Лейкин, издатель юмористического журнала «Осколки», в 1882 году сообщает В. А. Гиляровскому: «Стихотворение Ваше «Русская песня» не пропущено цензурой».

Несмотря на гонения цензуры, Гиляровский не изменил направления своего творчества. Он всегда изображал жизнь народных низов, их бедственное, угнетенное положение.

Уничтожение первой беллетристической книги, постоянное запрещение стихов явились причиной того, что в дореволюционные годы Гиляровский как писатель почти замолкает и отдает все свои силы работе в газетах и журналах. «Бродяжная жизнь юности, полная самых отчаянных приключений, турецкая война выработали во мне,— пишет он,— все необходимые качества репортера. Я не знал усталости, а слов «страх» или «опасность» не существовало в моем лексиконе. Репортерство приучило меня давать только фильтрованную правду, сразу угадывать суть дела и писать кратко, а остававшийся у меня картинный и психологический материал я использовал для беллетристики и поэзии».

Для взаимоотношений русских газет в старой России, как пишет В. И. Ленин в статье «Капитализм и печать», была характерна прежде всего «...купля-продажа кого угодно за десятки тысяч рублей...» [1]

Трудно было репортеру Гиляровскому работать в обстановке торгашества и наживы. Он понимал эксплуататорскую сущность своих хозяев-издателей. В одном из писем он говорит о том, как на его глазах владельцы газет и журналов, «ровно ничего не делая, получают барыши». В 1912 году он пишет одному журналисту: «В редакциях я не бываю ни в одной, а пишу и посылаю. Пишу как думаю. Так все изолгалось, измельчало. На лбу роковые слова: продается в розницу, оптом, на время, кому угодно. Да взгляни в любые объявления в лучших газетах — это ведь разврат, растление общества».

---

[1] *В. И. Ленин.* Соч., т. 20, стр. 144.

Так же как и в беллетристических произведениях, в корреспонденциях Гиляровский отражал жизнь простого человека. Гибель рабочих и их семей из-за скученности и отсутствия всякой предосторожности во время пожара на морозовских фабриках в Орехово-Зуеве, железнодорожная катастрофа из-за преступной халатности царских чиновников, жалкое получеловеческое существование обитателей столичного «дна», выброшенных за борт жизни, недопустимые условия производства на фабриках — таковы выступления В. А. Гиляровского как репортера, звучащие обвинением капиталистическому обществу. Понимая, что так продолжаться не может, чувствуя приближение грозы, которая должна обновить жизнь, уничтожить то, против чего боролось писательское перо В. А. Гиляровского: притоны, трущобы, голод, холод, нищету, он в 1915 г. пишет критику А. А. Измайлову: «Родится счастье будущих поколений свободных и трезвых. Наши потомки позавидуют нам, бывшим в котле, кипящем в 1905 г. Гордись, что живешь в это время».

После Великой Октябрьской революции В. А. Гиляровский сразу же активно включается в жизнь молодой Советской страны. Он сотрудничает в «Известиях», «Литературной газете», «Комсомольской правде», «Вечерней Москве», «Огоньке», «Крокодиле», «Красной ниве» и других изданиях. Осуществляется давнишняя мечта В. А. Гиляровского — Госиздат выпускает в свет отдельным изданием его поэму «Стенька Разин», которую до революции цензура не пропускала полностью в печать.

Последнее десятилетие жизни В. А. Гиляровского явилось для писателя самым плодотворным. Одна за другой выходят в свет его книги: «От Английского клуба к Музею Революции» — 1926 г.; «Москва и москвичи» — 1926 г. (первый вариант), «Мои скитания» — 1928 г., «Записки москвича» — 1931 г., «Друзья и встречи» — 1934 г., «Москва и москвичи» — 1935 г. В эти же годы он создает книги «Люди театра», «На жизненной дороге», «Москва газетная». «Я работаю,— заявляет он в одном из писем,— не покладая рук, пишу мои книги... отдыхаю на лирике, которая вырывается у меня в бессонные ночи... Сил, желания писать сколько угодно...» В последние годы жизни В. А. Гиляровский беспрестанно трудился «до боли в глазах». Отдыхом для себя он считал работу над стихами. За год до смерти он сообщает писателю А. Н. Зуеву: «Еду на все лето в свое прекрасное Картино, не беру с собой ни одной папки с материалами — беру только обрывки со стихами, а это отдых души и сердца и голове по-

кой». Мотивы его стихов главным образом гражданские и лирические. Он пишет стихотворение «Грядущее», в котором рисует картину будущего России. «В степях бескрайных» высятся домны, воздвигнуты десятки новых городов и сел, «пески немого Туркестана покрыты зеленью» — и все это дело рук советского человека, страны труда. Велико и могущественно будущее многонациональной России, объединенной «вековечным Кремлем»,— говорит поэт.

Начиная с 1924 г. В. А. Гиляровский летние месяцы проводил в поселке Картино по Белорусской железной дороге. На высоком берегу Москвы-реки в густых зарослях леса неустанно трудится он над своими книгами. Здесь он работал над своей последней, не завершенной книгой «Записки поэта», которая по его словам должна быть лучшей его книгой.

В «Москве газетной» В. А. Гиляровский рисует газетный и журнальный мир, в котором он провел полвека. В ярком изображении талантливого современника, очевидца, перед читателями проходят быт и нравы издателей, редакторов, репортеров московских газет и журналов конца XIX — начала XX века. Писатель рассказывает о самом интересном, что сохранилось в памяти, потому что это далекое прошлое «уже более никогда не повторится — и людей тех нет, и быт совсем другой стал».

Под пером В. А. Гиляровского оживает около двадцати газет и журналов, большая часть которых давно забыта. А ведь на их страницах печатались произведения и крупнейших писателей: М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. М. Горького, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. И. Куприна, И. А. Бунина, А. С. Серафимовича и многих других.

В. А. Гиляровский в «Москве газетной» прежде всего передает свое непосредственное впечатление от людей и связанных с ними событий. Автор рассказывает об издателях с их основным интересом — увеличить розницу газеты и нажить барыш, о соперничестве между газетами, о смерти репортера, пришедшего вместе с нищими к дому умершего миллионера за обещанным подаянием, о принудительной подписке на казенные издания, о подставных «редакторах для отсидки» в тюрьме за то, что газета не выдерживает официального курса. Все это жизненные наблюдения автора, которые дают ясное представление о дореволюционной журналистике.

Точка зрения В. А. Гиляровского на издателей некоторых газет и журналов, которую он высказывает в книге, не всегда

совпадает с современной оценкой их деятельности. В период работы над «Москвой газетной» (30-е годы XX века) характеристика Н. И. Пастухова и других буржуазных издателей была им значительно смягчена, между тем как в 1883 году в одном из писем Гиляровский определяет Н. И. Пастухова и А. Я. Липскерова как «бар-эксплуататоров», которые «сели на шею сотрудникам. Досадно работать на этих хамов-дармоедов... жаль тратить силы на них».

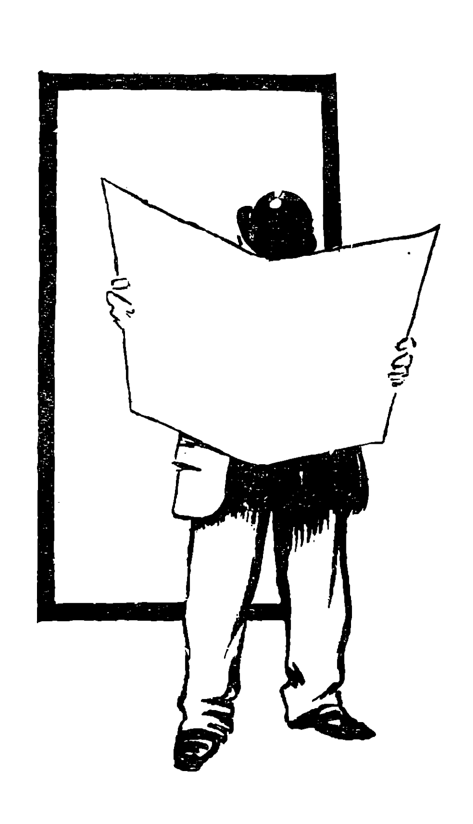
«Москва газетная» В. А. Гиляровского воспринимается как своеобразная летопись давно минувшего русской прессы и является художественной иллюстрацией к будущей истории русской журналистики конца XIX — начала XX века.

Рассказы и очерки В. А. Гиляровского, включенные во второй том, были подготовлены к печати им самим еще в 1934 году, когда «Московское товарищество писателей» предполагало издать шеститомное собрание его сочинений. Герои рассказов В. А. Гиляровского — трудовые люди — плотовщики, солдаты, ремесленники.

Тяжело и безрадостно существование Никиты Семенова («На плотах»). Плывя по Москве-реке и слушая доносящуюся с берега песню, он думает: «Почему плотовщики не поют песен?» «И стал Никита добиваться, отчего на плотах песня не спорится. Сообразил он, что как сел на плот, так и греби до поздней ночи — значит, не до песен». Сорок один год работает Никита плотовщиком, а «ничего за это время, кроме горя и нужды, не видел». Пленителен образ волжского странника Суслика, живущего в сказочном мире легенд и поверий. «Из бывальщины сказки родятся, а что было сказкой — станет бывальщиной»,— говорит Суслик.

«Москва газетная» В. А. Гиляровского, рассказы и очерки, составляющие второй том настоящего издания,— это безыскусственно простой рассказ автора «о времени и о себе».

Е. КИСЕЛЕВА



МОСКВА ГАЗЕТНАЯ

РЕДАКТОРЫ

В начале моей литературной работы в Москве прочных старых газет было только две. Это «Московские ведомости» — казенный правительственный орган, и либеральные «Русские ведомости». Это были два полюса.

Таковы же были и два московских толстых журнала — «Русский вестник», издававшийся редактором «Московских ведомостей» М. Н. Катковым, и «Русская мысль» В. М. Лаврова, близкая к «Русским ведомостям». А потом уж ряд второстепенных изданий.

Оглядываясь на свое прошлое теперь, через много лет, я ищу: какая самая яркая бытовая, чисто московская фигура среди московских редакторов газет конца прошлого века? Редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков? — Вечная тема для либеральных остряков, убежденный слуга правительства. Сменивший его С. А. Петровский? — О нем только говорили, как о счастливом игроке на бирже.

И. С. Аксаков — редактор «Руси». Не популярен со своим славянофильским журналом.

В. М. Соболевский — «Русские ведомости» — был популярен только между читателями этой газеты — профессорами, земцами, молодыми судейскими и либеральными думцами. Но вся Москва его не знала.

Н. П. Гиляров-Платонов — ученый, был неведом для публики, ибо он никогда не выходил из своего кабинета, а некрупная популярность его «Современных

известий» была создана только обличителем-фельетонистом.

П. Н. Ланин — прекрасный заводчик шипучих искусственных минеральных вод и никчемный редактор либерально-шипучего «Русского курьера», совсем не принятого Москвой.

Об остальных изданиях и говорить не приходится: уж очень незаметны они были.

Среди этого вырисовывается благодаря своей бытовой яркости и неповторимости только одна фигура создателя «Московского листка» Н. И. Пастухова, который говорил о себе:

— Я сам себе предок!

Только единственная яркая бытовая фигура: безграмотный редактор на фоне такой же безграмотной Москвы, понявшей и полюбившей человека, умевшего говорить на ее языке.

Безграмотный редактор приучил читать свою безграмотную газету, приохотил к чтению охотнорядца, извозчика. Он — единственная бытовая фигура в газетном мире, выходец из народа, на котором теперь, издали, невольно останавливается глаз на фоне газет того времени.

Издали виднее: через три года по выходе «Московского листка» Н. И. Пастухов печатал сорок тысяч экземпляров газеты.

У полуторастолетних «Московских ведомостей», у газеты политической, к которой прислушивалась Европа, в это время выходило четыре тысячи номеров, из которых больше половины обязательных подписчиков. «Русских ведомостей» в этот же год печаталось меньше десяти тысяч, а издавались они в Москве уже двадцать лет.

«Московские ведомости» были правительственной газетой, обеспеченной обязательными казенными объявлениями, которые давали огромный доход арендатору их, но расходились они около трех-четырех тысяч, и это было выгодно издателю, потому что каждый лишний подписчик является убытком: печать и бумага дороже стоили.

Газету выписывали только учреждения и некоторые отставные сановники, а частных подписчиков у нее

никогда почти не было, да и было тогда не модно, даже неприлично, читать «Московские ведомости». На редактора газеты М. Н. Каткова либеральные газеты и петербургские юмористические журналы, где цензура была насчет его слабее, положительно «вешали собак» за его ретроградство.

Так, Д. Д. Минаев напечатал в сборнике своих стихов следующее:

С толпой журнальных кунаков
Своим изданьем, без сомненья,
В России заменил Катков
С успехом третье отделенье.
В доносах грязных изловчась,
Он, если очень злобой дышит,
Свою статью прочтет подчас
И на себя донос напишет.

Из московских изданий позволяли себе полемизировать с М. Н. Катковым только «Русские ведомости» да иногда «Русский курьер» в первые три года издания, пока его редактировал В. А. Гольцев.

В московских юмористических журналах: «Будильнике», «Развлечении», а особенно в «Зрителе» — цензура вычеркивала всякое упоминание о М. Н. Каткове.

Помню, в 1882 году я дал четверостишие для «Будильника» по поводу памятника Пушкину: на Тверском бульваре, по одну сторону памятника жил обер-полицмейстер генерал Козлов, а по другую, тоже почти рядом, помещались «Московские ведомости» и квартира М. Н. Каткова:

...Как? Пушкин умер? Это вздор.
Он жив! Он только снова
Отдан под надзор
Каткова и Козлова.

Так редакция «Будильника» его даже и в набор не сдала. М. Н. Катков был священной особой для московского цензурного комитета, потому что все цензоры были воспитанниками Каткова и сотрудничали в «Московских ведомостях», чем были сильны и неприкосновенны. Их, как древних жрецов, писатели и журналисты редко лицезрели.

Первая встреча с сотрудником «Московских ведомостей» и одновременно цензором останется для меня навсегда незабвенной. На какой-то большой пирушке у Н. И. Пастухова, после обеда, за кофе с ликерами, я сидел рядом с сумским гусаром Н. П. Пашенным, совсем юношей, лихим наездником и лихим спортсменом, впоследствии знаменитым драматическим актером Рощиным-Инсаровым.

Подле него, красавца в полном смысле слова, поместился низенького роста неуклюжий рыжебородый человек в черном мешковатом сюртуке и, тыкая пальцем веснушчатой, покрытой рыжими волосами руки в грудь Н. П. Пашенного, ему что-то проповедовал.

Это был цензор Сергей Иванович Соколов, бывший семинарист, личный секретарь М. Н. Каткова.

— Вот эта рука десять лет работает под руководством самого Михаила Никифоровича Каткова.

Н. П. Пашенный, продолжая сидеть, ловким взмахом вольтижера положил свою ногу, в малиновых рейтузах и сапогах со шпорами, сверх руки С. И. Соколова, прижавши ее к столу, и, хлопая по колену, сказал:

— А эта нога три года работает под руководством полковника Клюге фон Клюгенау — первого наездника русской армии.

Горько заплакал личный секретарь М. Н. Каткова, цензор и постоянный сотрудник «Московских ведомостей». Потом дело кончилось миром.

Кроме своей газеты и «Московского листка», благодаря старому знакомству с М. И. Пастуховым, цензор С. И. Соколов все остальные газеты считал вредными, а сотрудников их — врагами отечества.

Эта сцена мне памятна потому, что в тот вечер я воочию увидал первого сотрудника «Московских ведомостей» и первого живого цензора. Да и негде было видеть сотрудников «Московских ведомостей» — они как-то жили своей жизнью, не знались с сотрудниками других газет, и только один из них, театральный рецензент С. В. Флеров (Васильев), изящный и скромный, являлся на всех премьерах театров, но он ни по наружности, ни по взглядам, ни по статьям не был похож на своих соратников по изданию, «птенцов гнезда Каткова» со Страст-

ного бульвара. Самого же М. Н. Каткова я так ни разу в жизни не видал. Он умер в 1887 году. После него стал редактором Петровский, очень друживший с супругами Витте и, кажется, больше интересовавшийся биржей, падением и повышением бумаг, чем газетой и политикой.

Газета помещалась на углу Большой Дмитровки и Страстного бульвара и печаталась в огромной университетской типографии, в которой дела шли блестяще, была даже школа наборщиков.

Первый «студенческий бунт» был вызван «Московскими ведомостями». До того времени Москва этого слова не знала и не слыхала. Если и бывали студенческие беспорядки, всегда академического характера, то они происходили только в стенах университета. Первые беспорядки, прогремевшие в Москве, были вызваны новым уставом, уничтожившим профессорскую автономию и удвоившим плату за слушание лекций, что оттесняло бедноту от слушания лекций, а тут, вслед за уставом, грянул циркуляр о введении обязательной для каждого студента новой формы: мундиры со шпагой, сюртуки, тужурки и пальто со светлыми гербовыми пуговицами и синими выпушками — бедноте не по карману!

Осенью 1884 года запылали студенческие беспорядки, подогретые еще рядом статей в защиту правительства и обычными доносами «Московских ведомостей».

Под влиянием всего этого студенческие беспорядки в первый раз вырвались на улицу.

На сходке студенты постановили устроить демонстрацию газете. К семи часам вечера студенты кучками неожиданно с разных сторон пришли на Страстной бульвар и устроили грандиозный кошачий концерт перед окнами квартиры редактора М. Н. Каткова с разбитием в них стекол. Явилась полиция и конный жандармский дивизион. Это был в Москве первый случай такого выступления конных жандармов. Жандармы с нагайками носились по бульвару и обоим проездам, разгоняя демонстрацию. Попадало всякому — и студенту и нестуденту. Били кого попало и как попало. На мостовой валялись избитые в кровь. Жандармов сбивали с лошадей, и лошади носились без всадников.

Как сейчас помню высокого студента-кавказца, когда он вырвал жандарма из седла, вмиг очутился верхом и ускакал. На помощь жандармам примчалась сотня 1-го Донского казачьего полка, выстроилась поперек проездов и бульвара и, не шелохнувшись, стояла, а жандармы успели окружить толпу человек в двести, которую казаки и конвоировали до Бутырской тюрьмы.

В газетах на другой день появились казенные заметки, что студенты пошумели на Страстном бульваре и полтораста из них было забрано и отведено в Бутырки.

Позднее во время всяких студенческих беспорядков обязательно хоть пару стекол разбивали в «Московских ведомостях», а в Татьянин день повторялись перед редакцией кошачьи концерты мирного характера.

«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

«Русские ведомости»!

— Наша профессорская газета, — называла ее либеральная интеллигенция.

— Крамольники! — шипели черносотенцы.

— Орган революционеров, — определил департамент полиции.

Газета имела своего определенного читателя. Коренная Москва, любившая легкое чтение и уголовную хронику, не читала ее.

Первый номер этой газеты вышел 3 сентября 1863 года. Подписка 3 рубля в год, три номера в неделю.

Основал ее писатель Н. Ф. Павлов и начал печатать в своей типографии в доме Клевезаль, против Мясницкой части. Секретарем редакции был Н. С. Скворцов, к которому, после смерти Павлова, в 1864 году перешла газета, — и сразу стала в оппозицию «Московским ведомостям» М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева.

В газете появились: Н. Щепкин, Н. Киселев, П. Самарин, А. Кошелев, Д. Шумахер, Н. Кетчер, Н. Демидов, В. Кашкадамов и С. Гончаров, брат жены Пушкина. Это были либеральные гласные Городской думы, давшие своим появлением тон газете навсегда. Полемика с Катковым и Леонтьевым закончилась дуэлью между С. Н. Гончаровым и П. М. Леонтьевым в Петровском парке, причем оба вышли из-под выстрелов

невредимыми, и в передовой статье «Русских ведомостей» было об этом случае напечатано:

«Судьбе было угодно, чтобы первое боевое крещение молодой газеты было вызвано горячей защитой новых учреждений общественного самоуправления и сопровождалось формулировкой с ее стороны высоких требований самой печати: свобода слова, сила знания, возвышенная идея и либеральная чистота. Вот путь, которым должна идти газета».

Н. С. Скворцов сумел привлечь лучшие литературные силы. Вошли в число постоянных сотрудников А. И. Урусов, впоследствии знаменитый адвокат, А. И. Чупров, В. М. Соболевский, А. С. Постников, А. П. Лукин, М. А. Саблин, В. С. Пагануцци, И. И. Янжул, Б. Н. Чичерин, И. К. Бабст, М. А. Воронов, А. И. Левитов, Г. И. Успенский.

Газета держала тот тон, который дала небольшая группа, спаянная общностью политических убеждений и научно-социальных взглядов, группа сотрудников газеты, бывших в 1873 году на Гейдельбергском съезде.

Разные люди перебывали за полувековую жизнь газеты, но газета осталась в руках той группы молодых ученых, которые случайно одновременно были за границей, в 1873 году, и собрались на съезд в Гейдельберг для обсуждения вопроса — что нужно делать?

И постановлено было на съезде добиваться конституции, как пути для демократического и социального обновления страны. В числе участников этого съезда были А. И. Чупров, А. С. Постников и В. М. Соболевский[1], молодые приват-доценты, с студенчества своего сотрудники «Русских ведомостей», которые, вернувшись из Гейдельберга, выработали программу газеты по решениям съезда. Она была отпечатана на правах рукописи, роздана сотрудникам и неукоснительно применялась. В конце 70-х годов примкнули к газете П. Д. Боборыкин, С. Н. Южаков, С. А. Муромцев, М. М. Ковалевский,

---

[1] Кроме них, на съезде находились Г. Е. Афанасьев, впоследствии сотрудник «Р. В.», с 1878 г. живший в провинции, и Зибер, сотрудник Вестника Европы». (*Прим. автора.*)

В. А. Гольцев и писатели-народники Н. Н. Златовратский и Ф. Д. Нефедов, а затем Д. Н. Анучин, П. И. Бларамберг, Г. А. Джаншиев, С. Ф. Фортунатов.

С 1868 года газета стала ежедневной без предварительной цензуры, а с 1871 года увеличилась в размере и подписка была 7 рублей в год.

Редакция и типография помещались тогда в доме Делонэ в Никольском переулке на Арбате.

Если я позволил себе привести это прошлое газеты, то только для того, чтобы показать, что «Русские ведомости» с самого рождения своего были идейной газетой, а не случайным коммерческим или рекламным предприятием. Они являлись противовесом казенным правительственным «Московским ведомостям».

* * *

После смерти редактора Н. С. Скворцова, талантливого и идейного журналиста, материальное состояние газеты было затруднительным. В. М. Соболевский, ставший фактическим владельцем газеты, предложил всем своим ближайшим сотрудникам образовать товарищество для продолжения издания. Его предложение приняли десять человек, которые и явились учредителями издательского паевого товарищества «Русских ведомостей».

В состав учредителей вошли вместе с В. М. Соболевским его товарищи по выработке основной программы газеты — А. С. Постников и А. И. Чупров, затем три ближайшие помощника его по ведению дела в конце 70-х и начале 80-х годов — Д. Н. Анучин, П. И. Бларамберг и В. Ю. Скалон и еще пять постоянных сотрудников — М. Е. Богданов, Г. А. Джаншиев, А. П. Лукин, В. С. Пагануцци и М. А. Саблин.

Составилась работоспособная редакция, а средств для издания было мало. Откликнулся на поддержку идейной газеты крупный железнодорожник В. К. фон Мекк и дал необходимую крупную сумму. Успех издания рос. Начали приглашаться лучшие силы русской литературы, и 80-е годы можно считать самым блестящим временем газеты, с каждым днем все больше и больше

завоевывавшей успех. Действительно, газета составлялась великолепно и оживилась свежестью информации, на что прежде мало обращалось внимания.

Я был приглашен для оживления московского отдела газеты. Сразу мне были предложены настолько хорошие условия, что я, будучи обеспечен, мог все силы отдать излюбленному мной живому репортерскому делу.

Редакция тогда помещалась в доме Мецгера, в Юшковом переулке на Мясницкой, — как раз в том доме, на котором переламывается этот искривленный переулок. В фасадном корпусе, в бельэтаже — редакция, а в надворном, фабричного вида, — типография со штатом прекрасных наборщиков под руководством уважаемых и любимых всеми метранпажей А. О. Кононова и И. П. Яковлева.

Вход в редакцию через подъезд со двора, по шикарной лестнице, в первый раз на меня, не видавшего редакций, кроме ютившихся по переулкам, каковы были в других московских изданиях, произвел приятное впечатление сразу, а самая редакция — еще больше. Это была большая, светлая, с высокими окнами комната, с рядом столов, покрытых зеленым сукном, с книжными шкафами, с уложенными в порядке на столах газетами. Тишина полная. Разговор тихий.

Первый, кого я увидел, был А. Е. Крепов, переводчик с иностранного, старичок в очках, наклонившийся над какой-то французской газетой, в которой делал отметки карандашом. Когда-то простой наборщик, он самообразовался, изучил языки и сделался сотрудником. За другим столом театральный критик, с шикарной бородой, в золотых очках, профессорского вида, Н. М. Городецкий писал рецензию о вчерашнем спектакле, а за средним столом кроил газеты полный и розовый А. П. Лукин, фельетонист и заведующий московским отделом, в помощники к которому я предназначался и от которого получил приглашение.

Рядом с А. П. Лукиным писал судебный отчет П. В. Юнгфер, с которым я не раз уже встречался в зале суда на крупных процессах. Около него писал хроникер, дававший важнейшие известия по Москве и место которого занял я: редакция никак

не могла ему простить, что он доставил подробное описание освящения храма Спасителя ровно за год раньше его освящения, которое было напечатано и возбудило насмешки над газетой. Прямо против двери на темном фоне дорогих гладких обоев висел единственный большой портрет Н. С. Скворцова.

А. П. Лукин встретил меня, и мы прошли в кабинет к фактическому владельцу газеты В. М. Соболевскому, сидевшему за огромным письменным столом с массой газет и рукописей. Перед столом — такой же портрет Н. С. Скворцова. Кожаная дорогая мебель, тяжелые шторы, на столе подсвечник с шестью свечами под зеленым абажуром. В. М. Соболевский любил работать при свечах. В других комнатах стояли керосиновые лампы с зелеными абажурами.

И тишина, тишина...

По другую сторону стола сидел В. С. Пагануцци, необыкновенно толстый, добродушного вида, и читал рукопись. Переговорили об условиях с Соболевским, и потом, когда Лукин ушел, Пагануцци взглянул на часы и сказал, подавая рукопись:

— Можно сдавать в набор!

В. М. Соболевский позвонил и передал ее вошедшему мальчику:

— В набор!

В. С. Пагануцци еще раз вынул часы и показал:

— Уже час!

— Да, пожалуй, пора! — И Соболевский обратился ко мне: — Владимир Алексеевич, не откажитесь с нами позавтракать. Каждое хорошее дело надо начинать с хлеба-соли.

Мы вышли через другую дверь, миновав редакцию, и В. М. Соболевский сказал швейцару:

— Я вернусь к трем часам.

Мы поехали в ресторан Тестова, или, как говорилось в Москве, «к Тестову», — я вдвоем с Соболевским, а Пагануцци полностью занял у извозчика убогую пролетку, у которой даже рессоры погнулись и колесо визжало о железо крыла.

От Тестова мы вышли полными друзьями, и я с той минуты всего себя отдал «Русским ведомостям».

* * *

Вскоре товарищество приобрело в Чернышевском переулке свой дом — бывшего городского головы князя В. А. Черкасского. Дом этот находился против теперь еще существующего дома Станкевича. Пришлось сделать большие перестройки, возвести новые корпуса. В 1886 году редакция перешла в это новое, специально приспособленное помещение. От старого, кроме корпуса, выходящего на улицу, был оставлен крошечный флигелек, уступленный М. А. Саблину, куда он и перевел статистическое отделение при канцелярии генерал-губернатора, заведующим которого он состоял.

С новой типографией увеличился формат газеты, номера стали выпускаться в 6 и 8 страниц.

Ни одна газета не вынесла столько кар и преследований со стороны цензуры, сколько вынесли «Русские ведомости». Они начались с 1870 года воспрещением розничной продажи, что повторилось в 1871 и 1873 годах, за что — указаний не было: просто взяли и закрыли розничную продажу.

В 1873 году 4 декабря предостережение «Русские ведомости» получили за то, что они «заключают в себе крайне, в циничной форме, враждебное сопоставление различных классов населения и, в частности, оскорбительное отношение к дворянскому сословию». И ежегодно шли эти кары, иногда по нескольку раз в год.

Это продолжалось до конца прошлого столетия. 1901 год открылся приостановкой газеты за нарушение циркуляра, запрещавшего печатать отчеты о процессах против чинов полиции, а «Русские ведомости» напечатали отчет о случившемся в судебной палате в Тамбове деле о полицейском приставе, обвинявшемся в насильственном освидетельствовании сельской учительницы.

В 1905 году было приостановлено издание с 22 декабря по 1 января 1906 года за то, что «редакция газеты «Русские ведомости» во время мятежного движения, еще не кончившегося в Москве и в других городах, явно поддерживала его, собирала открыто значительные пожертвования в пользу разных забастовочных комитетов, политических ссыльных, борцов за свободу и пр.». Дальше шли конфискации номеров, штрафы по нескольку раз

в год по разным поводам; штрафы сменялись конфискациями и привлечениями к суду. Таковых наказаний в один только 1912 год редакцию постигло двенадцать раз, а за 1912—1913 годы наказаний было тридцать. Придирались и правящие круги и мелкота. Во время «княжения» в Москве «хозяина столицы» В. А. Долгорукова у него был чиновник, начальник секретного отделения, П. М. Хотинский. Он, чтобы выслужиться перед начальством, поставил себе в обязанность прославлять Долгорукова, для чего просто податливым газетам он приказывал писать что ему надо было, а в «Русских ведомостях» состоял даже корреспондентом, стараясь заслужить милость этого единственного непокорного издания.

«Русские ведомости» раз жестоко его подкузьмили «по ошибке корректора». Когда В. А. Долгоруков ездил по ближайшим городам, то Хотинский из каждого города телеграфировал во все газеты о торжественных встречах, устраиваемых «хозяину столицы». Насколько эти встречи были торжественны, я лично не видал, но в газетах описания были удивительные. Однажды во всех московских газетах появляется большая телеграмма из Тулы о торжественной встрече. Тут и «ура», и народ «шпалерами», и «шапки вверх». Во всех газетах совершенно одинаково, а в «Русских ведомостях» оказалась напечатанной лишняя строка: «о чем, по приказанию его сиятельства, честь имею вам сообщить. Хотинский».

В телеграммах в другие газеты эта строка была предусмотрительно вычеркнута. «Русские ведомости» и секретное отделение с Хотинским во главе сделались врагами. Хотинский более уже не сотрудничал в газете.

* * *

Редакция в Чернышевском переулке помещалась в бельэтаже дома В. А. Черкасского, вход с улицы, общий с конторой. Шикарно, но не было той интимности особняка, что была в Юшковом переулке. Здесь было несомненно удобнее, но официально как-то, холодком веяло. В Юшковом переулке было уютно, проще и симпатичнее. Здесь по каждому отделу свой особый кабинет

по обе стороны коридора, затем большой кабинет редактора и огромная редакционная приемная, где перед громадными, во все стены, библиотечными шкафами стоял двухсаженный зеленый стол, на одном конце которого заседал уже начавший стариться фельетонист А. П. Лукин, у окна — неизменный А. Е. Крепов, а у другого секретарь редакции, молодой брюнет в очках, В. А. Розенберг принимал посетителей. Он только что поступил в редакцию. Для вящей торжественности А. П. Лукин над книжным шкафом, как раз против себя, водрузил большой гипсовый бюст Зевса, найденный при перестройке на чердаке дома...

А. П. Лукин, кроме своих, имевших иногда успех, фельетонов в «Русских ведомостях», под псевдонимом «Скромный наблюдатель», был еще московским фельетонистом петербургских «Новостей» Нотовича и подписывался римской цифрой XII.

Псевдоним очень остроумный и правдивый, так как в фельетонах участвовало несколько человек, а Лукин собирал весь этот материал в фельетон, который выходил в Петербурге по субботам. Не знаю, как платил Нотович, но я от Лукина получал 5 коп. за строчку и много зарабатывал, так как чуть не ежедневно давал заметки, которые нельзя было печатать в Москве, а в «Новостях» они проходили.

Репортером по заседаниям Городской думы и земства был Ф. Н. Митропольский. Немало университетской молодежи обслуживало ученые общества, давало отчеты по ученым собраниям, а я вел происшествия и командировки.

В типографии нас звали: Митропольского — «недвижимое имущество «Русских ведомостей»», а меня — «летучий репортер». Оба эти прозвания были придуманы наборщиками, нашими друзьями, так как, приходя поздно ночью, с экстренными новостями, мы писали их не в редакции, а в типографии или корректорской, отрывая каждые десять строк, чтобы не задержать набор.

Действительно, приходилось быть летучим, конкурируя с оставленным мною «Московским листком», где было все основано на репортаже.

Приходилось носиться по Москве. Телефонов тогда не было, резиновых шин тоже, извозчики — на клячах, а конка и того хуже.

Я мог бегать неутомимо, а быстро ездил только на пожарном обозе, что было мне разрешено брандмайором, полковником С. А. Потехиным, карточку которого с надписью берегу до сего времени: «Корреспонденту В. А. Гиляровскому разрешаю ездить на пожарном обозе». Кроме меня, этим же правом в Москве пользовался еще один человек — это корреспондент «Московского листка», поступивший после меня, А. А. Брайковский, специальность которого была только отчеты о пожарах.

А. А. Брайковский поселился рядом с пожарным депо на Пречистенке и провел к себе в квартиру, через форточку, звонок прямо с каланчи, звонивший одновременно с пожарным звонком, который давал команде часовой при каждом даже маленьком пожаре.

«Русские ведомости» помещали только сведения о больших пожарах, о которых, по приказанию того же брандмайора, мне приносили повестку из Тверской пожарной команды. Нередко мне приходилось, на ходу встречая мчавшийся обоз, вскакивать на что попало и с грохотом мчаться на пожары. В сыскной полиции у меня был сторож Захар, а в канцелярии обер-полицмейстера был помощник, который сообщал все происшествия из протоколов. На вокзалах имелись служащие и сторожа, которые сообщали о крушениях и о всех происшествиях на железной дороге.

«Русские ведомости», приглашая меня, имели в виду оживить московский отдел, что мне удалось сделать, и я успешно конкурировал с «Московским листком», не пропуская крупных событий. В трущобах, вроде Хитрова рынка, Грачевки и Арженовки, у меня были свои агенты из самых отчаянных бродяг, которые и сообщали свои сенсации. Иногда удавалось доставать такие сведения уголовного характера, которые и полиция не знала, — а это в те времена ценилось и читалось публикой даже в такой сухой газете, как «Русские ведомости». Не раз полиция и администрация меня тянули, но я всегда счастливо отделывался, потому что мои хитрованцы никогда не лгали мне.

Первое время они только пугали мою молодую жену: стучит в двери этакий саженный оборванный дядя, от которого на версту несет водкой и ночлежкой, и спрашивает меня. С непривычки, конечно, ее сперва жуть брала, а потом привыкла, и никогда ни один из этих корреспондентов меня не подвел. Бывали такие эффектнейшие сведения, которые производили переполох среди властей. Любезность ко мне обитателей притонов даже раз выразилась так: осенью был пожар на Грачевке, на котором я присутствовал. Когда я стал в редакции писать заметку, то хватился часов и цепочки с именным брелоком: в давке и суматохе их стащили у меня. Часы — подарок отца... Ну — украли, так украли.

Каково же было удивление, когда на другой день утром жена, вынимая газеты из ящика у двери, нашла в нем часы с цепочкой, завернутые в бумагу! При часах грамотно написанная записка: «Стырено по ошибке, не знали, что ваши, получите с извинением». А сверху написано: В. А. Гиляровскому. Тем и кончилось. Может быть, я и встречался где-нибудь с автором этого дела и письма — но никто не намекнул о происшедшем.

Эти молчаливые люди, никогда не говорившие своего имени, нередко, по непонятным для непосвященного причинам, и доставляли мне уголовные сведения.

Помню такой случай: из конторы богатой фирмы Бордевиль украли двадцатипудовый несгораемый шкаф с большими деньгами. Кража, выходящая из ряда обыкновенных: взломали двери и увезли шкаф из Столешникова переулка — самого людного места — в августе месяце среди белого дня. Полицию поставили на ноги, сыскнушка разослала агентов повсюду, дело вел знаменитый в то время следователь по особо важным делам Кейзер, который впоследствии вел расследование событий Ходынки, где нам пришлось опять с ним встретиться.

И никаких результатов!

Прошло три недели — дело замолкло. Выхожу я как-то вечером из дома — я жил в доме Вельтищева, на Б. Никитской, против консерватории, — а у ворот встречает меня известный громила Болдоха, не раз бегавший из Сибири:

— Я к вам, пропишите их, подлецов, в газетах!

И рассказал он мне в подробностях до мелочей всю кражу у Бордевиля: как при его главном участии увезли шкаф, отправили по Рязанской дороге в Егорьевск, оттуда на лошади в Ильинский погост, в Гуслицы, за двенадцать верст от станции, по дороге в Запонорье, где еще у разбойника Васьки Чуркина был притон. В кустах взломали шкаф и сбросили его в речку Гуслицу, у моста, в глубокое место под ветлами. Денег там нашлось около пятнадцати тысяч рублей, поделили и поехали обратно, а потом дорогой Болдоху опоили «малинкой», обобрали и сбросили с поезда, думая, что он «готов». Когда же Болдоха, очухавшись, вернулся на Хитров к съемщику ночлежки — капиталисту и организатору крупных разбоев «Золотому», — тот сказал, что ничего знать не знает, что все в поезде были пьяны и не видали, как и куда Болдоха скрылся. Свалился, должно, пьяный с поезда, — а мы знать не знаем!

На следующий день в «Русских ведомостях» я написал подробнейший рассказ Болдохи, с указанием места, где лежит в речке шкаф.

Через день особой повесткой меня вызывают в сыскную полицию. В кабинете сидят помощник начальника капитан Николас и Кейзер. Набросились на меня, пугают судом, арестом, высылкой, допытываются, — а я смеюсь:

— Мои агенты лучше ваших!

Кейзер из себя выходит:

— Если это неправда, мы вас привлечем по статьям!

— Пошлите вы прежде ваших агентов в Гуслицы за шкафом.

— А если его там нет, то вы будете под судом!

Я ушел домой, а через два дня мне сообщили, что сыщик Федот Рудников, ездивший в Гуслицы, привез шкаф, и последний находится взломанный в сыскном отделении.

Кейзер приехал в редакцию, но меня не нашел. Уже зимой Болдоха, арестованный на месте другого преступления, указал всех участников. Дело «Золотого» разбиралось в окружном суде и кончилось каторгой.

А Болдоха успел бежать.

* * *

Счастливейшее время моей работы было тогда в «Русских ведомостях», которое я вспоминаю с удовольствием. Я был молод, силен, гордился своим положением, дружеским отношением с людьми, имена которых незабвенны. Особенно дороги мне 80-е годы (середина), когда я весь отдавался «Русским ведомостям». Какие встречи! Кто-кто не работал в газете! Писали те, о которых даже не догадывались читатели, не воображала цензура. Только мы, очень немногие, далеко даже не все постоянные сотрудники, знали, что работали в газете и П. Л. Лавров, и Н. Г. Чернышевский, поместивший в 1885 году свой первый фельетон за подписью «Андреев», и другие революционные демократы.

— Кто это Андреев? — спросили М. А. Саблина в цензуре.

— Кто Андреев? Да актер Андреев-Бурлак!

Тем и успокоилось начальство.

Петр Лаврович Лавров подписывал статью одной буквой или совсем не подписывался под некоторыми статьями или «письмами из Лондона».

Так никогда и не узнала об этом сотрудничестве цензура. А узнай она — за одно участие их газета была бы закрыта, да и редакторы угодили бы в ссылку.

Был такой случай: министр Д. А. Толстой потребовал сообщить имя автора какой-то статьи. Ему отвечали отказом, и министр потребовал от московского генерал-губернатора высылки из Москвы редактора В. М. Соболевского; но самолюбивый «хозяин столицы» В. А. Долгоруков, не любивший, чтобы в его дела вмешивался Петербург, заступился за В. М. Соболевского и спас его. А высылка была равносильна закрытию газеты, так как утвержденным редактором тогда был один В. М. Соболевский. Писали в это время также под псевдонимами И. И. Добровольский, П. В. Чайковский и К. В. Аркакский (Добренович).

Восьмидесятые годы были расцветом «Русских ведомостей». Тогда в них сотрудничали: М. Е. Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Н. Н. Златовратский, А. П. Чехов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович,

А. Н. Плещеев, П. Е. Каронин, Г. А. Мачтет, Н. К. Михайловский, А. С. Пругавин, Н. М. Астырев, Л. Н. Толстой, статьи по театру писал В. И. Немирович-Данченко.

Какое счастье было для молодого журналиста, кроме ежедневных заметок без подписи, видеть свою подпись, иногда полной фамилией, иногда «В. Г-ский», под фельетонами полосы на две, на три, рядом с корифеями! И какая радость была, что эти корифеи обращали внимание на мои напечатанные в газете фельетоны и хорошо отзывались о них, как, например, М. Е. Салтыков-Щедрин о моем первом рассказе «Человек и собака».

А разве не радость это: в 1886 году я напечатал большой фельетон «Обреченные» (очерк из жизни рабочих на белильных заводах), где в 1873 году я прожил зиму простым рабочим-кубовщиком. В нем я дал полное впечатление каторжной работы на тех заводах, с которых люди не возвращались в жизнь, а погибали от болезней. Это был первый такой очерк из рабочей жизни в русской печати. Никогда не забыть мне беседы в редакции «Русских ведомостей», в кабинете В. М. Соболевского, за чаем, где Н. К. Михайловский и А. И. Чупров говорили, что в России еще не народился пролетариат, а в ответ на это Г. И. Успенский привел в пример моих только что напечатанных «Обреченных», попросил принести номер газеты и заставил меня прочитать вслух. А потом меня долго расспрашивали о подробностях, и Глеб Иванович остался победителем.

С этого дня мы подружились вплотную с Глебом Ивановичем, и он стал бывать у меня.

Такие же отношения установились с А. П. Чеховым, Д. Н. Маминым-Сибиряком, В. А. Гольцевым — дружеское «ты» и полная откровенность.

Работая в «Русских ведомостях», мне приходилось встречаться с иностранцами, посещавшими редакцию. Так, после возвращения из Сибири Джорджа Кеннана, автора знаменитой книги «Сибирь и каторга», в которой он познакомил весь мир с ужасами политической ссылки, редакция поручила мне показать ему московские трущобы.

Пришлось мне встретить и возвращавшихся из Сибири американских корреспондентов Гарбера и Шютце, привезших из тундры прах полярного исследователя де Лонга.

В 1879 году редактор «Нью-Йорк Геральда» Бернет снарядил экспедицию к Северному полюсу под начальством капитана де Лонга на паровой яхте «Жаннета». К северу от Берингова пролива яхта была раздавлена льдами.

Узнав о гибели «Жаннеты», американское правительство послало пароход «Роджерс» для отыскания экипажа «Жаннеты», но «Роджерс» в ноябре 1881 года сгорел в Ледовитом океане.

Вскоре после пожара «Роджерса» была послана Бернетом новая экспедиция, которую возглавляли лейтенанты Гарбер и Шютце. Они должны были отыскать следы лейтенанта Чиппа с его экипажем.

— Завтра утром надеюсь вас видеть на Рязанском вокзале! — этими словами остановил меня на Мясницкой американский консул Джон Смит, прирожденный москвич.

Гляжу на него во все глаза и ничего не понимаю. Он вынул из кармана телеграмму. Читаю: «Завтра скорым. Гарбер, Шютце».

— Завтра все узнаете. Со скорым прибывает прах де Лонга и матросов, погибших на «Жаннете».

На другой день Джон Смит по выходе из вагона представил меня прибывшим, и через час мы завтракали в «Славянском базаре».

Огромное впечатление произвел на меня рассказ о гибели экипажа «Жаннеты» среди льдов и вод, над которыми через пятьдесят лет мчали по воздуху советские герои-летчики челюскинцев и спасли сто одного человека с корабля, раздавленного льдами.

Гарбер и Шютце подробно рассказали о своем путешествии за поисками трупов товарищей и показали карты, рисунки и фотографии тех мест Севера, где они побывали.

Оба лейтенанта были еще молодые люди. Гарбер среднего роста, а Шютце выше среднего, плотного телосложения, показывающего чрезвычайно большую фи-

зическую силу. Лица у обоих были свежими, энергичными. Во время своего двухлетнего путешествия они чувствовали себя совершенно здоровыми, и только Шютце жаловался на легкий ревматизм, полученный в Якутске.

— В двадцати верстах от берега Ледовитого моря, — рассказывали Гарбер и Шютце, — при впадении западного рукава Лены, была метеорологическая русская станция Сагастир, где по временам жили доктор Бунге и астроном Вагнер, с двумя казаками и тремя солдатами, для метеорологических наблюдений. Кроме этого, по восточному и западному рукавам были разбросаны на громадных расстояниях между собой несколько тунгусских зимовок, из которых главнейшей считалась находящаяся на самой Лене, до разделения ее на рукава, тунгусская деревня Булом, отстоящая на расстоянии 1 400 верст от Якутска.

От Булома и до самого Ледовитого океана тянется страшная тундра. Зимой эта тундра представляет собой гладкую снеговую поверхность, а летом — необозримое болото, кое-где покрытое мелким березовым кустарником.

Когда пароход «Жаннета», затертый льдом, утонул в Ледовитом океане, за сто верст выше устья Лены, де Лонг с экипажем отправился южнее по льду и верстах в тридцати от берега пересел на три лодки, из которых одной командовал сам, другой инженер Мельвиль, а третьей лейтенант Чипп. Вследствие бури лодки были разделены друг от друга, расстались; Мельвиль попал в восточный рукав и благополучно достиг Якутска, Чипп с экипажем пропал без вести, а де Лонг, имевший карту устьев Лены с обозначением только трех рукавов, которыми она впадает в океан, ошибочно попал в одну из глухих речек, которая шла параллельно северному рукаву Лены и терялась в тундре.

Если бы де Лонг проплыл на лодке несколько верст западнее и попал в северный рукав, он был бы спасен, так как, поднимаясь вверх, достиг бы тунгусских деревень.

Поднявшись по глухой речке, де Лонг добрался до верховья ее, где нашел брошенную тунгусскую зем-

лянку, и, обессиленный, остался отдыхать с экипажем, а двоих матросов, Норосса и Ниндермана, отрядил на поиски жилых тунгусских стоянок, так как, найдя забытую землянку, предположил, что есть близко и селение.

Долго шли смельчаки Норосс и Ниндерман по снеговой тундре, без всякой надежды встретить когонибудь, и уже обрекли себя на гибель. Однако близ восточного рукава Лены встретили ехавшего на оленях тунгуса, направлявшегося к югу, который взял их с собой и привез в Северный Булом.

Это спасло смельчаков, хотя встреча была случайной. На такой дикий север тунгусы никогда не заходили зимой, а на этот раз встретившийся матросам и спасший их тунгус был послан старостой селения Булом к устью восточного рукава Лены, где летом забыли пешни, употребляемые для прокола льда во время ловли рыбы.

В Буломе матросам встретился ссыльный Кузьма Ермилов — человек довольно образованный, объяснившийся с матросами по-немецки, и передал им, что месяц назад здесь прошел Мельвиль с экипажем и отправился в Якутск.

Кузьма Ермилов съездил в Якутск и привез Мельвиля, который вместе с матросами отправился разыскивать де Лонга, но безуспешно.

В тундре были страшные бураны. Только на следующее лето Мельвиль, перезимовавший в Якутске, отправился с Ниндерманом и Нороссом на поиски и нашел тела товарищей близ той самой землянки, откуда матросы ушли на разведку. Тела были собраны Мельвилем и похоронены на каменном кургане, единственном возвышении в тундре. На кургане был воздвигнут большой деревянный крест с именами погибших.

Я видел рисунок этой могилы, сделанный г. Шютце: посреди голой тундры стоит высокий курган из дикого камня, на нем возвышается огромный крест, обложенный снизу почти на сажень от земли несколькими сотнями крупного булыжника.

Гарбер и Шютце на маленькой шхуне в сопровождении шести русских матросов, переводчика, сибирского ка-

зака Петра Калинкина и офицера Ганта, спасшегося со сгоревшего парохода «Роджерс» и добравшегося до Якутска, отправились на поиски.

На десятый день они добрались до Булома, где к ним присоединился Кузьма Ермилов, и отправились дальше.

В продолжение всего лета, захватив часть осени, пешком и на шхуне путешественники обошли, не забыв ни одного протока, ни одного самого глухого местечка, всю дельту Лены и весь берег океана.

В ноябре они, измученные, усталые, отдыхали десять дней на метеорологической станции Сагастир, потом прожили несколько дней в пустой забытой зимовке тунгусов «Китах», затем, еще раз побывав на занесенной снегом могиле товарищей, погребенных Мельвилем, отправились в Якутск и сообщили о неудачных поисках экипажа лейтенанта Чиппа.

Из Нью-Йорка было получено приказание привезти тела де Лонга и его товарищей в Америку, что и было сделано лейтенантами Гарбером и Шютце. Ими же был привезен и дневник де Лонга, который вел он до самой своей смерти в пустынной тундре.

Последние строки этого дневника такие: «Наш завтрак состоял из пол-ложки глицерина и куска сапога. Один бог знает, что будет с нами дальше...», и еще «...съеден последний кусок сапога...» Жизнь автора кончилась с этими строками.

Оба лейтенанта были приняты и чествуемы редакцией «Русских ведомостей». Я показал им Москву, проводил их на вокзал и по их просьбе некоторое время посылал через них корреспонденции в «Нью-Йорк Геральд», которые там и печатались.

* * *

В 1892 году мне пришлось невольно сделаться безвестным корреспондентом английской газеты. Я был командирован редакцией на холеру в Донскую область, где болезнь свирепствовала с ужасающей силой. Холера была мне не в новинку. Еще в 1871 году, когда я шел в бурлацкой лямке, немало мы схоронили в прибрежных песках Волги умерших рядом с нами товари-

щей бурлаков, а придя в Рыбинск и работая конец лета на пристани, в артели крючников, которые умирали тут же, среди нас, на берегу десятками и трупы которых по ночам отвозили в переполненных лодках хоронить на песчаный остров, — я немало повидал холерных ужасов. Вот почему я и принял эту командировку не задумываясь. Мне уже пришлось до поездки в Донскую область этим летом видеть холеру в Нижнем, во время ярмарки, и очень оригинальную с ней борьбу. Губернатором был тогда старый моряк генерал Н. М. Баранов, мужчина серьезный и уж очень энергичный. Когда разыгралась во время ярмарки холера вовсю, он самолично метался всюду и распоряжался. Купцам он прямо приказывал за свой счет оборудовать лазареты и, кроме того, на огромной барже на их счет создал прекрасно поставленный плавучий госпиталь, куда свозил больных. Сам Баранов являлся внезапно в какую-нибудь мастерскую или на завод, где много рабочих, производил осмотр и, конечно, всегда находил грязь и беспорядки. Нечистые спальни, грязные столовые, плохая пища, отсутствие кипяченой воды были всюду, как и до холеры. Найдя беспорядки и указав их, Н. М. Баранов приглашал хозяина сесть с ним в его пролетку, вез на набережную и лично отвозил на лодке прямо к плавучему госпиталю, где сдавал коменданту: «Вот, получите нового служителя, пусть моет полы и ведра таскает», — и уезжал.

Когда человек пять таких тузов отправил он в госпиталь, все начали чистить, мыть, перестраивать и кормить рабочих и служащих свежей пищей в чистых столовых. В две недели Нижнего стало не узнать: чистота на улицах и на дворах.

Кроме купцов, отправленных в служители в холерный госпиталь, Баранов стал забирать шулеров, которые съехались, по обычаю, на ярмарку. Их он держал по ночам под арестом, а днем посылал на грязные работы по уборке выгребных и помойных ям, а особенно франтоватых с девяти часов утра до обеда заставлял мести площади и мостовые у всех на виду.

В толпе шулеров, очищающих Нижний от грязи во время холеры, старался с метлой в руках бритый,

как актер, пожилой франт в котелке и модном пальто. Это было на площади против ярмарочного театра. Проезжал мимо Баранов и остановился. К нему подошел пристав:

— Ваше превосходительство! Как бы неловкости не вышло...

— Что такое?

— А вот изволите видеть этого бритого...

— Где взят?

— В игорном доме. Он сказал, что он уфимский городской голова. Как бы неловко...

— Да! — задумался Баранов и смотрит, как все метут-стараются.

— Что же прикажете, ваше превосходительство?

— Ну, если... городской голова... Так отправить его мести мостовую наверх, в город, перед Думой! — и поехал. Потом, обернувшись, крикнул: — Пусть метет три дня перед Думой!

Много тогда поработал по холере доктор и писатель С. Я. Елпатьевский, который своей неутомимостью, знанием местных условий и народа спас тысячи людей.

С. Я. Елпатьевский работал в самых опасных местах — в притонах Канавина, на пристанях, главным образом на Песках, до отказа заселенных рабочим народом.

* * *

В июле я выехал на Дон. За Воронежем уже стала чувствоваться холера. Наш почти пустой скорый поезд встречал по пути и перегонял на станциях санитарные поезда с окрашенными в белую краску вагонами, которые своим видом наводили панику. Здесь на них не обращали внимания, но на глухих станциях мне не раз приходилось слышать:

— В белых вагонах — это холеру везде развозят, чтобы народ морить... Кому надо народ морить? Как холеру развозят? Зачем и кто? — так рассуждали и говорили.

Ехать в поезде было невесело. Жара страшная. Станции пусты и провоняли донельзя карболкой.

Я решил начать поездку с Ростова, а потом про-

браться или в верховья Дона или на Волгу, через станцию Калач.

Первая встреча с холерой была у меня при выходе из вагона в Ростове. Подхожу к двери в зал первого класса — и передо мной грохается огромный, толстый швейцар, которого я увидел еще издали, сходя с площадки вагона. Оказалось — случай молниеносной холеры. Во время моей поездки я видел еще два таких случая, а слышал о них часто.

Неделю я провел верхом вдвоем с калмыком, взятым по рекомендации моего старого знакомого казака, который дал мне свою строевую лошадь и калмыка провожатым. В неблагополучных станицах мы не ночевали, а варили кашу и спали в степи. Все время жара была страшная. В редких хуторах и станицах не было разговора о холере, но в некоторых косило десятками, и во многих даже дезинфекция не употреблялась: халатность полная, мер никаких.

В одной из станиц в почтовой конторе во время приема писем упал и умер старший почтовый чиновник, и все разбежались. Пришлось чужому, проезжему человеку потребовать станичное начальство, заставить вынести из конторы тело, а контору запереть, чтобы не разграбили.

Это был второй случай молниеносной холеры. Третий я видел в глухой степи, среди артели косцов, возвращавшихся с полевых работ на родину. Мы ехали по жаре шагом. Впереди шли семеро косцов. Вдруг один из них упал, и все бросились вперед по дороге бежать. Остался только один, который наклонился над упавшим, что-то делал около него, потом бросился догонять своих. Мы поскакали наперерез бежавшим и поймали последнего.

— Что случилось? Что ты взял у него?

— Паспорт и деньги, братеник это мой, чума заела...

Двое вернулись, смело подошли к нам и объяснили, что они воронежские, были на сенокосе, отработали и шли домой. Их было одиннадцать человек, но дорогой четверо умерли.

— От этой самой чумы. Четверо на земле умерли, а этот прямо... шел-шел — хлоп, и готов! Во, его братеник он!

Бледные, дрожат.

Почему они холеру звали чумой — так я и не спросил. Да вообще разговаривать было некогда, да и не к чему — помочь нельзя, ближайший хутор верстах в десяти, как сказал калмык.

Немало таких брошенных трупов валялось по степи. Их присутствие было видно издали по стаям коршунов и воронья...

Я привожу здесь маленький кусочек из этой поездки, но самое описание холерных ужасов интересно было в то время для газетной статьи, а теперь интереснее припомнить кое-что из подробностей тех дней, припомнить то, что уж более никогда не повторится, — и людей таких нет, и быт совсем другой стал.

Как и всегда во всех моих репортерских изысканиях, да вообще во всех жизненных приключениях, и на этот раз мне, как говорится, повезло.

Когда упавшего швейцара унесли, я сел за столик в буфете и заказал яиц всмятку.

Едва я доел последнее яйцо, вырабатывая в голове, с чего и как начать мои исследования, как ко мне подошел сотник первого казачьего полка, спортсмен, мой старый знакомый и сотрудник «Журнала спорта».

— Владимир Алексеевич, где путь держите?

Истый казак, несмотря на столичную культуру, сказался в нем. Ведь ни один казак никогда не спросит, куда едете или идете, — это считается неприличным, допросом каким-то, — а так, как-нибудь стороной, подойдет к этому. Слово же «куда» — прямо считается оскорблением.

«Куда идешь?» — спросит кто-нибудь, не знающий обычаев, у казака.

И в ответ получит ругань, а в лучшем случае скажут: «Закудыкал, на свою бы тебе голову!..»

Если же встречаются друзья, которым друг от друга скрывать нечего, то разрешается полюбопытствовать: «Где идете (или едете)?»

В ответ на его вопрос я рассказываю ему цель своей поездки: осмотреть холеру в степи, по станицам и хуторам, а потом заехать в Новочеркасск и взять официальные данные о ходе эпидемии.

— И надумал я нанять пару лошадей, доехать до

одной станицы, конечно, составив предварительно маршрут, в станице снова нанять лошадей до следующей, и так далее, и закончить Новочеркасском.

— Так. Только едва ли закончите Новочеркасском, как бы в степи не побывшиться... Ведь в тех же телегах, на которых вы будете ездить, и холерных возят... Долго ли до греха...

— Что же делать?

— Что делать? А вот сперва выпить хорошего вина, а потом оно и покажет, что делать... А дело-то простое. Сейчас едем ко мне на хутор: там у меня такой третьегодняшний самодав — пальчики оближешь! Да и старые вина есть первосортные, — отец сам давит... Вот уж выморозки так выморозки — ум проглотишь! Ни у Соколова, ни у Меркуловского ничего подобного!

— Это очень завлекательно, но ведь у меня дело важное. Сейчас я наметил первым делом в город — купить бурку, чайник медный и кое-что из съестного...

— Так. И чайник, и бурку, и казанок с треногой, и суму переметную пойдем купим. До поезда еще часа два. А потом в вагон и ко мне на хутор, — а маршрут мы вам с отцом составим, он все знает.

Пошли за покупками.

— А ведь вам везет! — сказал он дорогой.

— В чем?

— Да вот хоть в этом! Я уж все обдумал, и выйдет по-хорошему. На ваше счастье мы встретились: я и в город-то случайно, по делу, приезжал — безвыходно живу на хуторе и хозяйствую. Я уж год как на льготе. Пару кровных кобыл купил... свой табунок, виноградничек... Пухляковский виноград у меня очень удался ныне. Да вот увидите. Вы помните моего старого Тебенька, на котором я в позапрошлом году офицерскую скачку взял? Вы его хотели еще в своем журнале напечатать...

— Хорошо помню — караковый полукровок, от Дир-боя.

— Три четверти кровный! Вот на нем-то вы и поедете по степям. Плохому ездоку не дал бы, а вам с радостью! Из всякой беды вынесет.

— Ну, а как же... — заикнулся я, но он меня перебил:

— Да вот так же, вам всегда везет, и сейчас тоже! Вчера приехал ко мне мой бывший денщик, калмык, только что из полка отпущенный на льготу! Прямо с поезда, проездом в свой улус, прежде ко мне повидаться, к своему командиру... Я еду на поезд — а он навстречу на своем коне... Триста монет ему давали в Москве — не отдал! Ну, я велел ему дожидаться, — а вышло кстати... Вот он вас проводит, а потом и мою лошадь приведет... Ну как, довольны? — и хлопнул меня по плечу.

— Счастлив! Александр... Александр...

— Ну, уж вы меня попросту, как отец зовет, Санькой! Ты, мол, Санька!

— Ну ладно, спасибо тебе, Саня!

* * *

На полустанке нас ждала пара прекрасных золотистых полукровок в тачанке, и на козлах, рядом с мальчуганом-кучером, в полной казачьей форме калмык. Он спрыгнул и вытянулся.

— Здравствуй, Ваня! Хорошо, что дождался, а я хочу тебе на неделю службу дать.

— Рад стараться, ваше благородие.

Дорогой мы все переговорили. Я спросил у калмыка его имя.

— Иван, — так меня, когда я в денщики к их благородию поступил, они меня назвали, и весь полк так звал! — очень чисто, почти без акцента ответил мне калмык.

Двое суток я прожил у милых казаков. Старик, участник турецкой кампании на Балканах, после серьезной раны безвыходно поселился на хуторе и хозяйствовал. Его дом был полная чаша, а жена, красавица с седыми кудрями, положительно закормила меня. Такого каймака я никогда и нигде не ел! Отец угощал удивительными десятилетними наливками и старыми винами, от которых голова свежая, сиди за столом и пей, только встать не пробуй — ноги не слушаются! Сначала отец как-то поморщился, узнав, что сын дает мне своего Тебенька, но когда на другой день мы устроили кавалькаду и я взял на нем два раза ограду, — он успокоился,

и мы уж окончательно подружились. Я фотографировал группы семьи — вся семья только трое: отец, мать и холостой Саня, — потом снял калмыка, а потом... Вот я о чем жалел, когда выехал на холеру, — забыл у них свой кодак, засунув его в книги, и получил его почтой в Москву вместе с чудным окороком и гусиными копчеными полотками. (В кодаке было снято пять пластинок— в том числе был и калмык.)

«А вина и наливки пришлю после, с какой-нибудь оказией, а то эти подлецы на почте не приняли, и пришлось Саньке посылку перекупоривать», — было в письме от старика.

И действительно, зимой прислал!

А как хлопотала сама хозяйка, набив сумку съестным, — а главное, что больше всего пригодилось, — походными казачьими колобками, внутри которых находилось цельное круто испеченное яйцо! Была ветчина малосольная, пшено, рис, чудное сало, запас луку и чесноку. А каким великолепным поваром оказался мой калмык, питавший меня ежедневно в обед и в ужин кулешом, в который валил массу луку и чесноку — по рекомендации моих хозяев, против холеры лучшее средство. О напитках тоже позаботились. И, напутствуя меня, когда я уже был готов к отъезду, старый казак надел мне на шею большой медный крест на шелковом гайтане.

— Против холеры первое средство — медь на голом теле... Старинное средство, испытанное! [1]

Вспомнил я, что и старые бурлаки во время холеры в Рыбинске носили на шее и в лаптях, под онучами, медные старинные пятаки.

Приняв от него это благословение, я распрощался с милыми людьми, — и мы с Иваном очутились в выгоревшей, пыльной степи... Дальнейшие подробности со всеми ужасами опускаю, — да мне они уж и не казались особенными ужасами после моей командировки несколько лет тому назад за Волгу, в Астраханские степи,

---

[1] Теперь, когда я уже написал эти строки, я рассказал это моему приятелю врачу-гомеопату, и он нисколько не удивился. У нас во время холеры как предохранительное средство носили на шее медные пластинки. Это еще у Ганнемана есть.

на чуму, где в киргизских кибитках валялись разложившиеся трупы, а рядом шевелились черные, догнивающие люди. И никакой помощи ниоткуда я там не видел!

Насмотрелся я картин холеры, исписал три записные книжки.

* *
*

Мы стали приближаться к Новочеркасску. Последнюю остановку я решил сделать в Старочеркасске, — где, как были слухи, много заболевало народу, особенно среди богомольцев, — но не вышло. Накануне, несмотря на прекрасное питание, ночлеги в степи и осторожность, я почувствовал недомогание, и какое-то особо скверное: тошнит, голова кружится и, должно быть, жар.

Я ничего не сказал калмыку, а только заявил, что завтра поедем прямо в Новочеркасск, а в Старочеркасск заезжать не будем, хотя там висят на паперти собора цепи Стеньки Разина, которые я давно мечтал посмотреть. А слыхал я о них еще во времена моей бродяжной жизни, в бессонные ночи, на белильном заводе, от великого мастера сказки рассказывать, бродяги Суслика, который сам их видал и в бывальщине о Степане Тимофеиче рассказывал, как атамана забрали, заковали, а потом снова перековали и в новых цепях в Москву повезли, а старые в соборе повесили для устрашения...

Если я не поехал посмотреть эти цепи, так значит уж мне плохо пришлось! Я даже отказался, к великому горю Ивана, ужинать и, по обыкновению завернувшись в бурку, седло под голову, лег спать, предварительно из фляги потянув полыновки и еще какой-то добавленной в нее стариком спиртуозной, очень вкусной смеси.

Ночь была теплая, и я проснулся утром, когда солнце взошло. Голова кружилась, тошнило. Наконец я сказал Ивану, который уже вскипятил чай:

— Уж не холера ли со мной? Ведь со вчерашнего дня!

— Никак нет, ваше благородие, а впрочем, все может быть! Только это ничего — пропотеть, и все пройдет! Напьемся чайку.

Он и о себе и обо мне одинаково говорил «мы»— чисто денщицкая привычка.

«Что нового?»—спросили денщика одного полкового адъютанта.

«Есть новость! Так что мы с барином женимся, его благородие полковницку дочку засватали»...

— Напьемся чайку напополам с вином (которого он и в рот не брал), а потом наденем на себя бурку да наметом, наметом, пока скрозь не промокнем, — и всякая боль пройдет! К Черкасску здоровы будем!

А меня дрожь пробирает и тошнит.

Поседлал Иван, туго затянул подпруги—и ахнули мы с ним вместе широким наметом — только ветер свистит кругом да голову отворачиваешь! Давно я так не скакал, а без тренировки задыхаешься. Да еще слабость...

Иногда, когда Иван отставал, я сдерживал моего Тебенька, — но сын славного Дир-боя, отмахав верст двадцать, был свеж, только фырчит, ноздри раздувает, а повода не спускает, все попрашивает. И у калмыка хорош конь — тоже свеж.

— Он от Подкопаевского Тумана.... Лошади цены нет, — хвалился Иван.

Я был мокрый насквозь, но чувствовал себя бодро.

— Ваня, а ведь я здоров!

— Пропотел — и здоров. Это «она» была с вами! Ляг только — застынешь и умрешь!.. Может, кашу сварить?

— Нет уж, не стоит...

— Так винца выпейте!

Через час мы были в Новочеркасске, у подъезда Европейской гостиницы, где я приказал приготовить номер, а сам прямо с коня отправился в ближайший магазин, купил пиджачную пару, морскую накидку, фуражку и белье. Калмык с лошадьми ждал меня на улице и на все вопросы любопытных не отвечал ни слова, притворяясь, что не понимает. Вымуштрованный денщик был — и с понятием!

* * *

До сего времени не знаю, был ли это со мной приступ холеры (заразиться можно было сто раз) или что другое, но этим дело не кончилось, а вышло нечто смешное и громкое, что заставило упомянуть мою фамилию во многих концах мира, по крайней мере в тех, где получалась английская газета, выходившая в миллионах экземпляров

Отпустив калмыка, я напился чаю и первым делом пошел в редакцию газеты «Донская речь», собрать кое-какие данные о холере. Газета подцензурная, и никаких сведений о холере, кроме кратких, казенных, в ней не было. Чтобы получить подробные официальные сведения о ходе холеры во всей области, мне посоветовали обратиться в канцелярию наказного атамана. Между прочим, шутя я рассказал в редакции о том, как меня калмык от холеры вылечил.

Я отправился в канцелярию, и только вышел, встречаю знакомого генерала А. Д. Мартынова, начальника штаба, в те дни замещавшего наказного атамана, бывшего в отпуску. Я ему сказал, что иду в канцелярию за справками.

— Не беспокойтесь, все у меня в руках, все будет сделано, а теперь ко мне завтракать; мне карачаевских барашков привезли да икры ачуевской!

— С удовольствием!

— Вы из Москвы? Ну, как там?

Не успел я ответить, как из-за угла выскочили два бешено мчавшихся всадника — офицер и казак.

— Стой! — крикнул казаку офицер, на всем скаку посадил на задние ноги коня, казак на лету подхватил брошенные поводья, а офицер, вытянувшись в струнку, отрапортовал генералу: — Сейчас я остановил поезд-шахтерку на посту. Обошел все вагоны, нашел троих холерных, высадил их и отправил в холерный барак.

— Подальше, подальше, Василий Иванович, а то еще холеру принесете. Поезжайте переоденьтесь!

А сам назад пятится.

— Слушаю, ваше превосходительство! — откозырял офицер, прямо с земли, без стремени прыгнул в седло и умчался с казаком.

— Это Власов! Наш полицмейстер, отчаянная голова... Да! Да! Вы из Москвы сейчас?

— Нет, из степи! — И я рассказал ему сделанный мной маршрут, украсив его виденными картинами.

Изменился еще больше, чем от рапорта Власова, генерал:

— Так это вы из самого очага холеры?!

Посмотрел на часы.

— Знаете? Ведь мы опоздали! Уж второй час, а я думал — двенадцать! Пойдемте завтракать в «Ротонду», у меня дома, я думаю, позавтракали.

А сам все жмется. Пришли в городской сад, в «Ротонду», где я за завтраком рассказал, какие мне надо получить сведения.

— Канцелярия не даст! И я ничего не могу сделать— о шествии холеры мы даже в Петербург сообщаем в пакетах с подписью «совершенно секретно»... Циркуляр строжайший, а главное, чтобы в печать не попало!

Из ресторана я пришел в номер, купив по пути пачку бумаги. Я решил прожить два дня здесь, на свободе привести в порядок мои три сплошь исписанные записные книжки, чтобы привезти в Москву готовые статьи, и засел за работу.

После обеда, на другой день, я опять был в «Донской речи», и редактор мне подал гранку «Калмыцкое средство от холеры», перекрещенную красными чернилами.

В двадцати строках рассказано происшествие с корреспондентом «Русских ведомостей», — далее полностью мои инициалы и фамилия. Точь-в-точь, как было!

Гранку эту отдали мне, и по приезде в Москву я показал ее — и все много смеялись.

В числе видевших гранку был репортер «Петербургского листка» И. М. Герсон.

Дня через три вдруг я вижу в этой газете заметку «Средство от холеры»—по цензурным условиям ни о Донской области, ни о корреспонденте «Русских ведомостей» не упоминалось, а было напечатано, что «редактор журнала «Спорт» В. А. Гиляровский заболел холерой и вылечился калмыцким средством: на лошади сделал десять верст галопа по скаковому кругу — и болезнь как рукой сняло».

Прошло недели две. В редакции «Русских ведомостей» заведующий иностранными газетами А. Е. Крепов преподнес мне экземпляр газеты, в которой была перепечатана эта заметка из «Петербургского листка».

Еще в некоторых иностранных газетах появился перевод заметки из «Петербургского листка» — так тогда заграница интересовалась холерой!

Это — курьез из моей репортерской поездки, но она дала мне и нечто более серьезное.

* * *

За полгода до моей поездки на холеру, в Москве, на одной из студенческих тайных вечеринок в пользу Донского землячества, я прочел мою поэму «Стенька Разин».

Поэма эта как запрещенная всегда имела у молодежи успех, а у донцов особенный. Во время обычных танцев после программы на эстраде я отдыхал в буфете. Ко мне подошел знакомый композитор и музыкальный хроникер Грабовский и попросил разрешения представить мне свою жену, донскую казачку, которая очень заинтересовалась поэмой. Познакомились. Она рассказала, что ее отец, известный на Дону педагог, теперь уже живущий на пенсии, еще будучи студентом и учителем в станице, много работал по собиранию материала о Стеньке Разине, и если я позволю ей переписать это стихотворение для ее отца, то доставлю ему нескончаемое удовольствие.

— Мне думается, что если бы вы с ним повидались, то от него получили бы, наверное, много неизвестных данных. Так, например, я помню, отец всегда говорил, что казнь Разина была не на Красной площади, как пишут историки, а на Болоте.

Я удивился — в первый раз слышу!

— Он очень счастлив будет получить поэму о его любимом герое. А если будете на Дону — повидайте его обязательно!

Я записал адрес и обещал прислать стихи, но как-то, за суетой, так и не послал.

* * *

Сидя третий день в номере «Европейской гостиницы», я уже кончал описание поездки, но вспомнил о цепях Стеньки Разина, и тут же пришло на память, что где-то в станице под Новочеркасском живет известный педагог, знающий много о Разине, что зовут его Иван Иванович, а фамилию его и название станицы забыл.

Я отправился на счастье в «Донскую речь», — может быть, там знают известного педагога Ивана Ивановича и помнят его фамилию. В кабинете редактора были еще два сотрудника.

— Какой у вас на Дону есть известный педагог Иван Иванович? Я его фамилию забыл!

— Иван Иванович? — в один голос сказали все трое. — Да мы все трое ученики его... Он воспитал три поколения донцов. Кто не знает нашего любимого учителя!.. Инспектор реального училища! Теперь на пенсии!

И с какой любовью они рассказывали об этом старике!

Иван Иванович из простых казаков. Кончил гимназию, кончил математический факультет Харьковского университета, и, как лучшему выпускнику, ему предложено было остаться при университете, но он отказался:

«У нас на Дону ученые нужнее!»

Вернулся на Дон и поступил на службу народным учителем, в станице. И долго он был народным учителем, а потом наконец перешел учителем в гимназию в Новочеркасск, а затем, много-много лет прослужив учителем математики, получил место инспектора реального училища, продолжая в нем и преподавание. Он пользовался общей любовью всего Дона, ученики чуть не молились на него, начальство уважало его за знания и за исключительную честность, но невзлюбил его наказной атаман Святополк-Мирский, присланный на эту должность из Петербурга. «Святополк Окаянный», — звали его все донцы, ненавидя за всевозможные пакости.

На несчастье Ивана Ивановича, в реальном училище учились два племянника Святополка, франтики и лентяи. Иван Иванович два года подряд оставлял их в одном и том же классе, несмотря на то что директор, по поручению Святополка, просил Ивана Ивановича поставить им на выпускном экзамене удовлетворительный балл:

«Родственники атамана! Надо сделать!»

«Для меня все ученики равны — а до того, что им атаман родственник, мне нет дела!»

И вкатил им по двойке. Пришлось им выйти из училища, но пришлось выйти из училища и Ивану Ивановичу...

Как уж там атаман устроил — любимца-педагога уволили с крохотной пенсией.

Все возмутились, но сделать ничего нельзя было. Отозвались тем, что начали ему наперебой давать частные уроки — и этим он существовал, пока силы были. Но пришла старость, метаться по урокам сил нет, семьища — все мал-мала меньше... В нужде живет старик в своем домишке в станице Персияновка.

— Спросите там Ивана Ивановича — всякий укажет!

Тут я и станицу вспомнил, записанную в потерянном мной адресе: Персияновка!

Через час извозчик привез меня в станицу верстах в десяти от города.

Я застал старика с большой седой бородой, в одной рубахе и туфлях, с садовым ножом в руках за обрезкой фруктовых деревьев в прекрасном садике. Я передал ему поклон от дочери и рассказал о цели моего приезда.

— Рад, очень рад! А вот первым делом пойдем обедать, слышите — зовут, а после обеда и поговорим.

Старик представил меня жене, пожилой, но еще красивой южной, донской красотой. Она очень обрадовалась поклону от дочери. За столом сидели четыре дочки лет от четырнадцати и ниже. Сыновей не было — старший был на службе, а младший, реалист, — в гостях. Выпили водочки — старик любил выпить, а после борща, «красненьких» и «синеньких», как хозяйка нежно называла по-донскому помидоры, фаршированные рисом, и баклажаны с мясом, появилась на стол и бутылочка цимлянского.

Когда дети ушли, начался наш разговор.

Я прочел отрывки из моей поэмы, причем старушка не раз прослезилась, а Иван Иванович тоже расчувствовался и сказал:

— Превосходно! Это, пожалуй, лучшее из всего, что я читал о Разине. Только позвольте мне указать на некоторые детали. Повторите мне первые строки казни.

Читаю:

...Утро ясно встает над Москвою,
Солнце ярко кресты золотит.
А народ еще с ночи толпою
К Красной площади, к казни спешит...

— Вот тут историческая неверность, впрочем, — сказал он, — утвержденная нашими учеными историками; на самом деле Разин казнен не на Красной площади, а на Болоте. Я могу утверждать это. Со студенческой скамьи и в первые годы учительства, холостым еще, я страстно увлекся двумя нашими героями — Разиным и Булавиным, а потом и потерпел за это увлечение — был под надзором, и все работы мои пропали. Вот она знает кое-что... На мою карьеру повлияло: сколько лет в городе места не давали. Разин-то еще не так, а вот особенно за Булавина досталось. Больше Разина его боялись! Да и о Стеньке песни только в степях певали, а в училищах строго запрещалось! Вот тогда еще узнал я о казни на Болоте — рылся у нас в архивах, хотел в Москву ехать, куда донские дела того времени были от нас отосланы, а как случилась беда — все бросил! Вот сейчас с вами в первый раз разговариваю о нем.

И много мне Иван Иванович рассказал из преданий, сохранившихся в семьях потомков разинцев, хранивших эти предания от своих дедов, прадедов, участников разинского бунта, присутствовавших при казни, видевших, как на Болоте четвертовали их атамана и как голову его на высокий шест, рядом с помостом, поставили на берегу Москвы-реки.

— Тогда, перед казнью, много наших донцов похватали! Приехали они в Москву атамана спасать. Похватали и сослали кого в Соловки, кого куда. Уж через пять лет, когда воцарился Федор, вернули, и многие из них шли через Москву и еще видели на шесте, против Кремля, на Болоте, голову своего атамана.

Назвал он мне несколько фамилий, где еще живы предания меж стариков.

— Только вряд ли старики говорить будут. Опасаются чужих людей. Есть и прямые потомки Разина.

Пришли дети к чаю и перебили как раз на этих словах наш разговор. При детях старик об этом не говорил.

* * *

Потом, на закате, на скамейке в саду он жалел, что пропали все песни и сказы о Разине, которые он собрал.

— Особенно жаль одну былину, в Пятиизбянской

станице я ее записал: о голове Стеньки, которая в полночь с Москвой-рекой разговаривает о том, что опять Разин явится на земле и опять поведет народ.

Я хотел уехать с почтовым поездом, — станция была рядом, — но он оставил меня ночевать и много-много рассказывал из донской старины. По его просьбе я раза три прочел ему поэму и обещал ее прислать.

Прощаясь, он сделал еще замечание:

— Да вот еще Фролка. У вас его казнили вместе с атаманом. Это неправда. Его отвели в тюрьму и несколько лет пытали и допрашивали, где Степан клады зарыл. Возили его сыщики и по Волге, и к нам на Дон привозили. Старики в Кагальнике мне даже места указывали, где Фролка указывал. Места эти разрывали, но нашли ли что, никто не знает, тайно все делалось. Старики это слыхали от своих дедов очевидцев.

У казаков, с издревле и до последнего времени, говорится не Степан Разин, а Стенька. Это имя среди казаков почетнее.

«Стенька, Фролка — это пережиток старого, это - позорящие имена. Надо говорить Степан, Фрол», — нередко приходится слышать такие замечания.

Это неверно. По-староказацки Стенька, Фролка — почетно. Такое прозвище заслужить надо.

В старинной песне пелось про атамана, что «на том струге атаман сидит, что по имени Степан Тимофеевич, по прозванию Стенька Разин сын».

Это же было и с его предшественником, другим Тимофеевичем, Ермаком. Ермак — прозвание, его имя было Ермил. «Атаманом быть Ермилу Тимофеевичу»,— поют в одной песне. В другой Ермак о себе: «Я шатался, мотался, Ермил, разбивал я, Ермил, бусы-корабли». Это было в донской его период, а потом, когда он на Волге и в Сибири прославился, — из Ермила стал Ермаком. На Дону и на низовьях Волги это было особенно в моде.

У Л. Н. Толстого в «Казаках» есть Ерошка. На самом деле это был удалец, герой, старый казак Епифан Сехин, но его из почтения звали дядя Епишка.

Когда его племянник, сын его брата Михаила, Димитрий Сехин, войсковой старшина, был в гостях в Ясной

Поляне и назвал Льва Николаевича графом, — тот обиделся. Тогда Сехин стал его звать «Лев Николаевич».

«Нет, вы меня попроще, по-гребенскому. Как бы меня, старика, там вы звали?»

«Как самого почтенного человека — дядя Левка».

«Ну вот и хорошо, дядя Левка и зовите».

Многие незнающие редакторы исправляют Стеньку на Степана. Это большая и обидная ошибка: Стенька Разин — это почетно. Стенька Разин был один, а Степанов много...

— Поройтесь в московских архивах, в летописях того времени! — посоветовал мне на прощанье Иван Иванович.

* * *

Я записал рассказы старика и со скорым поездом выехал в Москву, нагруженный материалами, первое значение, конечно, придавая сведениям о Стеньке Разине, которых никогда бы не получил, и если бы не был репортером, легенда о Красной площади жила бы нерушимо и по сие время.

Вернувшись, я первым делом поблагодарил дочь Ивана Ивановича за знакомство с отцом, передал ей привет из дома и мою тетрадь со стихами, где был написан и «Стенька Разин». Стихи она впоследствии переписала для печати. В конце 1894 года я выпустил первую книгу моих стихов «Забытая тетрадь».

Но, издавая книгу, я, не имея документальных данных, напечатал о казни Стеньки Разина на Красной площади и вскоре, проездом на Дон, лично вручил мою книгу Ивану Ивановичу..

— Все-таки на Красной площади? — улыбнулся он.

— Да, не хотел пока идти против всех. Ведь и в песнях о Разине везде поют, что

В Москве на Красной площади
Отрубили ему буйну голову!

— Ну, конечно, так красивее! А все-таки!..

Он так много рассказал мне, что во втором издании «Забытой тетради», в 1896 году, я сделал ряд изменений в поэме и написал:

...А народ еще с ночи толпою
К месту казни шумливо спешит.

— Вот насчет Фролки... Ну это так, для стиха хорошо:

Изрубили за ним есаула,
На кол головы их отнесли...—

читает он по книжке. — О, все-таки поройтесь в архивах!

— Да я уж пробовал, Иван Иванович! Обратился к самому главному начальнику с просьбой поискать материалов по бунту Разина для литературной работы, но его превосходительство так меня пугнуло, что я отложил всякие попытки. «Прославлять вора, разбойника, которого по церквам проклинают!» — горячилось его превосходительство, двигая вставными челюстями, и грозило принять какие-то меры против меня лично, если я осмелюсь искать материалы. «Пока я жив, и вообще пока существует цензура, — этого не будет! Пока...» Я не дал ему договорить, повернулся и, уходя, сказал: «Подождем, ваше превосходительство!»

Расхохотался Иван Иванович, хлопнул меня по плечу и ласково сказал:

— Дождешься, еще молод... Дождешься!

* * *

Я вернулся в Москву из поездки по холерным местам и сдал в «Русские ведомости» «Письмо с Дона», фельетона на три, которое произвело впечатление на В. М. Соболевского и М. А. Саблина, прочитавших его при мне. Но еще более сильное впечатление произвели на меня после прочтения моего описания слова Василия Михайловича:

— Удивительно интересно написано, но нельзя печатать!

И он показал циркуляр, запрещающий писать о холере.

* * *

Я не любил работать в редакции — уж очень чинно и холодно среди застегнутых черных сюртуков, всех этих прекрасных людей, больших людей, но скучных. То ли

дело в типографии! Наборщики — это моя любовь. Влетаешь с известием, и сразу все смотрят: что-нибудь новое привез! Первым делом открываю табакерку. Рады оторваться от скучной ловли букашек. Два-три любителя— потом я их развел много — подойдут, понюхают табаку и чихают. Смех, веселье! И метранпаж рад — после минутного веселого отдыха лучше работают.

— Что нового принесли? — любопытствует метранпаж И. П. Яковлев.

— Да вот, буду сдавать, Иван Пафнутьич.

И бегу в корректорскую. Пишу на узких полосках, отрываю и по десяти строчек отсылаю в набор, если срочное и интересное известие, а время позднее. Когда очень эффектное — наборщики волнуются, шепчутся, читают кусочками раньше набора. И понятно: ведь одеревенеешь стоять за пахучими кассами и ловить, не глядя, освинцованными пальцами яти и еры, бабашки и лапочки или выскребать неуловимые шпации...

Тогда еще о наборных машинах не думали, электричества не было, а стояли на реалах жестяные керосиновые лампы, иногда плохо заправленные, отчего у наборщиков к утру под носом было черно... Пахнет копотью, керосином, свинцовой пылью от никогда не мытого шрифта.

Как же не обрадовать эту молчаливую рать тружеников! И бросишь иногда шутку или экспромт, который тут же наберут потихоньку, — и заходит он по рукам. Рады каждой шутке. Прямо, как войдешь, так и видишь, что набирают что-нибудь нудное: или передовую, или отчет земского заседания, или статистику. А то нервничают с набором неразборчивой рукописи какого-нибудь корифея. Особенно ругались, набирая мелкие и неясные рукописи В. И. Немировича-Данченко. Специально для него имелись два наборщика, которые только и привыкли разбирать его руку. Много таких «слепых» авторов было, и бегают наборщики друг к другу:

— Чего это накарябано — не разберу?

Жаль смотреть в такие вечера на наборщиков, и рады они каждому слову.

— Что новенького, Владимир Алексеевич? — И смотрят в глаза.

Делаешь серьезную физиономию, показываешь бумажку:

— Генерал-губернатор князь Долгоруков сегодня... ощенился!

И еще серьезнее делаешь лицо. Все оторопели на миг... кое-кто переглядывается в недоумении.

— То есть как это? — кто-то робко спрашивает.

— Да вот так, взял да и ощенился! Вот, глядите, — показываю готовую заметку.

— Да что он, сука, что ли? — спрашивает какой-нибудь скептик.

— На четырех лапках, хвостик закорючкой! — острит кто-то под общий хохот.

— Четыре беленьких, один рыжий с подпалинкой!

— Еще слепые, поди! — И общий хохот.

А я поднимаю руку и начинаю читать заметку. По мере чтения лица делаются серьезными, а потом и злыми. Читаю:

«Московский генерал-губернатор ввиду приближения 19 февраля строжайше воспрещает не только писать сочувственные статьи, но даже упоминать об акте освобождения крестьян».

Так боялась тогда администрация всякого напоминания о всякой свободе!

Слово «ощенился» вошло в обиход, и, получая статьи нелюбимых авторов, наборщики говорили:

— Этот еще чем ощенился?

Спустя долгое время я принес известие об отлучении Л. Н. Толстого от церкви и объявил в наборной:

— Победоносцев ощенился!

— Ну, уж в это не поверим! — послышалось из угла.

— Ну, опоросился! — крикнули из другого.

— Вот это вернее! — И опять общий хохот.

Любили стихи наборщики. В свободные минуты просили меня прочесть им что-нибудь, и особенно «Стеньку Разина». Когда же справляли 25-летний юбилей метранпажа А. О. Кононова, то ко мне явилась депутация от наборной с просьбой написать ему на юбилей стихи, которые они отпечатали на плотной бумаге с украшением и поднесли юбиляру.

Я написал:

В жизни строгой и суровой,
Труд поставив за кумир,
Был ты армии свинцовой
Четверть века командир.

Некрасивы, молчаливы
Эти полчища солдат.
Четверть века ты на диво
Выставлял их в стройный ряд.

Чуть лишь полчище готово,
Вмиг солдаты оживут, —
Воплощал в живое слово
У станка безмолвный труд...

Тяжким воздухом свинцовым
Четверть века ты дышал,
Был всегда к труду готовым,
День работал, ночь не спал...

Велика твоя заслуга:
Средь рабочей суеты
Для чужого и для друга
Был всегда отзывчив ты.

С честью званье человека
Носишь в жизни ты своей...
Счастлив будь! Чрез четверть века
Справим новый юбилей!

Стихотворную мою шутку на пьесу Л. Н. Толстого «Власть тьмы» в день ее первой постановки на сцене разнесли по Москве вмиг. На другой вечер всюду слышалось:

В России две напасти:
— Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти...

* * *

Весело было в наборной и корректорской! К двенадцати часам ночи, если не было в Москве какого-нибудь особо важного случая, я всегда в корректорской. Здесь в это время я писал срочные заметки для набора и принимал моих помощников с материалом. Я приспособил сотрудничать небольшого чиновника из канцелярии обер-полицмейстера, через руки которого проходили к началь-

ству все экстренные телеграммы и доклады приставов о происшествиях. Чиновник брал из них самый свежий материал и ночью приносил мне его в корректорскую. Благодаря ему мы не пропускали ни одного интересного события и обгоняли другие газеты, кроме «Московского листка», где Н. И. Пастухов имел другого такого чиновника, выше рангом, к которому попадали все рапорты раньше и уже из его рук к младшему, моему помощнику. У меня был еще сотрудник, Н. П. Чугунов, который мнил себя писателем и был о себе очень высокого мнения, напечатав где-то в провинции несколько сценок. У меня же он ограничивался ежедневным доставлением из типографии «Полицейских ведомостей», в которых сообщалось о приехавших и выехавших особах не ниже четвертого класса. Безобидный, мирный, громадный человечина был Н. П. Чугунов, но я раз шуткой его обидел.

В свободное между заметками время, за чаем, в присутствии корректоров, метранпажа и сотрудников я сказал, что приготовил для издания книгу своих рассказов и завтра несу ее в набор.

— Я тоже готовлю том своих сочинений! — важно заявил Н. П. Чугунов.

— Почему же не два, Николай Петрович, у тебя и на два наберется! Первый том — приехавшие, а второй — выехавшие!

Через год Н. П. Чугунов отомстил мне. Когда моя книга «Трущобные люди» была сожжена, он мне в той же корректорской при всех сказал:

— По нынешним временам выгоднее приехавших и выехавших писать — они мне триста рублей в год дают!

— Правда, Коля! А я вот триста рублей задолжал.

* * *

Товарищество «Русских ведомостей» состояло из двенадцати пайщиков, почему Н. И. Пастухов в своем «Листке» и называл «Русские ведомости» газетой двенадцати братчиков.

— Поди-ка, пойми, — говаривал он, — где у них начинаются либералы и где кончаются обиралы!

По уставу Товарищества полагалось процентное вознаграждение из дивиденда каждому из всех служащих в редакции по расчету получаемого жалованья, так сказать, «участие в прибылях».

С покупкой дома и уплатой старых долгов дивиденда первое время не было, и только на 1890 год он появился в изрядной сумме, и было объявлено, что служащие получат свою долю. И действительно, все получили, но очень мало.

Славные люди были в конторе, служившие еще в старом доме. Ф. В. Головин, главный бухгалтер, тогда еще совсем молодой человек, очень воспитанный, сама доброта и отзывчивость, С. Р. Скородумов, принимавший объявления, Митрофан Гаврилов, строгого солдатского вида, из бывших кантонистов, любимец газетчиков и наборщиков, две славные, молчаливые барышни, что-то писавшие, — и глава над всем, леденившая своим появлением всю контору, Ю. Е. Богданова, сестра одного из пайщиков, писавшего статьи о банках.

Силу она забрала после смерти общего любимца В. С. Пагануцци, заведовавшего конторой и хозяйством. При нем все было просто, никакой казенщины и канцелярщины.

После В. С. Пагануцци конторой и хозяйством заведовали А. П. Лукин и М. А. Саблин, но я их никогда не видел в конторе. Главенствовала Ю. Е. Богданова. Она имела при конторе маленькую комнатку, поминутно шмыгала из нее в контору: остановится в дверях и смотрит сквозь очки, стриженая, в короткой юбке и черной кофте. Ее появление нервировало служащих. Ф. В. Головин устроился за своей конторкой спиной к ее двери, так же повернул свой стул и невозмутимый М. Г. Гаврилов, а С. Р. Скородумов загородился от ее взоров кучей книг на конторке.

— Чтобы не видеть! От ее глаз руки отваливаются! — говорил он.

Дошло ли это до Юлии Егоровны или уж просто она чувствовала ненависть старика, но его уволили.

На место его взяли славного юношу, сына Гаврилова, Колю, который служил долго.

Уже после я узнал, как все служащие, получавшие

прежде праздничные подарки, ругались за грошовый дивиденд. Больше всех ругались швейцар и кухарка.

— На рождество трешную допреж того давали, на пасху трешную, а теперь, гляди, дивиденд, проваленные, придумали, да вместо шести рублей семьдесят восемь копеек отвалили! Да пропадите вы пропадом! — и ушла с места, не попрощавшись.

А швейцар Леонтий, бывший солдат, читавший ежедневно газету от передовой до объявлений, так в наборной ругался, что теперь я повторить не могу, кроме только одной памятной фразы:

— Пишут одно, а делают другое, ихняя економическая политика нам в карман лезет!

* * *

Я время от времени заходил в редакцию. Отговорился от заведования отделом и работал эпизодически: печатал рассказы и корреспонденции, а по московской хронике ничего не давал.

Иногда заходил в типографию «табаку понюхать», попить чайку в корректорской и поболтать с друзьями-наборщиками. Сама же верхняя редакция мне опротивела чопорностью и холодностью.

Когда-то Антон Чехов сказал о «Русской мысли: «Там сидят копченые сиги!»

Когда я вернулся из весенней зелени степей, зашел в редакцию — будто в погреб попал, и все эти чопорные, застегнутые на все пуговицы члены профессорской газеты показались мне морожеными судаками. Все, чем я так недавно восторгался, особенно в той, первой, редакции, в Юшковом переулке, и здесь, в первые годы, теперь подверглось моему критическому разбору. Все, кроме В. М. Соболевского и Н. И. Бларамберга, да еще А. И. Чупрова, изредка бывавшего в редакции, стали какими-то высокопарными, уселись по отдельным кабинетам. И важны же были эти «мороженые судаки»!

Я стал работать в других газетах, а главным образом весь отдался спорту и коннозаводству, редактируя, как знаток конского дела, спортивный журнал.

В «Русских ведомостях» изредка появлялись мои

рассказы. Между прочим, «Номер седьмой», рассказ об узнике в крепости на острове среди озер. Под заглавием я написал: «Посвящаю Г. А. Лопатину», что, конечно, прочли в редакции, но вычеркнули. Я посвятил его в память наших юных встреч Герману Лопатину, который тогда сидел в Шлиссельбурге, и даже моего узника звали в рассказе Германом. Там была напечатана даже песня «Слушай, Герман, друг прекрасный»...

Об этом знали и говорили только друзья в редакции. Цензуре, конечно, и на ум не пришло.

В 1896 году, перед коронационными торжествами, ко мне приехал М. А. Саблин и от имени редакции просил меня давать для газеты описания событий, связанных с торжествами.

Около двухсот русских и иностранных корреспондентов прибыло к этим дням в Москву, но я был единственный из всех проведший всю ночь в самом пекле катастрофы, среди многотысячной толпы, задыхавшейся и умиравшей на Ходынском поле.

Накануне народного праздника вечером, усталый от дневной корреспондентской работы, я прямо из редакции «Русских ведомостей» решил поехать в скаковой павильон на Ходынку и осмотреть оттуда картину поля, куда с полудня шел уже народ.

Днем я осматривал Ходынку, где готовился народный праздник. Поле застроено. Всюду эстрады для песенников и оркестров, столбы с развешенными призами, начиная от пары сапог и кончая самоваром, ряд бараков с бочками для пива и меда для дарового угощения, карусели, наскоро выстроенный огромный дощатый театр под управлением знаменитого М. В. Лентовского и актера Форкатия и, наконец, главный соблазн — сотни свеженьких деревянных будочек, разбросанных линиями и углами, откуда предполагалась раздача узелков с колбасой, пряниками, орехами, пирогов с мясом и дичью и коронационных кружек.

Хорошенькие эмалевые, белые с золотом и гербом, разноцветно разрисованные кружки были выставлены во многих магазинах напоказ. И каждый шел на Ходынку не столько на праздник, сколько за тем, чтобы добыть такую кружку. Каменный царский павильон, единственное уце-

левшее от бывшей на этом месте промышленной выставки здание, расцвеченное материями и флагами, господствовало над местностью. Рядом с ним уже совсем не праздничным желтым пятном зиял глубокий ров — место прежних выставок. Ров шириной сажен в тридцать, с обрывистыми берегами, отвесной стеной, где глиняной, где песчаной, с изрытым неровным дном, откуда долгое время брали песок и глину для нужд столицы. В длину этот ров по направлению к Ваганьковскому кладбищу тянулся сажен на сто. Ямы, ямы и ямы, кое-где поросшие травой, кое-где с уцелевшими голыми буграми. А справа к лагерю, над обрывистым берегом рва, почти рядом с краем ее, сверкали заманчиво на солнце ряды будочек с подарками.

* * *

Когда я вышел из Чернышевского переулка на Тверскую, она кишела гуляющими москвичами, а вереницы рабочего народа с окраин стремились по направлению к Тверской заставе. Извозчиков по Тверской не пускали. Я взял у Страстного лихача, надел ему на шляпу красный кучерской билет, выданный корреспондентам для проезда всюду, и через несколько минут, лавируя среди стремительных толп, был на скачках и сидел на балконе членского павильона, любуясь полем, шоссе и бульваром: все кишело народом. Гомон и дым стояли над полем.

Во рву горели костры, окруженные праздничным народом.

— До утра посидим, а там прямо к будкам, вот они, рядом!

Оставив павильон, я пошел на Ходынку мимо бегов, со стороны Ваганькова, думая сделать круг по всему полю и закончить его у шоссе. Поле было все полно народом, гулявшим, сидевшим на траве семейными группами, закусывая и выпивая. Ходили мороженщики, разносчики со сластями, с квасом, с лимонной водой в кувшинах. Ближе к кладбищу стояли телеги с поднятыми оглоблями и кормящейся лошадью — это подгородные гости. Шум, говор, песни. Веселье вовсю. Подбираясь к толпе, я взял от театра направо к шоссе и по-

шел по заброшенному полотну железной дороги, оставшейся от выставки: с нее было видно поле на далеком расстоянии. Оно тоже было полно народом. Потом полотно сразу оборвалось, и я сполз по песку насыпи в ров и как раз наткнулся на костер, за которым сидела компания и в том числе мой знакомый извозчик Тихон от «Славянского базара», с которым я часто ездил.

— Пожалуйте рюмочку с нами, Владимир Алексеевич! — пригласил он меня, а другой его сосед уж и стаканчик подает. Выпили. Разговариваем. Я полез в карман за табакеркой. В другой, в третий... нет табакерки! И вспомнилось мне, что я забыл ее на столе в скаковом павильоне. И сразу все праздничное настроение рухнуло: ведь я с ней никогда не расстаюсь.

— Тихон, я ухожу, я табакерку забыл!

И, несмотря на уговоры, встал и повернул к скачкам.

Поле гудело на разные голоса. Белеет небо. Стало светать. Прямо к скачкам пройти было невозможно, все было забито, кругом море народа. Я двигался посредине рва, с трудом лавируя между сидящими и прибывающими новыми толпами со стороны скачек. Душно было и жарко. Иногда дым от костра прямо окутывал всего. Все, утомленные ожиданием, усталые, как-то стихли. Слышалась кое-где ругань и злобные окрики: «Куда лезешь! Чего толкаешься!» Я повернул направо по дну рва навстречу наплывавшему люду: все стремление у меня было — на скачки за табакеркой! Над нами вставал туман.

Вдруг загудело. Сначала вдали, а потом кругом меня. Сразу как-то... Визг, вопли, стоны. И все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом белели будки, крыши которых я только и видел за мельтешащимися головами. Я не бросился за народом, упирался и шел прочь от будок, к стороне скачек, навстречу безумной толпе, хлынувшей за сорвавшимися с мест в стремлении за кружками. Толкотня, давка, вой. Почти невозможно было держаться против толпы. А там впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса: к глиняной вертикальной стене обрыва, выше роста человека, прижали тех, кто первый устремился к будкам.

Прижали, а толпа сзади все плотнее и плотнее набивала ров, который образовал сплошную, спрессованную массу воющих людей. Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползли по головам и плечам народа на простор. Остальные были неподвижны: колыхались все вместе, отдельных движений нет. Иного вдруг поднимет толпой, плечи видно, значит ноги его на весу, не чуют земли...

Вот она, смерть неминучая! И какая!

* * *

Ни ветерка. Над нами стоял полог зловонных испарений. Дышать нечем. Открываешь рот, пересохшие губы и язык ищут воздуха и влаги. Около нас мертво-тихо. Все молчат, только или стонут или что-то шепчут. Может быть, молитву, может быть, проклятие, а сзади, откуда я пришел, непрерывный шум, вопли, ругань. Там, какая ни на есть, — все-таки жизнь. Может быть, предсмертная борьба, а здесь — тихая, скверная смерть в беспомощности. Я старался повернуться назад, туда, где шум, но не мог, скованный толпой. Наконец, повернулся. За мной возвышалось полотно той же самой дороги, и на нем кипела жизнь: снизу лезли на насыпь, стаскивали стоящих на ней, те падали на головы спаянных ниже, кусались, грызлись. Сверху снова падали, снова лезли, чтоб упасть; третий, четвертый слой на голову стоящих. Это было именно то самое место, где я сидел с извозчиком Тихоном и откуда ушел только потому, что вспомнил табакерку.

* * *

Рассвело. Синие, потные лица, глаза умирающие, открытые рты ловят воздух, вдали гул, а около нас ни звука. Стоящий возле меня, через одного, высокий благообразный старик уже давно не дышал: он задохся молча, умер без звука, и похолодевший труп его колыхался с нами. Рядом со мной кого-то рвало. Он не мог даже опустить головы.

Впереди что-то страшно загомонило, что-то затрещало. Я увидал только крыши будок, и вдруг одна куда-

то исчезла, с другой запрыгали белые доски навеса. Страшный рев вдали: «Дают!.. давай!.. дают!..» — и опять повторяется: «Ой, убили, ой, смерть пришла!..»

И ругань, неистовая ругань. Где-то почти рядом со мной глухо чмокнул револьверный выстрел, сейчас же другой, и ни звука, а нас все давили. Я окончательно терял сознание и изнемогал от жажды.

Вдруг ветерок, слабый утренний ветерок смахнул туман и открыл синее небо. Я сразу ожил, почувствовал свою силу, но что я мог сделать, впаянный в толпу мертвых и полуживых? Сзади себя я услышал ржание лошадей, ругань. Толпа двигалась и сжимала еще больше. А сзади чувствовалась жизнь, по крайней мере ругань и крики. Я напрягал силы, пробирался назад, толпа редела, меня ругали, толкали.

Оказалось, что десяток конных казаков разгонял налезавших сзади, прекращая доступ новым, прибывавшим с этой стороны. Казаки за шиворот растаскивали толпу и, так сказать, разбирали снаружи эту народную стену. Это понял народ и двинулся назад, спасая свою жизнь. Я бросился среди убегавших, которым было уже не до кружки и не до подарка, и, вырвавшись, упал около забора беговой аллеи. Я рвал траву и ел, это утоляло жажду, и я забылся. Сколько времени это продолжалось — не знаю. Когда пришел в себя, почувствовал, что лежу на камне. Полез в задний карман и нашел там табакерку... Я лежал на ней и думал — камень!

— К черту смерть! К черту Ходынка! Вот она где!

Я воскрес, смотрю на сверкающее солнце и сам не верю. Открываю, нюхаю. И всю усталость, весь ужас пережитого как рукой сняло. Я никогда и ничему так не радовался, как этой табакерке. Это был подарок моего отца.

«Береги на счастье», — сказал он мне, даря ее еще в 1878 году, когда я приехал к нему, вернувшись с турецкой войны. И это счастье я чувствовал.

В этот миг я думал только об одном — попасть домой, взять ванну и успокоить своих. Я забыл и газеты и корреспондентскую работу, мне противно было идти на Ходынку. Я бросился по аллее к шоссе мимо стремящихся туда и оттуда толп, галдевших, торопившихся. На мое

счастье, из скаковой аллеи выезжал извозчик. Я вскочил на пролетку, и мы поехали по шоссе, кипящему народом. Извозчик мне что-то говорил, но я не понимал, с восторгом нюхал табак, а у Тверской заставы, увидав разносчика с апельсинами, остановил лошадь, схватил три апельсина, взяв деньги из промокшей насквозь от пота пачки новеньких кредиток. Съел сразу два апельсина, а третьим, разорвав пополам, вытер себе пылавшее лицо.

Навстречу громыхали пожарные фуры, шли наряды полиции.

В Столешниковом переулке, расплатившись с извозчиком, я тихо своим ключом отпер дверь квартиры, где все еще спали, и прямо — в ванную; напустил полную холодной воды, мылся, купался.

Несмотря на душистое мыло, все же чувствовалось зловоние. Мое разорванное, провонявшее пальто я спрятал в дрова, прошел в кабинет и через минуту уснул.

В девять часов утра я пил в семье чай и слушал рассказы об ужасах на Ходынке:

— Говорят, человек двести народу передавили!

Я молчал.

Свежий и выспавшийся, я надел фрак со всеми регалиями, как надо было по обязанностям официального корреспондента, и в 10 часов утра пошел в редакцию. Подхожу к Тверской части и вижу брандмейстера, отдающего приказание пожарным, выехавшим на площадь на трех фурах, запряженных парами прекрасных желтопегих лошадей. Брандмейстер обращается ко мне:

— Поглядите, Владимир Алексеевич, последние пары посылаю!

И объяснил, что с Ходынки трупы возят.

Я вскочил на фуру без пальто, во фраке, в цилиндре, и помчался. Фуры громыхали по каменной мостовой. Народу полна Тверская.

Против фабрики Сиу, за заставой, повстречались две пожарные фуры, полные покойников. Из-под брезентов торчат руки, ноги и болтается ужасная голова.

Никогда не забыть это покрытое розовой пеной лицо с высунутым языком! Навстречу ехали такие же фуры.

По направлению к Москве плетется публика с узелками и кружками в руках: подарки получили!

У бегущих туда на лицах любопытство и тревога, у ползущих оттуда — ужас или безразличие.

* * *

Я соскочил с фуры: не пускают. Всемогущий корреспондентский билет дает право прохода. Я иду первым делом к наружной линии будок, которые на берегу рва, я их видел издали утром из-под насыпи. Две снесены, у одной сорвана крыша. А кругом — трупы... трупы...

Описывать выражение лиц, описывать подробности не буду. Трупов сотни. Лежат рядами, их берут пожарные и сваливают в фуры.

Ров, этот ужасный ров, эти страшные волчьи ямы полны трупами. Здесь главное место гибели. Многие из людей задохлись, еще стоя в толпе, и упали уже мертвыми под ноги бежавших сзади, другие погибли еще с признаками жизни под ногами сотен людей, погибли раздавленными; были такие, которых душили в драке, около будочек, из-за узелков и кружек. Лежали передо мной женщины с вырванными косами, со скальпированной головой.

Многие сотни! А сколько еще было таких, кто не в силах был идти и умер по пути домой. Ведь после трупы находили на полях, в лесах, около дорог, за двадцать пять верст от Москвы, а сколько умерло в больницах и дома! Погиб и мой извозчик Тихон, как я узнал уже после.

* * *

Я сполз вниз по песчаному обрыву и пошел между трупами. В овраге они еще лежали, пока убирали только с краев. Народ в овраг не пускали. Около того места, где я стоял ночью, была толпа казаков, полиции и народа. Я подошел. Оказывается, здесь находился довольно глубокий колодец со времен выставки, забитый досками и засыпанный землей. Ночью от тяжести народа доски провалились, колодец набился доверху рухнувшими туда людьми из сплошной толпы, и когда наполнился телами, на нем уже стояли люди. Стояли и умирали.

Всего было вынуто из колодца двадцать семь трупов. Между ними оказался один живой, которого только что перед моим приходом увели в балаган, где уже гремела музыка.

Праздник над трупами начался! В дальних будках еще раздавались подарки. Программа выполнялась: на эстраде пели хоры песенников и гремели оркестры.

У колодца я услыхал неудержимый смех. Вынутые трупы лежали передо мной, два в извозчичьих халатах, и одна хорошо одетая женщина с изуродованным лицом была на самом верху — лицо ногами измято. Сначала из колодца достали четверых мертвых, пятый был худощавый человек; оказался портной с Грачевки.

— Живой этот! — кричит казак, бережно поднимая его кверху из колодца. Поднятый шевелил руками и ногами, глубоко вздохнул несколько раз, открыл глаза и прохрипел:

— Мне бы пивца, смерть пить хотца!

И все расхохотались.

Когда мне это рассказывали, тоже хохотали.

Нашли офицера с простреленной головой. Тут же валялся револьвер казенного образца. Медицинский персонал ходил по полю и подавал помощь тем, у кого были признаки жизни. Их развозили по больницам, а трупы на Ваганьково и на другие кладбища.

* * *

В два часа я уже был в редакции, пришел в корректорскую и сел писать, затворив дверь. Мне никто не мешал. Закончив, сдал метранпажу в набор. Меня окружили наборщики с вопросами и заставили прочитать. Ужас был на всех лицах. У многих слезы. Они уже знали кое-что из слухов, но все было туманно. Пошли разговоры.

— На беду это! Не будет проку в этом царствовании! — самое яркое, что я слышал от старика наборщика. Никто не ответил на его слова, все испуганно замолчали... и перешли на другой разговор.

Метранпаж сказал:

— Надо подождать редактора!

— Наберем! Давай набирать! — закричали наборщики.

— В гранках редактор прочтет! — И десятки рук потянулись к метранпажу.

— Наберем! — И, разделив на куски, стали набирать.

Я вернулся домой пешком — извозчиков не было — и, не рассказывая подробностей пережитого, лег спать. Проснулся на другое утро в 8 часов и стал готовиться к работе. Подали «Московские ведомости», «Московский листок». О катастрофе ничего не нашел. Значит, запретили! Собрался перед работой забежать в «Русские ведомости», взять на память грядущим поколениям гранки статьи, если успели набрать. Принесли наконец «Русские ведомости». Глазам не верю: ХОДЫНСКАЯ КАТАСТРОФА — крупное заглавие, — план катастрофы и подпись «В. Гиляровский». Домашние в ужасе смотрят на меня. Замерли и смотрят. А я, свежий, прекрасно выспавшийся, чувствую себя вполне нормально. Рассказываю о своем путешествии, прежде взяв слово, чтобы меня не ругали, так как — победителей не судят! А я чувствовал себя победителем!

Входят двое: русский, Редер, корреспондент австрийской газеты, а с ним японец, корреспондент токийской газеты. Меня интервьюируют. Японец с удивлением смотрит на меня, поражается, а Редер сообщает, что «Русские ведомости» арестованы и в редакции и у газетчиков отбирают номера газеты.

Они уходят, я надеваю фрак и хочу идти. Звонок. Входят еще трое: мой знакомый, старый москвич Шютц, корреспондент какой-то венской газеты, другой, тоже знакомый, москвич, американец Смит, который мне представляет типичнейшего американского корреспондента газеты. Корреспондент ни слова по-русски, ему переводит Смит. Целый допрос. Каждое слово американец записывает.

На другой день Смит сказал, что американец послал телеграмму в 2 тысячи слов — всю мою статью, все, рассказанное мной.

Я бросился первым делом в редакцию. Там В. М. Соболевский и М. А. Саблин. Радостно меня встречают.

Благодарят. На дворе шумят газетчики — получают газету для розницы, мне устраивают овацию.

— Действительно, — говорит В. М. Соболевский,— газету, как только ее роздали для разноски подписчикам, явившаяся полиция хотела арестовать, но М. А. Саблин поехал к генерал-губернатору и узнал, что газету уже разрешили по приказанию свыше. Целый день допечатывали газету. Она была единственная с подробностями катастрофы.

В корреспондентском бюро меня тоже встретили овацией русские и иностранные корреспонденты. Интервьюировали, расспрашивали, осматривали, фотографировали. Художник Рубо зарисовал меня. Американцы и англичане ощупывали мои бицепсы и только тогда поверили, что все написанное — правда, что я мог вынести эту давку.

«РУССКАЯ ГАЗЕТА»

«Русская газета» — было весьма убогое, провинциального вида издание, почти не имевшее подписки, не имевшее розницы и выплакивавшее у фирм через своих голодных агентов объявления, номинальная цена которых была гривенник за строку, а фирмы получали до 70 процентов скидки.

Издавалась «Русская газета» несколько лет. Основал ее какой-то Александровский, которого я в глаза не видал, некоторое время был ее соиздателем Н. И. Пастухов, но вскоре опять ушел в репортерскую работу в «Современные известия», потратив последние гроши на соиздательство.

В 1880 году издавал газету И. И. Смирнов, владелец типографии и арендатор всех театральных афиш, зарабатывавший хорошие деньги, но всегда бывший без гроша и в долгу, так как был азартный игрок и все ночи просиживал за картами в Немецком клубе. В редких случаях выигрыша он иногда появлялся в редакции и даже платил сотрудникам. Хозяйственной частью ведал соиздатель И. М. Желтов, одновременно и книжник и трактирщик, от которого зависело все дело, и он считал совершенно лишним платить сотрудникам деньги.

— За что? У тебя фирма есть — тебя печатаем, чего же тебе еще? Ну и кормись сам.

Многие и кормились, помещая рекламные заметки или собирая объявления за счет гонорара. Ухитрялась

получать от И. И. Смирнова деньги заведовавшая редакцией «Соколиха», Александра Ивановна Соколова, которой было «все все равно» и которая даже не обиделась, когда во время ее отпуска фельетонист Добронравов в романе «Важная барыня» вывел ее в неказистом виде. Добронравов в романе вставлял рекламы фирм и получал с них за это взятки.

Кормились объявлениями два мелких репортерчика Козин и Ломоносов. Оба были уже весьма пожилые. Козин служил писцом когда-то в участке и благодаря знакомству с полицией добывал сведения для газеты. Это был маленький, чистенький старичок, живой и быстрый, и всегда с ним неразлучно ходила всюду серенькая собачка-крысоловка, обученная им разным премудростям. И ее и Козина любили все. Придет в редакцию — и всем весело. Сядет. Молчит. Собачка сидит, свернувшись клубочком, у его ноги. Кто-нибудь подходит.

— Мосявка, дай лапку!

Ощетинится собака, сидит недвижимо и жестоко начинает лаять.

— Дай лапку!

Еще больше лает и злится. Все присутствующие смотрят, знают, что дальше будет, и ждут. Подходит кто-нибудь другой.

— Мосява Мосявовна, соблаговолите ножку дать, — и наклоняется к ней.

Мосявка важно встает, поворачивается к говорящему задом и протягивает левую заднюю ногу.

И это повторяется несколько раз — даже сам сумрачный И. М. Желтов улыбается. Лет десять я помнил Козина с Мосявкой.

Ломоносов был не Ломоносов, а Свистунов, бывший конторщик, горький пьяница. Что он Свистунов, почти никто не знал: Ломоносов да Ломоносов. А это прозвище он получил за то, что у него в драке когда-то был переломлен нос и торчал кончик его как-то вправо. Он давал торговые сведения и, как говорили, собирал милостыню по церквам на паперти.

В этом мне пришлось убедиться года через три после наших встреч в редакции «Русской газеты».

* *
*

В темном, душном подвале анатомического театра лежало десять трупов. Исхудалые, истощенные, изломанные. Между ними лежал труп девушки лет шестнадцати. Это все жертвы катастрофы, случившейся накануне, и катастрофы странной, небывалой.

В погоне за десятикопеечной подачкой десятитысячная толпа задавила десять человек. За два дня перед этим умер московский миллионер, чайный торговец А. С. Губкин.

В день смерти вечером проходившим мимо громадного, мрачного с виду дома Губкина нескольким нищим подали по серебряной монете с просьбой помянуть усопшего. С быстротой телефона по ночлежным приютам распространился между нищими слух, что на поминовение Губкина раздают деньги пригоршнями.

Тревожно провели нищие эту ночь в ожидании подаяния, в ожидании горсти серебра на каждого. Еще затемно толпы их хлынули на Рождественский бульвар, но решетчатые железные ворота были заперты. Стучались, просили, дрожали на морозе, стоя полубосыми ногами на льду тротуара и на снегу мостовой. А народ с каждой минутой прибывал.

Сотни нищих бежали со всех улиц и переулков, и скоро десятитысячная толпа заняла проезд Рождественского бульвара от Сретенских ворот до Трубной площади. Ни прохода, ни проезда. Толпа была словно спаянная: яблоку упасть было некуда.

Набег нищих настолько был стремителен, что полиция не успела принять никаких мер... Катастрофу не предупредили, она должна была случиться и случилась. Ворота все еще не отпирались, сунутые несколько двугривенных только зажгли толпу, каждый стремился пролезть вперед, толпа хлынула и прижала несчастных, добившихся своей цели: встать первыми у железных ворот.

В то время тротуар у этого дома был очень высок, чуть не на аршин выше мостовой. Стоявшие на мостовой равнялись головами с поясом стоявших на тротуаре. Всем хотелось быть ближе к воротам, ближе к цели.

С мостовой влезали, хватаясь за платье стоявших выше, и падали вместе с ними. Кто-то вдруг из передних крикнул:

— Подавать на-чали!..

Как один человек, вся толпа подвинулась на шаг вперед. Кого-то стащили с тротуара, наступили на него, раздался страшный крик:

— Задавили!..

Толпа ломилась еще больше. Сзади давили на ворота, ближайшие от ворот, задыхаясь в давке, стремились назад, падали с высокого тротуара на мостовую, на них лезли задние, не видя, что творится впереди. Гул толпы прерывался криками о помощи и предсмертными стонами. Когда уже все свершилось, явилась полиция и казаки. Дворники били нищих палками, городовые — ножнами, казаки — плетьми. Эти поминки надолго у многих не изгладились из памяти, хотя рубцы уже давно зажили. Опорков и рваных шапок увезли с места давки два воза.

Это было 28 ноября 1883 года. Вскоре после этого я встретил Козина с его Мосявкой, и он сказал мне, что в числе задавленных на Рождественском бульваре был и сотрудник «Русской газеты» Свистунов-Ломоносов.

* * *

Газета давно уже прекратилась, ее в первый же год забил «Московский листок», а все-таки мне вспоминается один факт, связанный со временем моего в ней кратковременного сотрудничества.

Десятки лет в Московском зоологическом саду жил до самой своей смерти Мамлик, величайший слон в Европе, привезенный из Индии. Равного ему не было даже в берлинском зоологическом саду.

Это было огромное существо добрейшего нрава, любимец москвичей, а особенно детей, которых водили смотреть слона.

У его логовища стоял сторож — его друг, который торговал булками, и публика их покупала и собственноручно совала в хобот. Помню курьез. В числе публики, кормившей булками Мамлика, был мальчик лет восьми,

который, сняв свою соломенную шляпенку, начал совать ее слону в хобот. Мамлик взял шляпу, и она в один миг исчезла у него во рту. Публика захохотала, мальчик в слезы.

— Зачем шляпу под хвост сунул! Дяденька, отдай, мама ругаться будет, — рыдая, обращался он к слону.

Милый был слон! Но бывали весенние дни, когда он бунтовал, и его заранее, видя признаки наступающей поры любви, очень крепко приковывали на специальные цепи.

В эти дни он был особенно буен и стремился все разрушать. Но раз, совсем неожиданно, такой период пришел осенью. Мамлик сорвался с цепей и вышел в задние ворота зоологического сада.

Это было после обеда. Слон зашагал по Большой Пресне, к великому ужасу обывателей и шумной радости мальчишек и бежавшей за ним толпы. Случилось это совершенно неожиданно и в отсутствие его друга сторожа. Другие сторожа и охочие люди из толпы старались, забегая вперед, вернуть его обратно, но слон, не обращая внимания ни на что, мирно шагал, иногда на минуту останавливаясь, поднимал хобот и трубил, пугая старух, смотревших в окна.

Начальство сада перепугалось и послало по трактирам отыскивать сторожа. Мирно подошел слон к заставе, остановился около полицейской будки, откуда выскочил городовой и, обнажив ржавую «селедку», бросился к великану, «делающему непорядок».

Ударил ли он шашкой слона или только замахнулся, но Мамлик остервенел и бросился за городовым, исчезнувшим в двери будки. Подняв хобот, слон первым делом сорвал навес крыльца, сломал столбы и принялся за крышу, по временам поднимая хобот и трубя. Городовой пытался спастись в заднее окно, но не мог вылезть: его толстая фигура застряла, и он отчаянно вопил о помощи.

Нашлись смельчаки, протащившие его сквозь маленькое окно не без порчи костюма. А слон разносил будку и ревел. Ревела и восторженная толпа, в радости, что разносит слон будку, а полиция ничего сделать не может. По Москве понеслись ужасные слухи. Я в эти

часы мирно сидел и писал какие-то заметки в редакции «Русской газеты». Вдруг вбегает издатель-книжник И. М. Желтов и с ужасом на лице заявляет:

— Сейчас народ бежит с Пресни, там бунт. Рабочие взбунтовались, зверей из зоологического сада выпустили. Тигров! Львов!.. Ужас! Узнай, пожалуйста, — обратился он ко мне.

Я побежал — трамваев тогда не было, а извозчики не по карману — и у зоологического сада увидал толпы народа. В саду я узнал подробности. Озаглавил заметку «Взбунтовавшийся слон на Пресне».

Заметка эта не пошла, так как цензура послала распоряжение — никаких подробностей происшествия не сообщать. Зато слухи в городе и по губерниям разошлись самые невероятные. Многие возвратились с дач, боясь за своих родных в Москве и за свое имущество.

Первая публикация появилась в Петербурге, куда я послал сообщение А. А. Соколову для «Петербургского листка», а потом его перепечатала провинция, а в Москве появились только краткие известия без упоминания о городовом и разнесенной будке.

Это был в Москве первый «бунт» против полицейской власти и первый случай разгрома казенного здания — более сорока лет тому назад. И это случилось на Пресне.

«СОВРЕМЕННЫЕ ИЗВЕСТИЯ»

«Современные известия» около двадцати лет издавал известный публицист Н. П. Гиляров-Платонов, бакалавр Духовной академии, славянофил и сотрудник И. С. Аксакова.

Было время, когда «Современные известия» были самой распространенной газетой в Москве и весьма своеобразной: с одной стороны, в них печатались политические статьи, а с другой, — они с таким же жаром врывались в общественную городскую жизнь и в обывательщину. То громили «Коварный Альбион», то с неменьшим жаром обрушивались на бочки «отходников», беспокоивших по ночам Никиту Петровича Гилярова-Платонова, жившего на углу Знаменки и Антипьевского переулка, в нижнем этаже, окнами на улицу.

Н. П. Гиляров-Платонов был человеком именно не от мира сего. Он спал днем, работал ночью, редко кого принимал у себя, кроме ближайших сотрудников, да и с теми мало разговаривал.

Я только один раз был у него летом, кажется, в мае месяце. Он, по обыкновению, лежал на диване; окна были открыты, была теплая ночь, а он в меховой шапке читал гранки. Руки никогда не подавал и, кто бы ни пришел, не вставал с дивана.

Тогда газета шла хорошо, денег в кассе бывало много, но Никита Петрович мало обращал на них внимания. Номера выпускал частью сам (типография помещалась

близко, в Ваганьковском переулке), частью второй редактор, племянник его Ф. А. Гиляров, известный педагог-филолог и публицист. Тоже не от мира сего, тоже не считавший денег.

Его перу принадлежал в «Современных известиях» ряд фельетонов о наших революционерах в Швейцарии— тема, по тому времени совершенно запрещенная.

Статьи эти случайно проскочили в «Современных известиях» благодаря почтению к имени Н. П. Гилярова-Платонова, но когда Ф. А. Гиляров собрал их в отдельную книгу, то пропущены они не были.

Кроме того, Федор Александрович писал недурные театральные рецензии, а затем сам издавал какой-то театральный листок, на котором прогорел вдребезги.

Самыми хлесткими сотрудниками, делавшими успех газеты в розницу, были фельетонисты П. А. Збруев, чиновник особых поручений при секретном отделении обер-полицмейстера, благодаря своей службе знавший все тайны Москвы, и Н. И. Пастухов.

Первый писал воскресные фельетоны под псевдонимом «Берендей», а второй—московские заметки, которые подписывал «Старый знакомый».

Среди недели они также помещали мелкие наброски, в которых тот и другой «прохватывали» и «протаскивали» богачей купцов и обывателей, не щадя интимных сторон жизни, и имели огромный успех.

Москва читала взасос эти фельетоны, дававшие огромный материал для излюбленных тогда сплетен.

Надо еще заметить, что «Современные известия» были единственной газетой, не стеснявшейся пробирать вовсю духовенство и даже полицию.

Большим успехом пользовались в газете обличительного характера заметки Н. Седельникова, автора нескольких романов. Его фельетон в стихах, подражание «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова, наделал много шуму.

Здесь досталось буквально всем москвичам, от самых высших до самых низших, и все себя узнавали, но так было ловко написано, что придраться было нельзя. Особенно досталось крупным московским капиталистам, которых он смешал с грязью.

Если им до его фельетона жилось спокойно, то после него они стали притчей во языцех, и оказалось, что никому в Москве хорошо не жилось, кроме ростовщиков: им было все равно — пиши не пиши!

И шло бы все по-хорошему с газетой. Но вдруг поступила в контору редакции, на 18 рублей жалованья, некая барынька Марья Васильевна, и случилось как-то, что фактическое распоряжение кассой оказалось у нее в руках.

Надо сказать, что здесь и намека на какой-нибудь роман не было, а просто Никита Петрович Гиляров-Платонов доверял ей вполне и во всем. Когда же касса опустела, Марья Васильевна исчезла так же неожиданно, как и появилась.

Ее место заступил новый управляющий, неизвестно кем рекомендованный, на которого друзья и сотрудники жаловались Никите Петровичу и советовали его учитывать, но Н. П. Гиляров-Платонов отвечал всем одно и то же:

— А, оставьте эти деньги, так это все противно!

Наконец в 1887 году «Современные известия», окончательно забитые конкуренцией «Московского листка», закрылись. Вскоре умер Никита Петрович Гиляров-Платонов.

«МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ»

«Московский телеграф». Первого января 1881 года в Москве вышла самая большая по размеру и, безусловно, самая интересная по статьям и информации газета «Московский телеграф».

Редактор-издатель ее был Игнатий Игнатьевич Родзевич.

Интересные сведения и даже целые статьи, появившиеся накануне в петербургских газетах, на другой день перепечатывались в Москве на сутки раньше других московских газет, так как «Московский телеграф» имел свой собственный телеграфный провод в Петербург, в одной из комнат редакции, помещавшейся на Петровке в доме Московского кредитного общества.

В газете приняли участие лучшие литературные силы. Особенно читались фельетоны Д. Д. Минаева, пересыпавшего прозу стихами самого нецензурного по тому времени содержания.

Преобразование полиции, совершившееся тогда, Д. Д. Минаев отметил так:

Мы все надеждой занеслись —
Вот, вот пойдут у нас реформы.
И что же? Только дождались—
Городовые новой формы!

В письмах о Москве он писал:

Москва славна Тверскою
Фискалом М. Н. К.[1]
И нижнею губою
Актера Бурлака.

О Петербурге:

Великий Петр уже давно
В Европу прорубил окно,
Чтоб Русь вперед стремилась ходко.
Но затрудненье есть одно —
В окне железная решетка!

В этом же духе были статьи, фельетоны и корреспонденции, не щадившие никого.

Цензура ошалела и руками разводила, потому что, к великому ее удивлению, нагоняев пока из Петербурга не было, а ответа на цензорские донесения о прегрешениях газеты Московским цензурным комитетом, во главе которого стоял драматург В. И. Родиславский, не получалось.

Говорили, что за И. И. Родзевичем стояло в Петербурге какое-то очень крупное лицо. Пошла газета в розницу, пошла подписка.

Особенно резки были статьи Виктора Александровича Гольцева, сделавшие с первых номеров газету популярной в университете: студенты зачитывались произведениями своего любимого профессора и обсуждали в своих кружках затронутые им вопросы.

«Московские ведомости» то и дело писали доносы на радикальную газету, им вторило «Новое время» в Петербурге, и, наконец, уже после 1 марта 1881 года посыпались кары: то запретят розницу, то объявят предупреждение, а в следующем, 1882 году газету закрыли административной властью на шесть месяцев — с апреля до ноября. Но И. И. Родзевич был неисправим: с ноября газета стала выходить такой же, как и была, публика отозвалась, и подписка на 1883 год явилась блестящей.

Правительство наказало подписчиков: в марте месяце газету закрыли навсегда «за суждения, клонящиеся

[1] М. Н. Катков.

к восстановлению общественного мнения против основных начал нашего государственного строя и неверном освещении фактов о быте крестьян».

Незадолго перед этим цензура закрыла по тем же самым мотивам журнал «Земство», выходивший с 1880 года под редакцией В. Ю. Скалона, постоянного сотрудника «Русских ведомостей». Полоса реакции после 1 марта разыгралась вовсю!

«РУССКИЙ КУРЬЕР»

«Русский курьер» основан был В. Н. Селезневым в 1879 году, но шел в убыток. Пришлось искать денег. Отозвался московский купец Н. П. Ланин, владелец известного завода шипучих вод и увековечивший свое имя производством искусственного «ланинского» шампанского, которое подавалось подвыпившим гостям в ресторанах за настоящее и было в моде на всех свадьбах, именинах и пирушках средней руки.

От ланинского редерера
Трещит и пухнет голова!

На его красивом, с колоннами доме у Москворецкого моста, рядом с огромной вывеской, украшенной гербом и десятком медалей с разных выставок, появилась другая вывеска: «Русский курьер» — ежедневная газета.

Под газетой стояла подпись: «Издатель — Н. П. Ланин, редактор — В. Н. Селезнев». Вид газета имела самый провинциальный. Полстраницы последней полосы занимало чуть ли не единственное объявление с гербами и медалями о шипучих водах и «ланинском» шампанском.

Н. П. Ланину, обладавшему огромным капиталом и состоявшему гласным Городской думы, спалось и виделось быть редактором.

Откупившись от В. Н. Селезнева, он с рекомендациями «хозяина столицы» князя В. А. Долгорукова и со свидетельством благонадежности от обер-полицмейстера поехал в Петербург в Главное управление по делам печати просить о назначении его редактором.

Ценз у Н. П. Ланина для редактора был весьма желательный для правительства: московский купец первой гильдии, фабрикант поддельного русского шампанского да еще рекомендованный генерал-губернатором как благонадежный обыватель.

Утвердили Н. П. Ланина редактором-издателем: пусть рекламирует шипучие воды и русское шампанское. Но и с новым редактором газета не шла.

На счастье Н. П. Ланина, в это время молодой приват-доцент по полицейскому праву, уже сверкавший на кафедре Московского университета, В. А. Гольцев «за неблагонадежность и внедрение вредных идей молодежи» был лишен кафедры.

Молодому ученому, подававшему большие надежды, пришлось искать заработка, и он перешел в журналистику, сделавшись постоянным сотрудником «Московского телеграфа». Н. П. Ланин предложил ему организовать редакцию и быть фактическим редактором «Русского курьера», газеты без предварительной цензуры.

Принял В. А. Гольцев предложение, но только с одним условием, чтобы Н. П. Ланин совершенно не вмешивался в редакционные дела.

Н. П. Ланин согласился на все условия, и В. А. Гольцевым была составлена молодая редакция, в которую вошли и народники: Ф. Д. Нефедов, С. А. Приклонский, только что вернувшийся из ссылки, Н. М. Астырев, П. И. Кичеев, сибиряк М. И. Мишла-Орфанов, В. И. Немирович-Данченко и многие другие передовые люди того времени.

Сразу газета расцвела и засверкала к ужасу цензоров и администрации. Подписки было еще мало, но газета блестяще шла в розницу.

Н. П. Ланин ликовал, «ланинское» шампанское, усиленно рекламированное, шло великолепно и покрывало расходы по газете. Газета, как обухом по лбу, хватила и цензуру и разрешившую Н. П. Ланину газету админи-

страцию своим неслыханным дотоле ярким либерализмом.

Подписка на 1881 год шла великолепно, особенно по провинции, жадной до всякого либерального слова.

В Москве шла только розница. Москвичам были интереснее фельетоны Збруева в «Современных известиях» и «Московский листок» Н. И. Пастухова. Эти два издания начали глумиться над «Русским курьером», называя его не иначе, как «кислощейной газетой», а самого Н. П. Ланина липовым редактором.

Обидно это было «кандидату в городские головы». Иронизировали над ним и юмористические журналы. Особенно же его прямо-таки убила карикатура, пущенная Н. И. Пастуховым в своем юмористическом журнале «Колокольчик».

Приемная комната. У затворенной двери с надписью «Редакция» стоит, нагнувшись, как живой, Н. П. Ланин и, приложив ухо к замочной скважине, сосредоточенно слушает. А внизу подпись: «Хоть отсюда послушать, о чем толкуют мои молодцы!»

Ни в городе, ни даже в Думе ему после этого проходу не было — смеялись:

— О чем там толкуют твои молодцы?!

Эта насмешка окончательно обозлила Н. П. Ланина, и он решил неукоснительно избавиться от В. А. Гольцева, уже редактировавшего около двух лет газету, что было известно всей Москве, и самому стать фактическим редактором.

Н. П. Ланину и тут помогло счастье. Газета действительно сверкала яркостью, и, наконец, ей дали уже второе предостережение и лишили розницы «за вредное направление, выражающееся в суждениях о существующем государственном строе и в подборе и неверном освещении фактов, чтобы возбудить смуту в умах».

Этим удобным случаем и воспользовался Н. П. Ланин, чтобы отказать В. А. Гольцеву и самому сесть в редакторское кресло, с которого, как ему казалось, удобно перебраться и в кресло городского головы.

Ушел В. А. Гольцев, ушли с ним его друзья, главные сотрудники, но либеральный дух, поддерживаемый Н. П. Ланиным, как ходовой товар, остался, только

яркость и серьезность пропали, и газета стала по отношению к прежней, «гольцевской», как «ланинское» шампанское к настоящему редереру.

Провинция этого не раскусила сначала и продолжала подписываться, а Н. П. Ланин уже видел себя московским городским головой.

Сидела как-то в ресторане «Петергоф» тесная компания сотрудников одной газеты и решила вышутить Н. П. Ланина.

Один из поэтов, кажется, Петр Иванович Кичеев, на поданном ресторанном счете написал звучное стихотворение в десять строк, подходящее к моменту, весьма либеральное и вполне цензурное. Прочел его сидящим. Все были в восторге, но когда поэт показал маленький секрет написанного, все разразились неудержимым хохотом.

Потребовали конверт, почтовой бумаги, марку и при серьезном письме «уважаемому господину редактору» послали Н. П. Ланину это произведение.

На другой день стихотворение появилось в «Русском курьере» на почетном месте и — о ужас! — оказалось акростихом: «Ланин — дурак».

Пропала кандидатура в городские головы, а потом закрылся и «Русский курьер»!

«НОВОСТИ ДНЯ»

«Новости дня» вышли в конце 1883 года, издатель их Абрам Яковлевич Липскеров в это время был стенографом у М. Н. Каткова в «Московских ведомостях».

Он числился по паспорту подмастерьем пестрядинного цеха, так как, будучи евреем, не имел права жительства в Москве. М. Н. Катков уже позднее выхлопотал ему почетное гражданство и газету.

Газета вначале была мало заметной. Редакцию трудно было отыскать — часто переезжала она с места на место, и типографии менялись то и дело: задолжали — и в другую!

Газета в первые годы шла слабо, печаталось две тысячи экземпляров, объявлений платных почти не было, кредита никакого, бумагу покупали иногда на один номер, а на завтра опять выворачивайся, опять занимай деньги на бумагу.

Сотрудникам платили по грошам и то редко наличными, но никто не уходил, — голодали, да работали. Сам Абрам Яковлевич был очень мил и симпатичен, его бедность была налицо, и всякий старался помочь ему, а он надеялся на успех и сыпал обещаниями:

— Вот пойдет газета — тогда другое дело! Всех сотрудников обеспечу, ничего не пожалею. Разве я не отдаю теперь последнее?

Действительно, он делился с сотрудниками последним.

В «Новостях дня» я за все время их существования постоянно почти не работал, но первые годы по усиленной просьбе А. Я. Липскерова помочь ему давал иногда интересный материал, и он действительно платил, как умел.

Мне как-то причиталось получить сорок рублей с редакции.

— Нет ни копейки! Повесь меня вот на ламповый крюк и бей палкой, может быть, червонцы из меня посыплются! — заявил мне А. Я. Липскеров.

— Абрам Яковлевич, да мне надо штаны и пальто купить!

— Ну, вот, давно бы так и говорил! На, покупай! — и написал мне письмо в магазин готового платья «Аронтрихера» на Петровке, чтобы за счет редакции отпустили товару на сорок рублей.

С магазином А. Я. Липскеров расплачивался объявлениями, а магазин отпускал сотрудникам готовое платье из скверного, гнилого, линючего лодзинского материала.

Иногда приходилось нам получать и наличными, но всегда одним и тем же способом, памятуя одиннадцатую заповедь: не зевай! По крайней мере, так было, когда крохотная редакция и такая же контора помещались при квартире А. Я. Липскерова, на углу Тверской и Газетного переулка, в старинном доме Шаблыкина, в нижнем этаже, имея общий вход с улицы рядом с каким-то портным, изобразившим вместо вывески огромные жестяные ножницы.

Тогда то и дело повторялись стереотипные сценки: приходит сотрудник или заведующий конторой к милейшей барышне:

— Елена Евсеевна, дайте в счет пять рублей.

Она открывает кассу и показывает мелочь:

— Около рубля наберется. Погодите, может быть, что-нибудь с объявлений набежит, только не прозевайте, а то Абрам Яковлевич все бегает, справляется.

И в этот момент отворяется дверь, появляется в клетчатом старом халате А. Я. Липскеров:

— Как дела, Елена Евсеевна?

— Ничего нет.

— За деньгами? — обращается он к сотруднику.

— Надо бы!

— Ну вот полакомься! — И сует в руку конфету в бумажке.

— Спасибо!

— Пойдем ко мне! — И ведет в квартиру. А там стол накрыт, сидит молодая красивая его жена, кругом толпа детишек и кое-кто из сотрудников. На столе самовар, огурцы и огромное блюдо картофельного салата. Сидят, закусывают, чай пьют, иногда водочки поставят.

А. Я. Липскеров то и дело исчезает в контору, возвращается и пьет чай или жует колбасу. Через полчаса срочно нуждавшийся в деньгах сотрудник прощается и идет в кассу.

— Елена Евсеевна!

— Ну и прозевали. Абрам Яковлевич два раза все обобрал. Я говорила, не зевайте, вот и позавтракали! У нас знают, когда угостить!

Была ли Елена Евсеевна в заговоре с хозяином — вопрос оставался открытым.

Занятый постоянной работой в «Русских ведомостях», я перестал бывать у А. Я. Липскерова. Знаю, что он переживал трудные дни, а потом, уже когда на него насели судебные пристава, к нему, на его счастье, подвернулся немец типографщик, дал взаймы на расплату семь тысяч рублей, а потом у него у самого типографию описали кредиторы...

Но эти семь тысяч спасли А. Я. Липскерова. Вообще ему везло. Затевая издание газеты, он не задавался никакими высокими идеями, а смотрел на газету как на коммерческое дело с конечной целью разбогатеть по примеру Н. И. Пастухова, а что писалось в газете, его занимало мало. Его интересовали только доходы.

В первое время редактором была А. И. Соколова, из закрывшейся «Русской газеты», а секретарем — провинциальный журналист Е. А. Вадле де Барр. Сам А. Я. Липскеров был малограмотен. Он писал «одна ножница», «пара годов» и т. п.

Редакция состояла из фактического редактора А. И. Соколовой, секретаря Вадле де Барра и нескольких мелких сотрудников.

А. И. Соколова — образованная вполне, литературная дама, в прошлом воспитанница Смольного института, много лет работала в разных изданиях, была в редакции всё.

Она была родная мать В. М. Дорошевича, но не признавала его за своего сына, а он ее за свою мать, хотя в «Новостях дня» некоторое время он служил корректором и давал кое-какие репортерские заметки.

Никто не знал об их родстве. В. М. Дорошевич одним из первых своих псевдонимов взял себе «Сын своей матери».

У А. И. Соколовой, или, как ее звали, у «Соколихи», были сын Трифон, поразительно похожий на В. М. Дорошевича, только весь в миниатюре, и дочь Марья Сергеевна, очень красивая барышня, которую мать не отпускала от себя ни на шаг. Трифон Сергеевич младший и Марья Сергеевна были Соколовы, а старший — Влас Михайлович — Дорошевич.

Эту тайну никто не знал, и только много лет спустя Влас Михайлович сказал как-то мне, что его в детстве еще усыновил московский пристав Дорошевич.

Это было уже тогда, когда мать была в Петербурге и работала в «Петербургском листке» и в «Историческом вестнике».

Трифон окончательно спился, обитал в плохой квартирке на Сретенке в Стрелецком переулке, куда я не раз носил ему деньги для уплаты за квартиру по просьбе Александры Ивановны, писавшей мне об этом из Петербурга.

Кроме того, деньги впоследствии Трифону посылал и Влас Михайлович.

Трифон вскоре умер, а затем умерла и Александра Ивановна.

Она долго работала после «Новостей дня» в «Московском листке», писала маленькие фельетончики и романы под псевдонимом «Синее домино».

Псевдоним этот — отзвук какого-то ее личного романа дней юности в Петербурге, в котором было замешано одно очень крупное лицо.

Она мне что-то рассказывала об этом. Помню, что она происходила из какой-то известной дворянской фамилии

и уже в Москве вышла замуж за Соколова, повенчавшись после рождения В. М. Дорошевича.

Соколов тоже принадлежал отчасти к журнальному миру и был живой портрет Дорошевича, один из представителей того мирка, которому впоследствии присвоили наименование «богема».

Самым ярким сотрудником первых лет издания «Новостей дня» был Гурлянд, сперва студент, а потом приват-доцент, а вскоре и профессор административного права Демидовского лицея в Ярославле.

Гурлянд писал под псевдонимом «Арсений Гуров» хлесткие злободневные фельетоны, либеральные, насколько было возможно либеральничать газете, выходившей под жестокой цензурой, а также писал большие повести два раза в неделю.

А. Я. Липскеров очень дорожил талантливым сотрудником, хотя цензура считала его ультракрасным.

И кто бы мог подумать, что из ультракрасного молодого писателя вырастет «известный Гурлянд» — сотрудник официозных изданий. В Ярославле в это время был губернатором, впоследствии глава царского правительства, Штюрмер, напыщенный вельможа.

Франтоватый, красивый, молодой приват-доцент сделался завсегдатаем губернаторского дома, и повторилась библейская история на новый лад: старый Пентефрий остался Пентефрием, жена его, полная жизни, красивая женщина, тоже не изменилась, но потомок Иосифа Прекрасного не пошел в своего библейского предка...

Перевели Пентефрия к фараонову двору и самую что ни на есть высшую должность дали ему: после фараона он самым что ни есть первым человеком в стране стал, а Иосиф Прекрасный сделался его первым помощником в делах управления страной. Штюрмер стал председателем совета министров, а Гурлянд его вторым «я». Арсений же Гуров, конечно, растаял и исчез со страниц «Новостей дня».

Писал в этой газете в начале литературной юности А. П. Чехов, писал А. В. Амфитеатров и, кажется, даже Вас. Ив. Немирович-Данченко. Детей А. Я. Липскерова репетировал бывавший часто у Чехова студент Н. Е. Эфрос, он и уговорил Чехова дать в газету повесть,

которая и была напечатана в нескольких нумерах «Новостей дня».

Вскоре Соколова и Вадле де Барр перешли в «Московский листок», и редактировать газету стал А. П. Лансберг, редактор закрывшегося вскоре после его ухода «Голоса Москвы».

Талантливый беллетрист и фельетонист, он сумел привлечь сотрудников, и газета двинулась. После А. П. Лансберга редактором стал Н. Е. Эфрос, а затем А. С. Эрманс, при котором многие из сотрудников покинули газету.

Позднее А. С. Эрманс редактировал крупную и бойко шедшую газету в Одессе, но и здесь его постигла неудача.

В конце девяностых годов «Новости дня» имели огромный успех и свою публику. Их читала интеллигенция, «цивилизованное» купечество, театральная и бульварная публика.

В газете появился В. М. Дорошевич со своими короткими строчками, начавший здесь свой путь к славе «короля фельетонистов». Здесь он был не долго. Вскоре его пригласил Н. И. Пастухов в «Московский листок», а потом В. М. Дорошевич уехал в Одессу и в свое путешествие на Сахалин.

На счастье А. Я. Липскерова, приехал из Одессы маленький репортерик, одетый более чем скромно, Семен Лазаревич Кегулихес, впоследствии взявший фамилию Кегульский, и начал ставить в «Новостях дня» хронику.

С год проработал он, быстрый и неутомимый, пригляделся, перезнакомился с кем надо и придумал новость, неслыханную в Москве, которая ему дала деньги и А. Я. Липскерова выручила. С. Л. Кегульский первый ввел практикуемые давно уже на Западе «пюблисите», то есть рекламы в тексте за большую плату.

Дело пошло. Деньги потекли в кассу, хотя «Новости дня» имели подписчиков меньше всех газет и шли только в розницу, но вместе с «пюблисите» появились объявления, и расцвел А. Я. Липскеров. Купил себе роскошный особняк у Красных ворот. Зеркальные стекла во все окно, сад при доме, дорогие запряжки, роскошные обеды и завтраки, — все время пьют и едят. Ложа в театре, ложа на скачках, ложа на бегах.

Всегда узнавалась издали ложа А. Я. Липскерова по куче богато одетых его детей. Но этого было ему мало. Завел свою скаковую конюшню.

Как-то Н. И. Пастухов, за обедом у Тестова просматривая «Новости дня», указал на объявление портновской фирмы Мандля в полстраницы и сказал:

— Штанами плотють!

В довершение всего А. Я. Липскеров стал спортсменом. Он держал около тридцати скаковых лошадей, которые классные призы выигрывали редко.

Его гораздо больше привлекала слава знаться с высшим обществом, и он любил заседать в членской беседке павильона наряду с графами и князьями.

Огромная конюшня, обнесенная забором, была в виду у всех на Ходынке, рядом со скаковым кругом. Расход был огромный, лошади, конечно, себя не оправдывали и на содержание их не хватало доходов от газеты. Пошли векселя.

Как-то А. Я. Липскеров пригласил осмотреть конюшни и сделал мне выводку лошадей.

Когда я пересмотрел лошадей, он гордо сказал:

— Ну, как? Только правду говори!

— Вот что я тебе, Абрам, скажу по-дружески: послушайся меня и, если исполнишь мой совет, то будешь ты опять богат. Вот у тебя хлыст в руках, прикажи сейчас же отпереть все конюшни и всех до одной лошадей выгони в поле, ворота запри, а сам на поезд на два месяца в Крым. Иди и не оглядывайся!

Ошалел А. Я. Липскеров и даже обиделся. Прошло года три. «Новости дня» опять в долгу, лошадей кредиторы с аукциона продали. Встречаю его, он как-то весь полинял.

— Следовало бы тебя послушать, богат был бы,— сказал он, хлопнув меня по плечу и улыбаясь.

«МОСКОВСКИЙ ЛИСТОК»

«Московский листок». Немного сейчас — в двадцатые годы XX века — людей, которые знают, что это за газета. А в восьмидесятые годы прошлого столетия «Московский листок» и в особенности его создатель — Николай Иванович Пастухов были известны не только грамотным москвичам, но даже многим и неграмотным; одни с любопытством, другие со страхом спрашивали:

— А что в «Листке» пропечатано?

Популярность «Московского листка» среди москвичей объяснялась не только характером и направленностью издания, но и личностью издателя, крепко державшего в руках всю газету.

Он и мне запомнился очень характерными для него как человека особенностями, которые делали его фигуру необычайно колоритной для газетной Москвы того времени.

* * *

«Московский листок» — создание Н. И. Пастухова, который говорил о себе:

— Я сам себе предок!

Это — яркая, можно сказать, во многом неповторимая фигура своего времени: безграмотный редактор на фоне безграмотных читателей, понявших и полюбивших этого человека, умевшего говорить на их языке.

Безграмотный редактор приучил читать безграмотную свою газету охотнорядца, лавочника, извозчика, трактирного завсегдатая и обывателя.

Мало того, что Н. И. Пастухов приучал читать газету, — он и бумагу для «Листка» специальную заказывал, чтобы она годилась на курево.

Из-за одного этого он конкурировал с газетами, печатавшимися, может быть, на лучшей, но негодной для курева бумаге, даже это было учтено им!

Интересовался Н. И Пастухов для своего «Листка» главным образом Москвой и Московской губернией.

— С меня Москвы хватит, — говорил он.

Интересовался также городами, граничащими с ней, особенно фабричными районами. Когда он ездил на любимую им рыбную ловлю, то в деревнях и селах дружил с жителями, каким-то чутьем угадывая способных, и делал их своими корреспондентами.

— Да я малограмотный!

— На что мне твоя грамотность. У меня на то корректора есть. Ольга Михайловна все поправит! Ты только пиши правду, соврешь — беда будет!

И давал наставление, что и как писать.

— Вот ежели убийство или что другое такое крупное, сам в Москву приезжай, разузнавши все обстоятельно, что говорят и что как, а на дорогу и за хлопоты я тебе заплачу!

И получались от новых корреспондентов очень интересные вещи, и почти ни один никогда не соврал.

Н. И. Пастухов действительно не жалел денег на такие сообщения и получал сведения вне конкуренции.

Для распространения подписки в ближайших городах он посылал своих корреспондентов.

— Разнюхай там, о чем молчат!

* * *

Мое знакомство с Н. И. Пастуховым произошло в первых числах августа 1881 года в саду при театре А. А. Бренко в Петровском парке, где я служил актером. В этот вечер я играл в «Царе Борисе» Хлопко и после спектакля с Н. П. Кичеевым, редактором «Будильника», вдвоем ужинали в саду

— Здравствуйте, Николай Петрович!

И, поздоровавшись с Н. П. Кичеевым, подошедший человек, очень похожий на писателя Писемского, сел за стол и протянул мне руку:

— Здравствуй!

Н. П. Кичеев нас познакомил:

— Пастухов Николай Иванович, редактор «Московского листка», и актер Гиляровский.

— Чего играешь? — спросил меня Николай Иванович.

— А вот сейчас атамана играл, — пояснил Н. П. Кичеев.

— Хорошо! Здорово ты их за шиворот траханул!

Потом, закуривая, сказал:

— Ты бы что-нибудь написал в «Листок».

— Не знаю, что написать!

Н. П. Кичеев заметил:

— Стихи пишет. Хорошие стихи, я в «Будильник» взял.

— Ну, вот стихи давай, а то театральные анекдоты.

— Это могу! Я их много знаю.

— Ну и пиши...

Николай Иванович оглядел меня.

— Чего это ты в высоких сапогах?

— Да так, по привычке!

На другой день я послал несколько анекдотов, которые и были напечатаны в ближайшем номере под рубрикой «Записки театральной крысы».

Уже в первый год издания «Московский листок» заинтересовал Москву обилием и подробным описанием множества городских происшествий, как бы чудом на другой день попадавших на страницы газеты.

В газете наряду со сценами из народного быта печатались исторические и бытовые романы, лирические и юмористические стихи, но главное внимание в ней уделялось фактам и событиям повседневной московской жизни, что на газетном языке называлось репортажем.

Н. И. Пастухов, узнав от Кичеева и Андреева-Бурлака кое-что из моего прошлого, а главное его подкупила георгиевская ленточка, он со свойственным ему газетным чутьем заметил, видимо, во мне, как он впоследствии назвал, — тягу к репортажу

Вскоре после знакомства Н. И. Пастухов усадил меня на извозчика и начал возить по разным местам Москвы и знакомить с людьми, которые были интересны для газеты.

Я видел, как он добывал сведения, как ловко задавал умелые вопросы, рассказывал мне о каждом уголке, где мы бывали, рассказывал о встреченных людях, двумя словами, иногда неопровержимо точно определяя человека.

В саду «Эрмитаж» как-то к нам подошел щеголевато одетый, пожилой, худенький брюнет с бриллиантовым перстнем и протянул с любезными словами Н. И. Пастухову руку. Тот молча подал ему два пальца и, отвернувшись, продолжал разговаривать со мной. Брюнет постоял и немного конфузливо отошел от стола.

— Николай Иванович, кто это?

— Просто сволочь!..

И ни слова больше.

Позднее я узнал, что это один из ростовщиков популярного антрепренера М. В. Лентовского. Он держал для видимости довольно приличный винный погребок и гастрономический магазин, а на самом деле был шулер и ростовщик. От одного из таких же типов, тоже шулера, я узнал, что брюнет до этого, имея кличку Пашки-Шалуна, был карманником у Рязанского вокзала, а позднее работал по этим же делам в поездах. Я об этом рассказал Н. И. Пастухову.

— Знаю, было! — ответил он.

* * *

Николай Иванович Пастухов, как я уже сказал, был одним из ярких чисто московских типов за последнее полстолетие. Только своеобразная, своебытная торговая Москва могла создать такое своеобразное явление, каким был этот издатель.

Тридцать лет я был близко знаком с Н. И. Пастуховым и благодаря ему самому и близким к нему людям достаточно хорошо знал его прошлое.

За тридцать лет он не переменился сам в себе до мелочей, даже и в то время, когда стал из голодного репортера благодаря своей газете миллионером.

— В жилу попал, — говорило купечество, видя, как Николаю Ивановичу газета дает ежегодно сотни тысяч барыша.

Действительно, Н. И. Пастухов знал всю подноготную, особенно торговой Москвы и московской администрации. Знал, кто что думает и кто чего хочет. Людей малограмотных, никогда не державших в руках книгу и газету, он приучил читать свой «Листок».

В 1881 году ему было разрешено издание газеты, а первого августа этого года вышел первый номер «Московского листка».

В «Будильнике» предварительно появилась следующая карикатура: по Тверской едет на рысаке господин в богатой шубе, с портфелем под мышкой — портрет Н. И. Пастухова, а на спинке саней надпись: «Московский листок». Под карикатурой подписано: «На своей собственной...»

С гордостью Н. И. Пастухов показывал этот номер своим знакомым:

— На своей собственной!

Человек, выбившийся из ничего, загнанный, вечно нуждающийся в копейке, и вдруг.

— На своей собственной! Редактор своей газеты!..

— Вот я им покажу, чего я стою, — говорил Н. И. Пастухов по адресу людей, издевавшихся над его нуждой.

И действительно показал!

Человек огромной силы воли, за год перед этим никем не признаваемый, при полном отсутствии воспитания и образования, совершил почти невозможное.

Трудно было думать, что через несколько лет после издания своей газеты этот человек будет гостем на балу у президента Французской республики господина Карно, во время франко-русских торжеств в Париже!

Мещанин города Гжатска Смоленской губернии, служивший во время крепостного права подвальным и поверенным при винных откупах, он уже искал света, читал, что попадало под руку, и писал стихи.

Я бережно храню библиографическую редкость — книжку в 48 страниц: «Стихотворения из питейного быта и комедия «Питейная контора», сочинение Николая Пастухова. Москва, 1862 год».

Комедия жестоко обличительная. В ней только и есть грабители — купцы, сплошь взяточники крупные власти и горькие пьяницы-чиновники.

Только в 1862 году, в первый год после уничтожения крепостного права, и могла проскочить такая обличительная книжка.

Даря мне книжку, Н. И. Пастухов сказал:

— Во как мы писали! Поди-ка пошли ее теперь в цензуру — в Сибирь сошлют!

Всю свою душу, все свои беды и невзгоды вылил автор-самоучка в немудрых стихах, давая картинки своей трудной жизни:

С квартиры выгнали, в другую не пускают:
Все говорят, что малый я пустой,
Срок паспорта прошел, в полицию таскают.
Отсрочки не дают без денег никакой...
Теперь сижу один я на бульваре
И думаю, где мне ночлег сыскать.
Одной копейки нет в моем кармане,
Пришлось последнее продать...

Но энергичная натура не поддавалась нужде, и он верил в свое счастье:

Я думаю, когда-нибудь
Должна же радость проглянуть!..

Но эта радость долго не приходила. В стихах этой же книжечки говорит Н. И. Пастухов об единственной утехе, которая скрашивала его тяжелые дни:

Люблю я летом с удочкой
Над речкою сидеть...

Рыбная ловля была единственным бессменным удовольствием Н. И. Пастухова с детства до самой его смерти. Не самая ловля, не добыча рыбы, а часы в природе были ему дороги.

По нескольку суток, днем и ночью, он ездил в лодке по реке, тут же спал на берегу около костра, несмотря ни на какую погоду. Даже по зимам уезжал ловить и в двадцатиградусные морозы просиживал часами у проруби на речке.

Много рассказов написал он во время своих поездок по рекам и озерам. Первое стихотворение в его книжке — о рыбной ловле. Книжка и есть начало его будущего благосостояния, начало и «Московского листка».

Н. И. Пастухов открыл в Москве около Арбата небольшое «питейное заведение», и с этого момента начинается его перерождение.

Широкий по натуре, добрый и хлебосольный, Н. И. Пастухов помогал студенческой молодежи, которая кормилась, дневала и ночевала у него.

В числе их были, между прочим, студент Ф. Н. Плевако, потом знаменитый адвокат, А. М. Димитриев — участник студенческих беспорядков в Петербурге в 1862 году и изгнанный за это из университета (впоследствии писатель «Барон Галкин», автор популярной в то время «Падшей») и учитель Жеребцов.

Большую часть своего времени вместо торговли Н. И. Пастухов проводил с ними, слушая, что они читают, читал сам.

И, конечно, проторговался, но никогда не падал духом. В его банкротстве было его будущее счастье. Жеребцов и Димитриев работали тогда в только что начавших издаваться Н. С. Скворцовым «Русских ведомостях».

Н. И. Пастухов благодаря своим широким знакомствам добывал репортерские сведения и, написав, как умел, на клочке бумаги, передавал их для газеты. Сведения эти переделывались и печатались.

При упорном труде Н. И. Пастухов выучился сам в конце концов писать заметки о происшествиях, добывая их у полиции и у трущобников, и вскоре сделался первым и единственным московским репортером, которому можно было верить безусловно.

Он бросил свою торговлю и весь отдался газетному делу. Ради какого-нибудь удавившегося портного в Рогожской или пожара в Марьиной роще Н. И. Пастухов бегал десятки верст пешком и доставлял сведения живые и точные.

Потом в газете «Современные известия» он стал писать заметки и фельетоны. Одновременно с этим А. А. Соколов, редактор «Петербургского листка», пригласил Н. И. Пастухова сотрудничать в своей газете, где

он и писал «Письма из Москвы», имевшие большой успех.

«Современные известия» стали командировать его на Нижегородскую ярмарку, откуда он доставлял обстоятельные торговые сведения и разные статьи. Статьи, обличавшие ярмарочные безобразия, читались нарасхват и обратили на автора внимание нижегородских губернаторов, в том числе и градоначальника Н. П. Игнатьева.

Когда последний в мае 1881 года был назначен министром внутренних дел, Н. И. Пастухов, учтя впечатление, которое он произвел на Н. П. Игнатьева, обратился к нему с ходатайством о разрешении издавать в Москве ежедневную газету.

Ходатайство было удовлетворено, разрешение получено, и Н. И. Пастухов с помощью богатого купца-писчебумажника, давшего денег «на первое обзаведение», начал издание «Московского листка».

* * *

Н. И. Пастухов к газетной работе относился строго и жестоко разносил репортеров, которые делали ошибки или недомолвки в сообщениях.

— Какое же это самоубийство, когда он жив остался?! Врешь все! — напустился раз Н. И. Пастухов на репортера С. А. Епифанова, который сообщил о самоубийстве студента, а на другой день выяснилось, что это было только покушение на самоубийство.

— Жив, а ты самоубийство!

— Да как же, Николай Иванович, его замертво в больницу увезли, только к утру он стал подавать признаки жизни!

— А ты пойди и пощупай. Если остыл, тогда и пиши самоубийство! В гроб положут — не верь. Вон червонные валеты Брюхатова в гроб положили, а как понесли покойника, с духовенством, на Ваганьково мимо «Яра», он выскочил из гроба да к буфету! Мало ли что бывает!

Репортеров он ценил больше всех других сотрудников и не жалел им на расходы, причем всегда давал деньги сам лично, не проводя их через контору, и каждый раз, давая, говорил:

— Это на расходы! Никому только не говори!

По душе это был добрейший человек, хотя нередко весьма грубый. Но после грубо брошенного отказа сотруднику в авансе призывал к себе и давал просимое.

— Николай Иванович, у меня вчера сын родился, — докладывает сотрудник А. М. Пазухин, собиравшийся просить аванс.

— Я здесь ни при чем!

— Авансом бы мне пятьдесят рублей. Ведь расходы, новорожденный!

— Сами виноваты! Мне какое дело? Ничего не дам!— И начинает ходить по кабинету быстро, быстро. Потом остановится:

— Ступайте в контору и скажите, что я велел дать 25 рублей.

— Пятьдесят бы!

В конце концов Н. И. Пастухов смягчался, начинал говорить уже не вы, а ты и давал пятьдесят рублей. Но крупных гонораров платить не любил и признавал пятак за прозу и гривенник за стихи. Тогда в Москве жизнь дешевая была. Как-то во время его обычного обеда в трактире Тестова, где за его столом всегда собирались сотрудники, ему показали сидевшего за другим столом поэта Бальмонта.

— Пишет стихи? — спросил он.

— Да, Николай Иванович, прекрасные стихи пишет.

— Федя, — обратился он к своему редактору Ф. К. Иванову, — чего же он у нас не пишет! Позови его! Пусть пишет!

— Да он дорог.

— Все равно. Пускай пишет. Уж ежели я сказал, чтоб писал, так, стало быть, денег не жалею!

— Ведь он за стихи по рублю за строку берет, — сказал кто-то из собеседников.

— По рублю? За строку?

— Да! Ну, вот видите и не годится!

Но Николай Иванович не смутился и обратился к Ф. К. Иванову:

— Федя, скажи ему... пусть напишет... так строчки три. Мы заплатим по рублю.

Бывали случаи, что Н. И. Пастухов действительно платил своим сотрудникам и очень крупно.

Когда он издавал свой журнал «Гусляр», то А. П. Полонскому и А. Н. Майкову он платил по 100 рублей за стихотворение, крупно также платил известному тогда поэту Л. Н. Граве, переводчику Леопарди.

Как-то сидела в редакции «Гусляра» компания, в которой был и Л. Н. Граве. Говорили о стихах Леопарди. Входит Н. И. Пастухов и садится. Л. Н. Граве обращается к нему, как бы продолжая наш разговор:

— Николай Иванович, а вы что скажете о Леопарди?

— Чего?

— Что вы скажете о Леопарди?

— Что сказать? Зверь, как зверь!

Н. И. Пастухов был иногда очень откровенен и никогда не любил рисоваться. Раз как-то «хозяин столицы» князь В. А. Долгоруков спросил его:

— Как идет ваша газета?

— Слава богу, ваше сиятельство, кормимся!

Тогда на Н. И. Пастухова набросились за эти слова сотрудники либеральной печати, говоря, что подобный ответ унижает достоинство журналиста.

— Ну что ж! И кормимся! А вы-то что ж, даром в своей газете работаете. Тоже кормитесь да не одним гонораром, а еще за проведение идей с банков берете. Чья бы корова мычала, а уж ваша-то бы молчала!

Ставши миллионером, он не менял своих привычек, так же репортерствовал сам, как и прежде, и добывал такие сведения, которых добыть никто не мог.

Во время коронации 1896 года он поручил своим сотрудникам во что бы то ни стало добыть заранее манифест, чтобы первому его опубликовать в своей газете.

Ни репортеры, ни чиновники не могли этого сделать, даже никто не мог узнать, где он печатается, так как это все велось в строжайшей тайне.

Н. И. Пастухов, рыскавший целый день, дознался, что манифест печатается в Синодальной типографии, на Никольской. Он познакомился с курьерами и околачивался все время в швейцарской и ждал, когда повезут отпечатанный манифест во дворец.

Наконец, начали выносить крепко завязанные пачки, чтоб грузить в присланную за манифестом коляску с придворным и лакеем на козлах.

— Достань-ка, братец, из пачки парочку манифестиков, на память хочется в семье иметь. — И сунул в руку двадцатипятирублевку.

Через минуту два экземпляра манифеста были в кармане Николая Ивановича, а через час газетчики и мальчишки носились с особым приложением к «Московскому листку» и продавали манифест на улицах за сутки до обнародования в других газетах.

Н. И. Пастухов ликовал: не столько наживе радовался, сколько ловкости репортерской и редакторской.

— Мы первые!

А на другой день струсил: его вызвали к министру.

— Я у вас не буду спрашивать подробностей, каким путем вы ухитрились добыть манифест, ответьте только на один вопрос: легальным путем или нет вы добыли манифест?

— Легальным, ваше высокопревосходительство, двадцать пять рублей на чай дал!

* * *

«Московский листок» сразу приобрел себе такую репутацию, что именитое и образованное купечество стыдилось брать в руки эту газету, никогда на нее не подписывалось, но через черный ход прислуга рано утром бегала к газетчику и потихоньку приносила «самому» номер, который он с опаской развертывал и смотрел главным образом рубрику «Советы и ответы».

— Уж не прохватил ли меня этот!

Радовался, если уцелел, а прохватили кого-нибудь из знакомых.

Каждый номер газеты являлся предметом для разговоров.

— И откуда эта ищейка все разнюхает, всю подноготную вывернет? — удивлялись они.

— Посмотрим, кажется, говорят, опять сегодня Гаврила Гаврилыча разделал.

— Это вчера было и всего две строчки, написал без имени и фамилии, а как влил, наизусть помню:

Пред совестью хозяина Пассажа
Пас сажа.

Половой приносил сидящим в трактире именитым посетителям «Листок», и начиналось вслух чтение «Раешника».

«Изволите видеть, ходит мимо красавец почтенный, мужчина степенный, усы завиты, бачки подбриты, глядит молодцом, барином, не купцом. Ходит по Кузнецкому мосту, ищет денег приросту с первого числа, грит, удружу, на всех по полтыщи наложу, мы им наживать даем, значит повысим за наем.

Ходит посвистывает, книжечку перелистывает, адреса ищет, барыни, раскрасавицы, сударыни, денег, грит, пообещаю, любовью настращаю, что, мол, погубите, коли не любите, а там насчет денег яман, держи шире карман, надуем первый сорт».

Хохочут именитые при чтении таких строчек.

— Дальше не стоит! Эй, унеси газету, давай-ка закусить!

Половой уносит, улыбаясь, газету и смеется со своими товарищами на кухне.

— Про Солодовникова процыганили! А как дошло дело до них, до самих фабрикантов, и газету велели унести! Небось, дома уж каждый прочитал, каждому подходит!

А в газете писалось:

«Пожалте сюда, поглядите-ка, хитра купецкая политика. Не хлыщ, не франт, а миллионный фабрикант попить, погулять охочий на труд на рабочий. Видом сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный, ткут, снуют да мотают, все на него работают. А народ-то фабричный, ко всему привычный, кости да кожа, да испитая рожа. Плохая кормежка, да гнилая одежка, подводит живот да бока у фабричного паренька.

А директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не позволяют покупать продукты, примерно хочешь лук ты — посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки, там, мол, без надбавки. Дешево и гнило!

А ежели нутро заговорило, не его, вишь, вина, требует вина, тоже дело табак, беги в фабричный кабак. В другом будешь скупей, а тут на книжку пей, штучка не мудра, дадут и полведра.

А в городе хозяин ходит, как граф, пользу да штраф, да прибыль, провизия, значит, не в ремизе я, а там на товар процент дает хороший дивиденд, а уж при подряде своего тоже не упустим, такого Петра Кириллова запустим, что на поди! Значит, пей да гуляй, да певиц бриллиантами наделяй, а ежели учинишь дебош, адвокат у нас хорош, это нам не в убытки, потому прибытки прытки».

И так ежедневно, в каждом номере «Листка» обязательно пробирали и купечество именитое, и мелких хозяйчиков, и Думу, и Земство.

«Листок», конечно, не любили, считали его шантажным. Н. И. Пастухова называли шантажистом.

Но нередко те из газетных работников, кто называл так его, приходили к Н. И. Пастухову за авансом, и он «нанимал их в сотрудники», разве только скажет цитату из его же фельетона и закончит:

— Отутюжь-ка мне двенадцать братчиков, у них что-то от вчерашней статьи насчет Земельного банка жареным запахло!

— Мне неудобно, Николай Иванович, в «Русских ведомостях» у меня есть знакомые!

— Ну, как хочешь, сам отчихвощу! Да ты что, в доле с ними? Лапку сосешь? Уж не ты ли объявления в банке для них получаешь? Принеси и нам.

— Я бы принес, Николай Иванович, да ведь вы подведете, как тогда с Гужоном было, он сдал вам объявление, а вы в том же номере и написали, что завод Гужона всю Москву-реку заразил из потайных труб нечистотами.

— Что же, меня купили объявлениями? Все равно выругаю их, кто заслуживает. А о тех, кто рыбу морит, в реке народ отравляет, так я о них за объявления молчать буду?

— Ресторан «Эрмитаж» опять обижается, опять выругали, что у них в кухне грязно, а сколько он вам объявлений сдает?

— Пусть не сдает, не надо, а завтра опять его дербану!

И на другой день появляется в «Советах и ответах» следующее: «Повару Оливье на Трубу. Рябчики-то ваши куда как плохи, нельзя ли подавать посвежей. Узнает о том санитарная комиссия — протокол составит».

Эти «Советы и ответы» придумал Н. И. Пастухов, и в первый год издания они сразу двинули розницу газеты.

Каждый из торгового мира москвич покупал газету и развертывал с трепетом: «Не попался ли я?»

Все обиженные стали возмущаться, равно как и те, которые чувствовали за собой какую-нибудь вину. Многие газеты, конечно, набросились на «Листок», выражали презрение к нему, и сотрудничество в нем стало считаться зазорным.

— У них газета нейдет, они и завидуют, — говорил Н. И. Пастухов.

Н. П. Кичеев, редактировавший «Листок» с первых номеров, как только появились «Советы и ответы», под влиянием этих разговоров отказался от редактирования и лишился большого заработка.

Многие ругали «Листок», и все его читали. Внешне чуждались Н. И. Пастухова, а к нему шли. А он вел свою линию, не обращал на такие разговоры никакого внимания, со всеми был одинаков, с утра до поздней ночи носился по трактирам, не стеснялся пить чай в простонародных притонах и там-то, главным образом, вербовал своих корреспондентов и слушал разные разговоры мелкого люда, которые и печатал, чутьем угадывая, где правда и где ложь.

Бывали случаи, что старались поймать Н. И. Пастухова, сообщали ложные сведения, чтоб подвести газету, много посылали анонимных писем, но его провести было трудно. Он чувствовал, где ложь и где правда.

Некоторые же, достойные внимания известия, всегда посылал проверить самых опытных репортеров.

— Гляди, чтоб комар носа не подточил, тихомолом разнюхай!

Репортерам приходилось иногда идти пешком —

тогда еще и конок не было—в Хамовники, или в Сокольники, или в Даниловку разнюхивать на фабрике, чем кормят рабочих, как они живут и берут ли с них штрафы.

Разузнает все репортер, принесет подробное сообщение, а Н. И. Пастухов лично переделает три-четыре строки и хватит в «Советах и ответах» провинившегося фабриканта, назвав его по приметам или по прозвищу так, что все узнают; и к суду привлечь никак нельзя.

В результате таких «Советов и ответов» часто незаконные штрафы прекращались, пища и жилище улучшались, а репортер прямо из рук Н. И. Пастухова получал за эти три-четыре строки пять, а то и десять рублей гонорара.

Кто сообщил, кто написал, — никому неизвестно, а главное, к суду привлечь нельзя.

Многим помогали эти «Советы и ответы», и многим попадало в них ежедневно, а больше всего тем, кто притеснял рабочих, служащих, обиженных.

«Мебельщику С-ому. На Большую Дмитровку.

Вы жалуетесь, что Вам снятся сны неспокойные, погодите — не такие еще будут сниться, если Вы только не перестанете обижать и обсчитывать своих рабочих».

«Околоточному Рабиновичу, Серпуховский участок.

Кажется, прошло то время, когда ваша братия ходила славить, блуждая по лавкам, а вы все еще это занятие не оставляете, смотрите, как бы вас за это начальство не припугнуло», — и полиция по Москве начинает остерегаться брать взятки.

«Фабриканту Емельянычу в Бронницкий уезд. Пожалуйста, не выворачивайте кармана, раненько задумали, как бы вам в капкан не попасть!»

«В Охотный ряд Илюше Пузатому. Кормите приказчиков побольше, а работать заставляйте поменьше, сам пузо нажрал, небось!»

Смотришь, фабрикант Емельяныч не устраивает дутого банкротства, и не один Пузатый, а и другие хозяева Охотного ряда начинают больше заботиться о приказчиках.

Газету читали и читали, с каждым днем рос тираж, корреспонденции шли со всех углов, из самых глухих деревень, потому что Н. И. Пастухов умел уговаривать

писать всякого, писать ему всякую новость. Учил, что и как писать.

Много и безграмотной ерунды, конечно, присылали, но Н. И. Пастухов умел извлекать интересное, и не было во всей Московской губернии ни одного трактира, где не получался бы «Листок».

«Кабацкий листок» — звали его либеральные газеты.

* * *

Одним из главных магнитов, привлекавших простодушного читателя «Листка», были ежедневно печатавшиеся в газете романы-фельетоны.

Романы шли шесть раз в неделю, а по воскресеньям шел фельетон И. И. Мясницкого, его сценки из народного или купеческого быта. И. И. Мясницкого читала праздничная публика, а романы, можно сказать, читались более широко. Каждый романист имел свои два дня в неделю. Понедельник и среда — исторический роман Опочинина, вторник и пятница — роман из высшего круга с уголовщиной «Синее домино» (псевдоним А. И. Соколовой), а среда и суббота — А. М. Пазухин, особый любимец публики, дававший постоянных подписчиков.

В контору газеты, помню, при мне пришли две старушки и заявили принимающей подписку:

— На Пазухина на полгода подпишите нас.

Многие читали только А. М. Пазухина, его незатейливые романы из мещанской и купеческой жизни, всегда кончавшиеся общим благополучием.

А. М. Пазухин писал непрерывно, круглый год, два фельетона-романа в неделю, а в тексте еще сценки.

Другие романисты менялись, появлялись романы Рудниковского (М. Н. Былов), П. М. Старицкого, украинского актера из запорожской жизни, А. А. Соколова и другие, но А. М. Пазухин был несменяем.

Наконец, сам Н. И. Пастухов «загремел» своим романом «Разбойник Чуркин» — тоже два раза в неделю. Роман подписывался псевдонимом «Старый знакомый», но вся Москва знала, что это псевдоним Н. И. Пастухова.

Еще до «Листка» псевдоним «Старый знакомый»

много лет появлялся в «Современных известиях» и в «Русской газете» под жестокими, обличительными фельетонами.

Этот псевдоним имел свою историю. Н. И. Пастухов с семьей, задолго до выхода своей газеты, жил на даче в селе Волынском за Дорогомиловской заставой. После газетной работы по ночам, за неимением денег на извозчика, часто ходил из Москвы пешком по Можайке, где грабежи были не редкость, особенно на Поклонной горе. Уж очень для грабителей место было удобное — издали все кругом видно.

Придорожные грабители Н. И. Пастухова никогда не трогали потому, что и по костюму видно, что денег у такого прохожего не предвидится, да, кроме того, он их то папироской угостит, то, захватив с собой бутылку водки на дачу, разопьет с ними где-нибудь в канаве.

Знали они, что он писал в газетах и подписывался — еще в «Русской газете» — «Праздношатающийся», и говорили ему шутя:

— Мотри, малай, нас не пропиши!

— Я знакомых не трогаю!

Как-то в августовскую ночь Н. И. Пастухов, закупив провизии, поехал на дачу на извозчике. На Поклонной горе ватага остановила извозчика и бросилась к пролетке, а Н. И. Пастухов сидит и курит.

— Не узнали, что ли, своего, ребята!

— А! Да это старый знакомый! Ну, поезжай...

Через день он подписал свой фельетон: «Старый знакомый», и этот псевдоним он сохранил до конца жизни.

* * *

Кроме «Старого знакомого», Н. И. Пастухов подписывал иногда свои статьи «Дедушка с Арбата» в память, видимо, того времени, когда он, приехав в Москву, жил по разным квартирам в Арбатских переулках.

Мелко обличительные статейки, состоящие из диалогов с каким-то «корнетом» и «Его благородием», он подписывал «Праздношатающийся», а заметки, за которые могла последовать, как он выражался, «волосотрепка от начальства», шли под «Не я». Чтобы без греха отделаться!

— Это вы писали? — спросит иногда начальство. Или купец прохваченный привяжется:

— Это ты меня, Николай, отчихвостил?

Я отвечаю с чистой совестью:

— Неграмотный ты, что ли? Видишь, напечатано: «Не я!»

— Стало быть, не ты! Врешь! А, ну-ка, побожись! И божишься — не я писал!

* * *

Репортаж Н. И. Пастухов ценил выше всего, потому что весь интерес газеты строил на быстроте сообщений, верности факта, образности и яркости изложения.

Экстренные поручения давались им на ходу: в редакции, на улице, где придется. Редакция помещалась тогда на Софийской набережной в маленьких комнатушках нижнего этажа при типографии Д. М. Погодина, сына известного историка.

Когда редактор Вадле де Барр ушел из «Листка» и уехал в Самару, где очень долго работал в газетах, его место занял Федор Константинович Иванов, который стал фактическим редактором и был им до конца своей жизни.

За ним Н. И. Пастухову можно было спокойно спать, ловить рыбу и уезжать на лето в Нижний и издавать там свою ярмарочную газету «Нижегородская почта».

Ф. К. Иванов был все. Он любил кутнуть и даже нередко, но пока матрица не отлита, пока он не просмотрит оттиска, — из редакции не выходил. Но когда газету спускали в машину, Федор Константинович мчался на лихаче к «Яру» или в «Золотой якорь», где его уже ждала компания во главе с номинальным редактором Виктором Николаевичем Пастуховым, сыном редактора.

Раз такой пир в «Стрельне» кончился неблагополучно. В рождественскую вьюжную ночь, когда метель была такая, что ямщику лошадей не видно, компания возвращалась на тройках и на парных извозчиках-«голубчиках». Дорогой где-то в парке потеряли В. М. Дорошевича, который ни с того ни с сего выскочил из саней и

исчез в метели. Как это случилось — никто не заметил. Ночь была морозная. Около застав и по улицам горели костры, и к такому костру у Пресненской заставы подошел человек без шапки, весь обмороженный. Это был В. М. Дорошевич. Его отправили в приемный покой Пресненской части. Как он ухитрился пройти мимо бегов, мимо скачек, вьюжным Ходынским полем от Тверской заставы к Пресненской, он не помнил. Всю жизнь после этого В. М. Дорошевич страдал ревматизмом.

Редакционная компания «Листка» гуливала часто. Как-то летом, до солнышка, вышла она из загородного ресторана и увидела, что едет огромная фура для перевозки мебели, запряженная парой огромных битюгов, в ней была навалена солома для упаковки.

— Стой! Что возьмешь сейчас нас отвезти на дачу в Царицыно? — предложил Ф. К. Иванов.

— Двадцать пять рублей!

— Ладно, поехали!

Все с восторгом приняли предложение, быстро расположились в фуре и с места уснули на мягкой соломе, проспав до самого Царицына, где всех разбудили в полдень.

Федор Константинович умел гулять, но умел и работать. Любимец типографии и сотрудников, но строгий и требовательный, он последнюю полосу прочитывал сам и как редактор и как корректор, чтобы в запятой ошибки не было.

Корректуре он доверял только в те дни, когда дежурила Ольга Михайловна Турчанинова, служившая корректоршей с самого первого номера газеты. У ней ошибок не бывало.

Как-то, в четвертом часу утра, заезжаю в редакцию, вхожу в кабинет к Ф. К. Иванову и вижу: он сидит один в кабинете и хохочет, как сумасшедший. Перед ним первый оттиск газеты из машины. Он хохочет и, ничего не говоря, тычет пальцем в напечатанную на первом месте крупным шрифтом телеграмму в две строки:

«Петербург. Высочайший вор выехал в Гатчину».

— Видел! Не дождался бы я номера из машины — и газету бы закрыли, и меня бы с Н. И. Пастуховым

в Сибирь послали! В корректуре «Двор», в полосе «Двор», а в матрице буква запала!

Н. И. Пастухов ценил его и при всех затруднительных случаях обязательно обращался к нему.

У Н. И. Пастухова осталась еще с молодых лет боязнь всякого начальства, и каждому власть имущему он старался угодить всеми возможными способами, давая всякому, кому только можно, взятки: кому денег даст взаймы без отдачи, у кого ненужную лошадь купит. И у главного московского цензора Назаревского купил две дачи в Пушкине за несуразно дорогую цену.

— Да на что вам дачи в Пушкине? — спросил кто-то из своих.

— Мало ли что! И он и дачи пригодятся со временем!

— А сколько тысяч вы лишков переплатили?

— Ничего, ощенятся!

Впоследствии оказалось, что Н. И. Пастухов был прав.

Каждый год первого августа — день основания газеты — Н. И. Пастухов праздновал в Пушкине, где у него присутствовали и крупные власти и где, не берущим взяток, он проигрывал крупно в карты.

— Что же, тем кормятся! На казенное жалование не проживешь! — оправдывал он взяточников, не стесняясь с ними в обращении.

Зато неберущих боялся и разговаривать с ними не решался, посылая за себя Ф. К. Иванова.

— Федя, милый, съезди к его сиятельству! Выручи, ты уж знаешь, что сказать!

Ф. К. Иванов ехал к генерал-губернатору и выручал газету. Великим дипломатом был Федор Константинович, но раз попался.

Поздним вечером в редакции было получено от какого-то случайного очевидца известие, что между Воробьевыми горами и Крымским мостом опрокинулась лодка и утонуло шесть человек. Пользуясь знакомством с Н. И. Огаревым, бывшим в это время за обер-полицмейстера, Ф. К. Иванов, несмотря на поздний час, отправился к нему и застал полковника дома в его знаменитой приемной.

Вся стена приемной была украшена карикатурами на

полицию, начиная с древнейших времен. Здесь были и лубки, и вырезки из сатирических журналов, и оригиналы разных художников.

— Дорогая коллекция. Много лет ее собираю и не жалею денег! — говаривал Н. И. Огарев.

Здесь он и встретил Ф. К. Иванова.

— Что скажете?

— Да я к вам проверить сведение. Прислали заметку о шести утонувших, правда ли это?

— Правда, утонули сегодня днем. А ну-ка, покажите заметку!

Н. И. Огарев прочел заметку и сказал:

— Все верно. Только здесь вот вставьте: «Лодка плыла от Воробьевых гор к Москве». А у вас не видно, откуда она плыла. А это важно! Понимаете? Оттуда, не отсюда!

Ф. К. Иванов сделал требуемую вставку, и заметка была на другой день напечатана.

Часа в четыре дня в редакцию «Московского листка» влетел правитель канцелярии московского губернатора, гроза всей губернии Карпенко.

— Федор Константинович, я к вам по важному делу. Губернатор Василий Степанович (Перфильев) сердится очень на газету. Что у вас за репортеры!

— В чем дело?

— У вас сегодня напечатано об утонутии...

— Что? Не понимаю!

— Об утопии этой... Ну, на Москве-реке вчера шестеро утонувших...

— Да, напечатано.

— Напрасно: у вас написано, что оттуда, а надо отсюда. Василий Степанович сердится!

— Ничего не понимаю! Что оттуда, что отсюда?

— Да лодка плыла туда, а не сюда. То есть не в Москву она плыла, а из Москвы. Понимаете, если она из Москвы плыла, отвечать будет московская полиция, а ежели с Воробьевых гор, так уездная полиция.

— Да ведь она плыла на самом деле оттуда, так и написано.

— А на самом деле она плыла отсюда, а написано оттуда! Теперь князь Владимир Андреевич нас тянет.

— Да мне вчера лично Н. И. Огарев сказал, что именно лодка плыла оттуда сюда, а не отсюда туда! Да еще подтвердил, что очень важно написать, что она оттуда.

— По-ни-маю! Так и доложу его превосходительству... Значит, лично полковник Н. И. Огарев! Это его штуки! Только уж вы, Федор Константинович, если еще утонут, так нас спрашивайте, а не Н. И. Огарева. Подвел он нас!

* * *

— Репортер, как вор на ярмарке: все видь, ничего не пропускай, — сказал мне Н. И. Пастухов в первые дни работы в «Листке».

С момента приглашения меня, писавшего тогда в «Русской газете» и еженедельных журналах, назначенным фактическим редактором газеты Н. П. Кичеевым я работал в репортаже.

— Репортер должен знать все, что случилось в городе. Не прозевать ни одного сенсационного убийства, ни одного большого пожара или крушения поезда, — настойчиво поучал меня Н. И. Пастухов, целыми часами посвящая в тайны репортерства и рассказывая интимную жизнь города, которую знал в подробностях, вызывавших искреннее удивление.

Что случалось за городом, Н. И. Пастухов имел сведения от исправника и канцелярии губернатора, а меня посылал по провинции, когда там случались события, казавшиеся ему нужными для освещения в газете.

Одной из таких поездок была в Орехово-Зуево на расследование пожара на фабрике Морозова, случившегося 28 мая 1882 года.

По приезде в Орехово я узнал, что в грудах обломков и пепла на месте пожарища на фабрике найдено было одиннадцать трупов. Детей клали в один гроб по нескольку. Похороны представляли печальную картину: в телегах везли на Мызинское кладбище.

Кладбищ в Орехово-Зуеве было два: одно — Ореховское почетное, а другое — Мызинское для остальных. Оно находилось в полуверсте от церкви в небольшом сосновом лесочке на песчаном кургане; там при мне по-

хоронили семнадцать умерших в больнице и одиннадцать найденных на пожарище.

Рабочие были в панике. Накануне моего приезда, 31 мая, в казарме № 5 кто-то крикнул: «Пожар!», и произошел переполох.

Уже после моего приезда замазанные в казармах окна порасковыряли сами рабочие и приготовили веревки для спасения.

Когда привозили на кладбище гроба из больницы, строжайше было запрещено говорить, что это жертвы пожара. Происшедшую катастрофу покрывали непроницаемой завесой.

Перед отъездом в Москву, когда я разузнал все и даже добыл список пострадавших и погибших, я попробовал повидать официальных лиц. Обратился к больничному врачу, но и он оказался хранителем тайны и отказался отвечать на вопросы.

— Скажите, по крайней мере, доктор, сколько у вас в больнице обгорелых, — спрашивал я, хотя список их у меня был в кармане.

— Ничего-с, ничего не могу вам сказать, обратитесь в контору или к полицейскому надзирателю.

— Их двадцать девять, я знаю, но как их здоровье?

— Ничего-с, ничего не могу вам сказать, обратитесь в контору.

— Но скажите хоть, сколько умерло, ведь это же не секрет.

— Ничего-с, ничего... — и, не кончив говорить, быстро ретировался.

Решил рискнуть и пошел разыскивать самого квартального. Довольно быстро я узнал, что он на вокзале, пошел туда и встретил по дороге упитанного полицейского типа.

— Скажите, какая, по-вашему, причина пожара?

— Поджог, — ответил он как-то сразу, а потом, посмотрев на мой костюм, добавил строго: — А ты кто такой за человек есть?

— Человек, брат, я московский, а ежели спрашиваешь, так могу тебе и карточку с удостоверением показать.

— А, здравствуйте! Значит, оттуда? — И подмигнул.

— Значит, оттуда! Вторые сутки здесь каталажусь... Все узнал. Так поджог?

— Поджог, лестницы керосином были облиты.

— А кто видел?

— Там уж есть такие, найдутся, а то расходы-то какие будут фабрике, ежели не докажут поджога! Ну, а как ваш полковник поживает?

— Какой?

— Как какой, известно, ваш начальник, полковник Муравьев! Ведь вы из сыскного?

— Вроде того, еще пострашнее, вот глядите!

Захотев поозорничать, я вынул из кармана книжку с моей карточкой и печатным бланком корреспондента «Московского листка» и показал ему.

В лице изменился и затараторил:

— Вот оно что, ну, ловко вы меня поддели! Нет, что уж... только меня, пожалуйста, не пропишите, будто мы с вами не видались, сделайте милость, — сами понимаете, дело подначальное, а у меня семья, дети...

— Даю вам слово, что я о вас не упомяну, только ответьте на мои некоторые вопросы.

Мы побеседовали, и я от него узнал всю подноготную жизни фабрики. И далеко не в пользу хозяев говорил он.

* * *

В Москву я вернулся ночью, написал корреспонденцию, подписал ее псевдонимом «Проезжий корнет» и привез рано утром Н. И. Пастухову.

Н. И. Пастухов увел меня в кабинет, прослушал корреспонденцию, сказал: «Ладно», потом засмеялся.

— Корнет? Так корнету и поверят!

Зачеркнул и подписал: «Свой человек».

— Пусть у себя поищут, а то эти подлецы купцы узнают и пакостить будут. Посмотрим, как они завтра завертятся, как караси на сковородке, пузатые! Вот рабочие, наверное, обрадуются, читать газету взасос будут, а там и сами нас завалят корреспонденциями про свои беспорядки.

Через два дня прихожу утром к Н. И. Пастухову, а тот в волнении.

— Сегодня к двенадцати генерал-губернатор, князь В. А. Долгоруков, вызывает, купцы нажаловались, беда будет, а ты приходи в четыре часа в тестовский трактир, я от князя прямо туда. Ехать боюсь!

Сотрудник «Московского листка» Герзон и я к трем часам дня сидели за трактирным столом.

Входит Н. И. Пастухов сияющий и начинает рассказывать:

— Прихожу я к подъезду, к дежурному, — князь завтракает. Я скорей на задний двор, вхожу к начальнику секретного отделения П. М. Пелетминскому, — человек, конечно, он свой, приятель, наш сотрудник. Спрашиваю его:

«Павел Михайлович, зачем меня его сиятельство требует? Очень сердит?»

«Вчера Морозовы ореховские приезжали оба, и Викула, и Тимофей, говорят, ваша газета бунт на фабрике сделала, обе фабрики шумят. Ваш «Листок» читают, по трактирам собираясь толпами, на кладбище тоже все читают. Князь рассердился: корреспондента, говорит, арестовать и выслать».

Ну, я ему: «Что же делать, Павел Михайлович, в долгу не останусь, научите!»

«А вот что: князь будет кричать и топать, а вы ему только одно: виноват, ваше сиятельство. А потом спросит, кто такой корреспондент. А теперь я уже спрашиваю: кто вам писал?» А я ему говорю: «Хороший сотрудник, за правду ручаюсь».—«Ну вот, говорит, это и скверно, что все правда. Неправда, так ничего бы и не было. Написал опровержение — и шабаш. Ну, да все равно, корреспондента-то мы пожалеем! Когда князь спросит, кто писал, скажите, что вы сами слышали на бирже разговоры о пожаре, о том, что люди сгорели, а тут в редакцию двое молодых людей пришли с фабрики, вы им поверили и напечатали. Он ведь этих фабрикантов сам не любит. Ну, идите».

Иду. Зовет к себе в кабинет. Вхожу. Владимир Андреевич встает с кресла в шелковом халате, идет ко мне и сердито показывает отмеченную красным карандашом корреспонденцию.

«Как вы смеете? Ваша газета рабочих взбунтовала!»

«Виноват, ваше сиятельство, — кланяюсь ему, — виноват, виноват!»

«Что мне в вашей вине, я верю, что вас тоже подвели. Кто писал? Нигилист какой-нибудь?»

Я рассказал ему, как меня научил П. М. Пелетминский. Князь улыбнулся:

«Написано все верно, прощаю вас на этот раз, только если такие корреспонденции будут поступать, так вы посылайте их на просмотр к Пелетминскому... Я еще не знаю, чем дело на фабрике кончится, может быть, беспорядками. Главное, насчет штрафов огорчило купцов. Ступайте!»

Я от него опять к Павлу Михайловичу, а тот говорит:

«Ну, заварили вы кашу! Сейчас один из моих агентов вернулся. Рабочие никак не успокоятся, а фабрикантам в копеечку влетит. Приехал сам прокурор судебной палаты на место. Лично ведет строжайшее следствие. За укрывательство кое-кто из властей арестован; потребовал перестройки казарм и улучшения быта рабочих, сам говорил с рабочими, это только и успокоило их. Дело будет разбираться во Владимирском суде».

Ну, заварил ты кашу, Гиляй, сидеть бы тебе в пересыльной, если бы не Павел Михайлович! — закончил Н. И. Пастухов.

* * *

«Московский листок» сразу увеличил розницу и подписку. Все фабриканты подписались, а Н. И. Пастухов оригинал взял из типографии, уничтожил его, а в книгу сотрудников гонорар не записали — поди узнай, кто писал.

Года через три, в 1885 году, во время первого большого бунта у Морозовых, — я в это время работал в «Русских ведомостях», — в редакцию прислали описание бунта, в котором не раз упоминалось о сгоревших рабочих и прямо цитировались слова из моей корреспонденции, но ни строчки не напечатали «Русские ведомости» — было запрещено.

Как-то Н. И. Пастухов позвал меня к себе в кабинет:

— Гляди!

На столе лежала толстенная кипа бумаги в казен-

ного типа синей обложке с надписью «Дело о разбойнике Чуркине».

— Вчера мне исправник Афанасьев дал. Был я у него в уездном полицейском управлении, а он мне его по секрету и дал. Тут за несколько лет собраны протоколы и вся переписка о разбойнике Чуркине. Я буду о нем роман писать. Тут все его похождения, а ты съезди в Гуслицы и сделай описание местностей, где он орудовал. Разузнай, где он бывал, трактиры опиши, дороги, притоны... В Законорье у него домишко был, подробнее собери сведения. Я тебе к становому карточку от исправника дам, к нему и поедешь.

— Карточку, пожалуй, я исправничью на всякий случай возьму, а к становому не поеду, у меня приятель в Ильинском погосте есть, трактирщик, на охоту езжал с ним.

— Ну, это лучше, больше узнаешь!

На другой день я был в селе Ильинский погост у Давыда Богданова, старого трактирщика. За чаем я ему откровенно рассказал, что приехал собрать материал об атамане Чуркине. Давыд Богданов сразу меня осадил:

— Ваську-то описывать? Какой он атаман, просто рвань, бывший фабричный от Балашова, спившийся с круга! Действительно, была у него шайчонка, грабил по дорогам, купоны фальшивые от серий печатал, — да кто у нас их не печатает, — а главное, ходил по фабрикам. Придут втроем, вчетвером; вызовет Васька хозяина: «Давай, говорит, четвертную, а то спалю». Ну, и давали, чтобы отвязаться. В поездах под Канабеевым из вагонов товар сбрасывали. Вот и все. А то — «атаман»! Просто сволочь. У меня в трактире они бывали. Только не баловал их — деньги вперед, а то и вина не дам...

Приехав в Гуслицы, я побывал в Законорье у кривого трактирщика Семена Иванова, приятеля Чуркина, побывал в доме самого Чуркина, недалеко от этого трактира, познакомился с его женой Ариной Ефимовной и дочкой.

Пошли мои странствования по Гуслицам. Гуслицы — название неофициальное. Они были расположены в смежных углах трех губерний: Московской, Владимирской

и Рязанской. Здесь всегда было удобно скрываться беглым и разбойникам, шайки которых, если ловят в одной губернии, — перекочевывали рядом, в соседнюю, где полиция другой губернии не имела права ловить. Перешагнул в другую — и недосягаем! Гусляки ездили еще по городам собирать на погорелое с фальшивыми свидетельствами. Этот промысел много давал.

Глухое место были Гуслицы: леса, болота, а по деревням хмелевища. Тогда богородские гусляки ткали на ручных станках нанку и канаус и разводили лучший «богемский» хмель. Кроме того, славились печатанием фальшивых денег, которые стали даже нарицательными: «гуслицкими» назывались в Москве все фальшивки. Оттуда вышло много граверов. Печатали у себя серии и много лет печатали купоны от серий в 2 руб. 16 коп., которыми в 80-х годах наводнили Москву. «Дай-ка купонной машинки, попечатать надо, на базар еду», — обращались соседи друг к другу.

Н. И. Пастухов знал, куда меня посылал, и посоветовал взять револьвер:

— Всяко может быть! Меня, брат, бивали, когда пронюхивали, что я репортер. Гляди в оба!

Я бродил по деревням, знакомился, выспрашивал, а для видимости с ружьем караулил хорьков, которые водились в хмелевищах. Курьезов со мной было немало.

Пью чай в Ильинском погосте у трактирщика Богданова. Подсел к нам местный крестьянин, про которого все знали, что он имеет дома машинку и печатает купоны от серий. Дотошный мужик, рожа лукавая.

— Где же при тебе, охотничек, собачка? — вдруг спросил он у меня, и озадачил, да выручил Богданов:

— На что ему собака? Он самопугом — идет лесом, а дичина вылетает, заяц выбегает — он их и хорп! А на хмелевищах хорька бить — собака одна помеха.

И с тех пор, когда меня спрашивали о собаке, я отвечал, что охочусь «самопугом», что вполне удовлетворяло любопытных.

* * *

Исходил я все деревни, описал местность, стройку, трактиры, где бывал когда-то Чуркин, перезнакомился

с разбойниками, его бывшими товарищами, узнал, что он два раза был сослан на жительство в Сибирь, два раза прибегал обратно, был сослан в третий раз и умер в Сибири — кто говорит, что пристрелили, кто говорит, что в пьяной драке убили. Его жена Арина Ефимовна законно считалась три года вдовой.

Гусляки меня хорошо принимали благодаря Богданову. Около Законорья был Спасо-Гуслицкий монастырь, фабрика купца Балашова, называвшаяся, кажется, по селу Куровскому.

Я познакомился с монастырским казначеем, отцом Памво, монахом пудов на девять веса, который мог пить сколько угодно и когда угодно.

Как-то в ярмарочный день Памво с компанией гулял в лесу, где был ведерный бочонок водки, всякая закуска, на полянке.

Я шел с сыном Богданова, Василием, который служил писарем в Москве при окружном штабе. Это был развитой малый, мой приятель, иногда мы с ним охотились. Мы наткнулись на эту компанию и удостоились приглашения отца Памво. У Василия Богданова были все приятели: представил он и меня им как своего друга.

Не успели выпить, как подошли еще трое с гармонией.

— Костя! Иди к нам! — закричал им Памво. Подошли, одеты в поддевки, довольно чисто, но у всех трех были уж очень физиономии разбойничьи, а Костя положительно был страшен: почти саженного роста, широкий, губы как-то выдались вперед, так что усы торчали прямо, а из-под козырька надвинутой на узкий лоб шапки дико глядели на нас, особенно на меня — чужого, злые, внимательные глаза.

Сели, на гармонии заиграли. Потом еще подошли мужики, поодаль сели.

Затеялась борьба. Костя швырял противников, как я заметил, одним и тем же приемом, пользуясь своим большим ростом. Отец Памво особенно восторгался, а я не удержался и отозвался на вызов Кости.

— Ну, выходи, дьяволы! С кем на ведро схватимся?

Особенного риску не было. Я вышел. Все заорали, смеются, а Василий Богданов уговаривает меня не бороться и все шепчет: «Знаешь, кто это, знаешь?..»

Я встал — схватились, и я, не дав ему укрепиться, сразу бросил его на спину и прижал.

Под радостное и удивленное оранье бросился на меня Костя:

— Врешь, я оскользнулся, давай еще, по-другому!

— Давай!

Тут я воспользовался другим, моим любимым приемом и легко положил его в полминуты. Он встал при восторгах и криках, подошел ко мне, снял шапку, поклонился и протянул мне огромную лапищу.

Пирушка кончилась благополучно. Я с Васей Богдановым заночевал в келье у Памво, где явились и балык, и икра, и мадера. Были еще два монаха пожилых и старый служащий с фабрики Балашова. Пировали до полуночи, и тут-то я узнал, и с кем я боролся, и всю характеристику Чуркина от лиц, много лет и очень близко знавших его.

Все говорили в один голос и все одно и то же, и, что рассказали они, повторили мне впоследствии и остальные гусляки.

Все сводилось к тому, что Васька Чуркин, бывший фабричный, пьяница, со своей шайкой грабил по дорогам и чужих и своих, обворовывал клети да ходил по хозяевам-фабрикантам по нескольку раз в год.

— К нам, бывало, — рассказывал служащий Балашова, — придет с Костей и еще с кем-нибудь — всегда на эти дела втроем ходили — и требует у хозяина 25 рублей или 50, грозя спалить фабрику. Только нахальством брал, и хозяин, чтобы покойнее было, откупался. В крупных грабежах все делал Костя, но молчал, отчего Чуркин и считался атаманом. Уж и били его, бывало, когда без Кости попадется! Наконец в Сибири его добили. Избавились Гуслицы... Только теперь этот Костя посмирнее без Чуркина стал, а все-таки сразу в трех губерниях живет, везде у него притон, полиция поймать не может!

Я был в этот вечер героем дня, но меня предупредили, что если Костя в лесу встретится, прямо стрелять в него, а то убьет, не простит позора.

На другой день мы были в Законорье, у вдовы Чуркина Арины Ефимовны, которая жила с дочкой-

подростком в своем доме близ трактира. В трактире уже все знали о том, что Костя осрамился, и все радовались. Вскоре его убили крестьяне в Болоте, близ деревни Беливы. Уж очень он грабил своих, главным образом сборщиков на погорелое, когда они возвращаются из поездок с узлами и деньгами.

Много сборщики набирали. Мне показывали дома с заколоченными окнами и дверями — это поехали с «викторками» и «малашками» за подаянием. «Викторками» и «малашками» называли издавна фальшивые документы: паспорта фальшивые делал когда-то какой-то Викторка, и свидетельства о сгоревших домах мастерил с печатями Малашкин, волостной писарь. Платили ему за вид на жительство три рубля, а за «малашку» — рубль.

Когда я, уже собрав достаточно сведений о Чуркине, явился к Н. И. Пастухову, он вынул из шкафа «Дело Чуркина», положил его на стол, а я выложил начерченную мною карту с названиями сел, деревень, дорог, районов, где «работал» Чуркин, отметив все разбойничьи притоны.

Очень остался доволен Н. И. Пастухов, задавал вопросы, касающиеся описания местностей, но когда я ему рассказал все отзывы, услышанные мною о Чуркине, и много еще других подробностей, характеризующих его как шпану и воришку, Н. И. Пастухов, уже ранее нарисовавший в своем воображении будущего героя по Ринальди Ринальдино, изменился в лице, его длинные брови и волосы, каемкой окружавшие лысину, встали — признак, что он злится.

— Все они, подлецы, врут на него! И ты тоже врешь! Исправник-то меньше вас знает? Гляди, дело-то какое, с полпуда!

— А вы его прочли?

— Ничего я не читал! Буду писать — буду и читать. По порядку писать буду. А ты все врешь. Еще разок-другой съезди, — смягчился он. — Молчок, где был, куда ездил — никому! О Чуркине ни гу-гу, и слово это забудь!

Потом я подал ему интереснейшую корреспонденцию об ужаснейшем положении рабочих, гибнущих на кустар-

ных фабричках серных и фосфорных спичек в Егорьевском уезде. Он даже и читать не стал:

— Да что ты! О Гуслицах давай, а об этом ни слова, пока я Чуркина не напишу...

— Николай Иванович! Да ведь там народ сотнями гибнет. От фосфору целые деревни вымирают: зубы вываливаются, кости гниют, лицо — язва сплошная, пальцы отгнивают! В помещения войдешь — дурно делается, а рабочие больше полусуток в них работают.

— Спрячь, говорю! Вот когда Чуркина писать буду — тогда! Спрячь и молчи. Не нашего это ума дело! И о Чуркине молчи, был — не был!

Только года через два, объехав еще не раз ужасный спичечный район, я начал свою кампанию против ужасного производства в «Русских ведомостях» и в петербургских газетах.

Это вызвало и передовые статьи и отклики ученых о вреде серно-фосфорного спичечного производства, которое лет через пять было законом воспрещено.

* * *

Н. И. Пастухов начал печатать своего «Разбойника Чуркина» по порядку протоколов, сшитых в деле, украшая каждый грабеж или кражу сценами из старых разбойничьих романов, которые приобрел у букинистов, а Ваську Чуркина преобразил чуть ли не в народного героя и портрет его напечатал.

Для портрета он снял во весь рост известного тогда певца Павла Богатырева, высокого и стройного богатыря, в пиджаке, с казацким поясом.

— Николай Иванович! Ведь гусляки над вашим Чуркиным смеются, — сказал я как-то ему.

— Зато подписываются на «Листок»! А розница-то какая!

Действительно, газета в первые месяцы удвоилась, а потом все росла, росла. Московские газеты стали намекать, что описание похождений Чуркина развращает читателей, учит, как воровать и грабить.

Н. И. Пастухов печатал в это время уже четвертую книгу о разбойнике Чуркине и объявил о выходе пятой.

Слухи и жалобы заставили наконец всесильного «хозяина столицы» генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова вызвать к себе Н. И. Пастухова:

— Вы что там у меня воров и разбойников разводите своим Чуркиным? Прекратить его немедленно, а то газету закрою!

Струсил Н. И. Пастухов. Начал что-то бормотать в защиту, что неудобно сразу, надо к концу подвести.

— Разрешаю завтра последний фельетон!

— Да как же! Ведь Чуркин!

— Удави Чуркина или утопи его! — рассердился князь и повернулся спиной к ошалевшему Н. И. Пастухову.

— Ваше сиятельство... Ваше сиятельство...

В. А. Долгоруков вопросительно обернулся.

— Завтра кончу-с! То есть, так его расказню, что останетесь довольны!

И расказнил! На другой день появился последний фельетон: конец Чуркина, в котором свои же разбойники в лесу наклонили вершины двух берез, привязали к ним Чуркина и разорвали его пополам.

* * *

Прошло несколько лет. Как-то, вернувшись в Москву из поездки на юг, я нашел у себя на квартире забитый большой ящик, адресованный на мое имя, со штемпелем «Дулево, фабрика М. С. Кузнецова».

В ящике записка на мое имя: «От благодарных гусляков» и прекрасный фарфоровый чайный сервиз, где, кроме обычной дюжины чашек, две большие с великолепным рисунком и надписью золотом: «В. А. Гиляровскому от Гуслиц». Другая такая же на имя жены. Одна именная чашка сохранилась до сих пор.

Кто заказал сервиз — так и не удалось мне узнать ни в конторе М. С. Кузнецова, ни на Дулевской его фабрике в Гуслицах.

* * *

Небольшой компанией мы 28 июня собрались у М. В. Лентовского в его большом садовом кабинете.

На турецком диване спал трагик Анатолий Любский,

напившийся с горя. Он должен был уехать в Курск с почтовым поездом на гастроли, взял билет, но засиделся в буфете, и поезд ушел без него. Прямо с вокзала он приехал к М. В. Лентовскому и с огорчения уснул на диване.

На рассвете сели ужинать, все свои — близкие; из чужих был только приятель М. В. Лентовского, управляющий Московско-Курской железной дорогой Константин Иванович Шестаков.

Ели почти молча, только изредка перебрасываясь словами. Вдруг вбежал официант — и прямо к К. И. Шестакову:

— Вас курьер с вокзала спрашивает, Константин Иванович, — несчастье на дороге!

— Что такое? Зови сюда! Нет, лучше я сам выйду.

Через минуту он вернулся.

— Извините, ухожу!

Схватил шапку, весь бледный.

— Что такое, Костя? — спросил его М. В. Лентовский.

— Несчастье, под Орлом страшное крушение, московский почтовый поезд провалился под землю. Прощайте!

Пока он жал всем руки, я сорвал с вешалки шапку и пальто и незамеченный исчез.

У подъезда на Божедомке в числе извозчиков увидал лихача-мальчугана Птичку, дремавшего на козлах.

— Птичка, на Курский вокзал, вали!

— Три рубля, — ответил он спросонья.

— Вали!

Минут через двадцать я отпустил Птичку, не доезжая до вокзала, где на подъезде увидал толпу разного начальства, и задними воротами пробежал к платформе со стороны рельсов.

У платформы стоял готовый поезд с двумя вагонами третьего класса впереди и тремя зеркальными, министерскими, сзади.

Я залез под вагон соседнего пустого состава и наблюдал за платформой, по которой металось разное начальство, а начальник станции Игнатов говорил двум инженерам:

— Константин Иванович сейчас приедет. Около Мценска, говорят, весь поезд погиб и все... телеграмма ужасная... — слышались отрывистые фразы Игнатова.

— Идет, идет, прошу садиться!

«Ну, — решил я, — просят садиться, будем садиться!» Я вскочил прямо с полотна на подножку второго министерского вагона, где, на счастье, была не заперта дверь, и нырнул прямо в уборную. Едва я успел захлопнуть дверь, как послышались голоса входящих в вагон.

Через минуту — свисток паровоза, поезд двинулся и помчался, громыхая на стрелках. Мы уж за городом... Поезд мчится с безумной скоростью, меня бросает на лакированной крышке. Я снял с себя неразлучный пояс из сыромятного калмыцкого ремня и так привернул ручку двери, что никаким ключом отпереть ее было невозможно.

Остановились в Серпухове, набрали наскоро воды, полетели опять. Кто-то подошел к двери, рванул ручку и, успокоившись — «занято», — ушел. Потом еще остановка, опять воду берут, опять на следующем перегоне проба отворить дверь. А вот и Тула, набрали воды, мчимся. Кто-то снова пробует вертеть ручку и, ругаясь, уходит. Через минуту слышу голоса:

— Посмотри, не испортился ли запор.

Слышу металлический звук кондукторского ключа и издаю громкое недовольное рычание и начальственным тоном спрашиваю:

— Кто там?

— Виноват, ваше превосходительство, — и потом тот же голос отвечает: — Нет, занято, — и меня уж больше никто не беспокоил.

Я ехал, ничего не видя сквозь запертое матовое стекло, а опустить его не решался.

Вот наконец Скуратово, берут воду. У самого окна слышу разговор:

— За Чернью, около Бастыева. У нас всю ночь был такой ливень! Вырвало всю насыпь, и поезд рухнул, — а потом голоса слились и замолкли.

После бешеной езды поезд останавливается. Слышу шаги выходящих и разговоры:

— Сейчас тут рядом, ваше превосходительство, извольте видеть, где народ.

Я развязал ремень и, когда голоса стихли, вышел на площадку и соскользнул на полотно через левую дверь.

* * *

Суток через двое из Москвы и Петербурга на место катастрофы приехали Львов-Кочетов из «Московских ведомостей», А. Д. Курепин из «Нового времени», Н. П. Кичеев из «Новостей» Нотовича и много разных корреспондентов разных газет и публики из ближайших городов и имений.

Ширь, даль, зелень. По обе стороны этого многолюдного экстренного лагеря кипела жизнь, вагоны всех классов, от товарных до министерских, населенные, начиная от прокурора палаты и разных инженер-генералов до рабочих депо и землекопов. Город на колесах.

Вокруг кольцо войск охраны и толпы гуляющих зевак, съехавшихся сюда, как на зрелище.

Это была двести девяносто шестая верста от Москвы. В первой телеграмме, посланной мной в газету в день прибытия, я задумался над названием местности и спросил, как называется ближайшая деревня.

— Кукуевка, — ответили мне, и я телеграфировал о катастрофе под деревней Кукуевкой. Отсюда и пошло: «Кукуевская катастрофа», «Кукуевский овраг» и «Кукуевцы» — последнее об инженерах.

— Кукушка, прокукуй мне про Кукуй, — сострил кто-то в «Будильнике».

Отчетливо сохранился в памяти момент приезда на место крушения: впереди шел управляющий дорогой, за ним инженеры, служащие и рабочие.

Огромный глубокий овраг пересекала узкая, сажен до двадцати вышины, насыпь полотна дороги, прорванная на большом пространстве, заваленная обломками вагонов.

На том и другом краю образовавшейся пропасти полувисят, готовые рухнуть, разбитые вагоны. На дне насыпи была узкая, аршина в полтора диаметром, чугунная труба — причина катастрофы.

Страшный ночной ливень 29 июня 1882 года, давший море воды, вырвал эту трубу и образовал огромную подземную пещеру в насыпи, в глубину которой и рухнул шедший из Москвы поезд. Два колена трубы, пудов по двести каждый, виднелись на дне долины в полуверсте от насыпи — такова была сила потока...

Оторвался паровоз и первый вагон, оторвались три вагона в хвосте, а вся середина поезда разлетелась вдребезги, так как машинист, растерявшись во время крушения, дал контрпар, разбивший вагоны, рухнувшие вместе с людьми на дно пещеры, где их и залило наплывшей жидкой глиной и засыпало землей, перемешанной тоже с обломками вагонов и погибавшими людьми.

«Не опоздай на поезд Любский—быть бы ему здесь!»—первое, что мне пришло на ум.

Четырнадцать дней я посылал с нарочным и по телеграфу сведения о каждом шаге работы, и все это печаталось, и «Московский листок», который первый поместил мою большую телеграмму о катастрофе, стал в это время раскупаться нарасхват.

Все другие газеты опоздали. На третий день ко мне приехал с деньгами от Н. И. Пастухова сотрудник А. Д. Дмитриев, известный беллетрист. Его знаменитая в свое время повесть «Падшая» была переведена на иностранные языки. «Русский Золя»—называли его, но, к сожалению, в некрологах. При жизни он весьма нуждался.

«Телеграфируй о каждой мелочи, деньгами не стесняйся», — писал мне Н. И. Пастухов, и я честно исполнил его требование.

С момента начала раскопок от рассвета до полуночи я не отходил от производящих раскопки рабочих. Четырнадцать дней, с 8 июля, когда московский оптик Пристлей поставил электрическое освещение, я присутствовал на работах ночью, дремал, сидя на обломках, и меня будили при каждом показавшемся из земли трупе.

Я пропах весь трупным запахом и более полугода страдал галлюцинацией обоняния и не мог есть мясо.

Первый раз это явление почувствовалось так: уже в конце раскопок я как-то поднялся наверх и встретил

среди публики моего знакомого педагога — писателя Е. М. Гаршина, брата Всеволода Гаршина. Он увидел меня и ужаснулся. Действительно, обросший волосами, не чесаный и не мытый больше недели, с облупившимся от жары, загоревшим дочерна лицом, я был страшен.

— Ты ужасен! Поедем к нам, это рядом, поедем, вот мои лошади. Вымоемся, передохнем! — стал он меня уговаривать.

В этот день экстренного ожидать было нечего. На девятой сажени сверху на всем пространстве раскапывания пещеры был толстый слой глины, который тщетно снимали и даже думали, что ниже уже ничего нет, но в дальнейшем выяснилось, что под этим слоем оказалось целое кладбище.

Я провел Е. М. Гаршина по работам, показал ему внизу, далеко под откосом, морг, вырытый в земле, куда складывали трупы. Здесь их раздевали, обмывали, признавали, а потом хоронили.

Запах был невыносимый. В то время, когда мы вошли, там находился бывавший здесь ежедневно прокурор Московской судебной палаты С. С. Гончаров, высокий, стройный, энглизированный, с бритым породистым лицом франт, красиво бросавший в глаз монокль, нагибаясь над трупом. Он энергично вел следствие и работал день и ночь.

Это был тот самый С. С. Гончаров, который безбоязненно открыл хищение в Скопинском банке, несмотря на чинимые Петербургом препятствия потому, что пайщиками банка были и министры и великие князья.

Про него тогда на суде песенку сложили:

Много в Скопине воров,
Погубил их Гончаров.

Е. М. Гаршин не выдержал ароматов морга, и мы быстро покинули ужасное место.

Я захватил с собой новую розовую ситцевую рубаху и нанковые штаны, которые «укупил» мне накануне в Мценске мой стременной Вася, малый из деревни Кукуевки, отвозивший на телеграф мои телеграммы и честно состоявший при мне все время для особых поручений.

На мой вопрос, к кому мы едем, Е. М. Гаршин ответил, что гостит у знакомых и что мы поедем к нему, в садовую беседку, выкупаемся в пруду, и никто нас беспокоить не будет.

Проехали верст пять полями. Я надышаться не мог после запахов морга и подземного пребывания в раскопках, поливаемых карболкой.

Мы подъехали к огромному парку, обнесенному не то рвом, не то изгородью. Остановились, отпустили лошадей и очутились в роскошном вековом парке у огромного пруда. Тишина и безлюдье.

— Ну-с, теперь купаться!

Душистое мыло и одеколон, присланные мне из Москвы, пошли в дело.

Через полчаса я стоял перед Е. М. Гаршиным в розовой мужицкой рубахе, подпоясанный калмыцким ремнем с серебряными бляшками, в новых, лилового цвета — вкус моего Васьки — нанковых штанах и чисто вымытых сапогах с лакированными голенищами, от которых я так страдал в жару на Кукуевке при непрерывном солнцепеке.

Старое белье я засунул в дупло дерева.

— Ну, теперь пойдем, — позвал меня Е. М. Гаршин.

Прошли десятка два шагов. На полянке, с которой был виден другой конец пруда, стоял мольберт, а за ним сидел в белом пиджаке высокий, стройный, величественный старик с седой бородой и писал картину. Я видел только часть его профиля.

— Яков Петрович!

— А, Евгений Михайлович! Я слышал, кто-то купается, а это вы, — не отрываясь от работы, говорил старик.

— Я, да и не один. Вот мой старый друг, поэт Гиляровский.

Старец обернулся и ласково-ласково улыбнулся.

— Очень, очень рад. Где-то я на днях видел вашу фамилию, ну вот недавно, недавно...

— А корреспонденции из Кукуевки, — вмешался Е. М. Гаршин, — как раз вчера мы с вами читали... я его оттуда и привез.

— Так это вы? Мы все зачитываемся вашими кор-

респонденциями. Какой ужас! В других газетах ничего нет. Нам ежедневно привозят «Листок» из Мценска. Очень, очень рад... Ну, идите к Жозефине Антоновне, и я сейчас приду к обеду, очень рад, очень...

Мы быстро пошли.

— Кто этот славный старик? Уж очень знакомое лицо,— спрашиваю я.

— Да Яков Петрович Полонский, поэт Полонский, я гощу у него лето. Иван Сергеевич не приехал, хотя собирался... А вот Яков Петрович и его семья здесь.

— Какой Иван Сергеевич?— спрашиваю я.

— Да Тургенев, ведь это его имение, Спасское-Лутовиново.

Я окончательно ошалел, да так ошалел, что, ничего не видя, ничего не понимая, просидел за обедом, за чаем, в тургеневских покоях; ошалелым гулял по парку с детьми Полонского, гулял по селу, ничего не соображая, что видел, и теперь ничего не помню.

Помню только, что не мог есть мяса в первый раз в жизни, и помню, что после ужина меня уложили в кабинете Ивана Сергеевича на его знаменитом диване «самосоне». Такой широкий, хоть поперек ложись. В четыре часа утра, простившись накануне, я уехал на Кукуевку.

Впоследствии я побывал на «пятницах» Я. П. Полонского, и года через два-три, когда я уже был женат и жил на Мясницкой в гостинице «Рояль», возвращаясь домой с женой к обеду, я получил от швейцара карточку: «Яков Петрович Полонский».

Швейцар сказал, что приходил старик на костылях и очень жалел, что не застал меня.

Спустя несколько лет я хоронил Я. П. Полонского, командированный «Русскими ведомостями» в Рязань.

* * *

В те времена, когда М. В. Лентовский блистал своим «Эрмитажем» на Самотеке, в Каретном ряду, где теперь сад и театр «Эрмитаж», существовала, как значилось в «Полицейских ведомостях», «свалка чистого снега на пустопорожней земле Мошнина».

Зимой здесь сваливали с соседних дворов и улиц «чистый», цвета халвы, снег, после которого все это изрытое ямами и оврагами пустопорожнее место покрывалось мусором, среди которого густо росли бурьяны, чертополох и лопухи и паслись козы.

Публика узнала о существовании этого места из афиш в сентябре 1882 года, объявлявших, что «воздухоплаватель Берг сегодня, 3 сентября, в 7 часов вечера совершит полет на воздушном шаре с пустопорожнего места Мошнина в Каретном ряду. За вход 30 копеек, сидячее место — 1 рубль».

Разгородили в двух местах забор, поставили в проходе билетные кассы и контроль; полезла публика и сплошь забила пустырь, разгороженный канатами, и «сидячие рублевые места», над которыми колыхался небольшой серый шар, наполненный гретым воздухом.

Я был командирован редакцией описать полет. Был серый ветреный день.

— Пузырь полетит! — волновались собравшиеся, глядя на аэростат из серой материи, покачивавшийся на ветру.

Я пробился к самому шару. Вдали играл оркестр. Десяток пожарных и рабочих удерживали шар, который жестоко трепало ветром. Волновался владелец шара, старичок немец Берг: исчез его помощник Степанов, с которым он должен был лететь. Его ужас был неописуем, когда прибежавший посланный из номеров сказал, что Степанов вдребезги пьян и велел передать, что ему своя голова дорога и что на такой тряпке он не полетит.

— Кто кочит летайт, иди!—закричал в отчаянии Берг.

— Я,—шепнул я на ухо старику среди общего молчания и шагнул в корзину. Берг просиял, ухватился за меня обеими руками, может быть боялся, что я уйду, и сам стал рядом со мной.

Публика загудела. Это была не корзина, а низенькая, круглая, аршина полтора в диаметре и аршин вверх, плетушка из досок от бочки и веревок. Сесть было не на что. Берг дал знак, крикнул: «Пускай!», и не успел я опомниться, как шар рванулся сначала в сторону, потом

вверх, потом вбок, брошенный ветром, причем низом корзины чуть-чуть не ударился в трубу дома, — и... Москва провалилась подо мной.

Мы попали в куски низко висевшей тучи. Сыро, гадко, ничего не видно. Пропали из глаз и строения, и гудевшая толпа. Наши разговоры, малопонятные, велись на черт знает каком языке: и не по-русски, и не по-немецки.

Кругом висел серый туман непроглядной тучи. Наконец внизу замелькали огоньки, Воробьевы горы и поля, прорезанные Москвой-рекой. Тишина была полнейшая. Мы опять попали в тучу. Берг, увидев у меня табакерку, очень обрадовался и вынюхал чуть не половину. Опять прорвалась туча, открылось небо, горизонт, а под нами бежали поля, перелески, деревни... Москва не была видна, она была с той стороны, где были тучи. Вот фонари и огоньки железнодорожной станции и полотно Рязанской дороги. Я узнал Люберцы. Шар стал опускаться и сел на картофельное поле, где еще был народ.

Мы благополучно сели, крестьяне помогли удержать шар, народ сбегался все больше и больше и с радостью помогал свертывать шар. Опоздав ко всем поездам, вернулся на другой день и был зверски встречен Н. И. Пастуховым: оказалось, что известия о полете в «Листке» не было.

За всю мою репортерскую деятельность это был единый, запомнившийся мне, случай такого упущения.

* * *

У Н. И. Пастухова было большое количество друзей и не меньшее число ожесточенных врагов.

В нем было столько же оригинального и своеобразно хорошего, сколько и непереносимо дурного, и все это скрывалось под грубой оболочкой не строго культурного человека.

К каждому из своих сотрудников он относился, как к близкому и родному ему человеку, но и церемоний он никаких ни с кем не соблюдал, всем говорил «ты» и, разбушевавшись, поднимал порою такой крик, который не все соглашались покорно переносить.

Зато и в горе и в нужду сотрудников он входил с отзывчивостью, в прессе его времени почти небывалой.

Я знаю случай, когда, с укором встретив старого газетного товарища, пришедшего к нему искать работы, он разом превратил его, как бы мановением волшебного жезла, из бедного и полураздетого человека в человека относительно обеспеченного.

Это моментальное превращение помнят все, кто знал обоих героев этой житейской волшебной сказки: щедрого «хозяина» Пастухова и вконец пропившегося «работника» И. А. Вашкова.

Дело было глухой осенью, месяца через два после начала «Московского листка».

На дворе стоял почти зимний холод. Улицы покрыты были какой-то гололедицей, чем-то средним между замерзшим дождем и растаявшим снегом, когда в скромную в то время квартиру нового редактора-издателя вошел Иван Андреевич Вашков, довольно хороший и известный в Москве литератор, но вечно бедствовавший, частью благодаря своему многочисленному семейству, состоявшему из семи или восьми душ, а частью (и даже большей) благодаря своей губительной и неудержимой страсти к вину.

Пришел И. А. Вашков в самом жалком виде, без калош, в плохих сапогах и в одном холодном пальто, под которым даже сюртука, кажется, не было.

Он не взглянул ни на кого из нас, хорошо ему знакомых по прессе, и прямо подошел к Н. И. Пастухову, который, с обычной своею оригинальностью, смерив его с головы до ног пристальным взглядом, с укоризной промолвил:

— Хорош!

— Работы дайте! — резко ответил ему И. А. Вашков. — А уж хорош или нет, об этом потом рассудите!

— Да ведь ты работать не станешь, Иван Андреевич.

— Коли пришел «наниматься», так, значит, буду. Нельзя не работать. С голоду все умрем. Есть надо!

— А пить не следует... — серьезно покачал Н. И. Пастухов своей седой головой. — Ты где живешь-то?

— Да покуда... то есть сегодня, в меблированных

комнатах, а завтра уж не знаю, где буду жить, потому — хозяйка выселяет.

— Много должен?

— Пятьдесят рублей!

— А амуниция только та, что на тебе?

— Только, — низко опустив голову, ответил И. А. Вашков.

— И что за жизнь такая в меблирушках! — продолжал Н. И. Пастухов свои назидания. — Ведь у тебя, слышно, детей орава. Ты бы квартиру взял лучше!

— А мебель где взять?

— Вона! Редкость какую нашел... мебель... мало мебели в Москве?

— Да такому, как я, и квартиры не сдадут. Контракт подписывать надо...

— Важное кушанье контракт... подпишем!

Н. И. Пастухов, видимо, начинал уже окончательно входить в роль доброго гения.

Прошла минута тяжелого молчания.

И. А. Вашков стоял, понурив голову.

— Нечего нос на квинту сажать, — весело и бодро заговорил старик. — Поедем твои грехи замаливать... Да обожди! Мою шубу надень! Пальто мое на тебя не влезет. Ишь ты дылда какая, прости господи!

— Зачем? Не надо! — стесняясь, пробормотал И. А. Вашков.

— Чего там не надо... Замерзнешь, возись тогда с тобой!

Закутав И. А. Вашкова в свою шубу и посадив его с собой в экипаж, Н. И. Пастухов объехал с ним и мебельный, и посудный магазины, закупив там полное хозяйство. Затем провез его к портному, платья ему купил полный комплект, нанял ему квартиру через два дома от редакции, подписал обязательство платить за его помещение и, вернувшись с ним к себе домой, выдал ему две книжки для забора товара в мясной и в колониальных лавках, условившись с ним таким образом, что половина заработанных им денег будет идти в погашение этого забора, а остальная половина будет выдаваться ему на руки.

Придя к Н. И. Пастухову голодным и холодным, без

работы и без возможности прокормить семью хотя бы в течение одного дня, И. А. Вашков ушел от него сравнительно обеспеченным человеком, с приличным, совершенно новым гардеробом, с оплаченной и оборудованной квартирой, с перспективой вполне безбедного существования и с возможностью приодеть всю свою многочисленную семью.

Когда И. А. Вашков умер, то, помимо устроенных похорон, всецело оплаченных Н. И. Пастуховым, жене его были куплены меблированные комнаты.

Такая же помощь была оказана Н. И. Пастуховым семье умершего журналиста Ракшанина; такая же сумма выдана была семье умершего газетного работника Иогансона.

Всем сотрудникам, ни разу не оставлявшим его редакцию за все время ее существования, выдано было за несколько лет до его кончины по пяти тысяч рублей, а после его смерти все лица, близко стоявшие к его газете, остались если не богатыми, то вполне обеспеченными людьми.

Добряк в жизни, Н. И. Пастухов как редактор имел много таких черточек, которые иногда ставили сотрудников или людей, сталкивавшихся с ним по работе, в затруднительное положение.

Одна из таких сцен, имевшая место в первый год издания газеты, живо врезалась у меня в память.

Съехались мы, сотрудники, как-то утром в Денежный переулок к Н. И. Пастухову, очень любившему, чтобы у него собирались вокруг стола во время утреннего и вечернего чаепития.

Он в это утро был не в духе и, насупившись, ушел в кабинет рядом с залой, так что все, что там делалось и говорилось, было всем слышно.

Н. И. Пастухов сидит в кабинете перед письменным столом и чертит что-то на бумаге, делая вид, что углублен в серьезное, безотлагательное занятие.

В это время явился Михаил Александрович Гиляров со статьей в руках и с твердым намерением получить хороший аванс.

Последнее было у Н. И. Пастухова сделать не всегда легко, и хотя дело кончалось обыкновенно полным удов-

летворением всякой просьбы, но покричать при этом он считал своей священной обязанностью, и кричал иногда довольно внушительно.

Гиляров прошел в кабинет и, сразу сообразив, что «сам не в духах», заискивающим тоном начал:

— Я тут политическую передовицу написал, Николай Иванович.

— Ну, что ж! Это твое дело! На то ты и нанят...

— Я хотел вам прочесть, посоветоваться. Как вам покажется.

— Ну, что, ж! Валяй! — умилостивляясь и напуская на себя важный тон, разрешил Н. И. Пастухов.

Гиляров начал читать отчетливо и внушительно, а Н. И. Пастухов глубокомысленно вставлял ни к селу ни к городу коротенькие замечания, вроде:

— Ты тут того—сгладь немного, как бы, знаешь, там не рассердились.

Где было это таинственное «там» и кто за что мог рассердиться при чтении вконец безобидной статьи, конечно, и сам редактор этого не знал, но нужно было «выдерживать фасон», и Н. И. Пастухов его выдерживал.

Мы в зале притихли и слушали внимательно, зная, что без какого-нибудь казуса дело не обойдется.

Наше предположение сбылось. Читая свою «передовицу», Гиляров дошел до слов: «вот именно чего добивались мадьяры».

В ответ на эти совершенно безвинные слова Н. И. Пастухов громко и порывисто крикнул:

— Что-о-о тако-о-ое?

Гиляров остановился, охваченный глубоким удивлением.

— Что-о-о?! — по-прежнему, как труба иерихонская, гремел Н. И. Пастухов, — Какие там мадьяры? Откуда ты мадьяр еще выискал!

Растерявшийся М. А. Гиляров постарался, по возможности понятно, объяснить ему значение слова «мадьяры», но «сам» уже закусил удила, и вразумить его не было никакой возможности.

— Так ты так и говори! — гремел он. — Так напрямик и объясняй: австрияк так австрияк, пруссак так пруссак, а мадьяр мне не сочиняй, редактора зря не подводи. Вот

что! Нешто с вас спросится? Вы намадьярите, а редактору по шапке накладут!.. — И, видя «глубокое» впечатление, произведенное его словами и его строгим окриком, он уже смирившимся и умилостивленным тоном прибавил, укоризненно качая головой: — А еще профессор!

Мы в зале не могли удержаться от заразительного смеха, а Н. И. Пастухов, увидав в зеркале отражение наших смеющихся лиц, почтил нас окриком:

— Вы там чему рады! Вы нешто начальство пожалеете!

А между тем мы именно в эту минуту от души жалели наше оригинальное «начальство» и благоговели перед дальновидностью нашей правительственной администрации, возложившей тяжелую шапку редактора и публициста на голову этого старого ребенка.

С годами Н. И. Пастухов стал и не так доступен, и с виду как будто не так отзывчив, но в душе он оставался тем же, и кажущаяся перемена в нем была вызвана слишком большими уступками и лестью близко к нему стоявших и беспощадно эксплуатировавших его лиц.

* * *

О первой поездке его за границу в литературном мире ходила масса забавных анекдотов, из которых один пользовался самым широким успехом во всем московском обществе.

Относится этот анекдот ко времени тулонских торжеств во Франции, куда Н. И. Пастухов пригласил ему сопутствовать Н. С. Иогансона, очень милого, симпатичного человека, которого считал замечательным лингвистом и который не оспаривал этого мнения.

В сущности Н. С. Иогансон только «понимал» по-французски, но и то далеко не все, и мы все, провожая во Францию наших путешественников на дебаркадер железной дороги, недоумевали, что станут говорить и делать в поездке наши вояжеры.

Они оба не унывали, и Н. И. Пастухов, прощаясь с нами, говорил, на лету подхватывая наши слегка насмешливые улыбки:

— Ладно! Смейтесь тут! А мы станем там Францию удивлять.

Первое «удивление» было вызвано тем широким барским масштабом, в какой Н. И. Пастухов поставил свой ежедневный обиход.

Номера он и в Париже, и в Лионе занимал самые дорогие и самые лучшие, на «водку» прислуге раздавал деньги щедрой рукой, обязательно сопровождая каждое приношение приветом:

— Вуаля! Алле!

Экипажи он заказывал себе самые дорогие и, легко и приветливо знакомясь со всеми, угощал при этом всех такими лукулловскими обедами, что среди всей прислуги ресторанов и отелей известен был под лестным именем «боярина».

Наступил день банкета, который город пожелал дать прессе, и представителям седьмой державы разосланы были почетные пригласительные билеты.

Получили такие билеты и Н. И. Пастухов и Н. С. Иогансон, которым было отведено видное место.

Во всех концах стола шла оживленная беседа, только «бояре» ели молча, потому что никакого разговора поддержать не могли.

Когда предложены были тосты за всех почетных посетителей, один из представителей муниципалитета попросил слова, поднял бокал за присутствовавшего на банкете представителя широко распространенной газеты, издающейся в Москве, этой исторической колыбели России, близкой, понятной и дорогой всему просвещенному миру.

Поднимая бокал, он обратился к Н. И. Пастухову и низко, почтительно поклонился ему.

Оба «боярина» наши сконфузились и растерялись.

— Николай Степанович, чего они? — конфузливо проговорил Н. И. Пастухов, обращаясь к Н. С. Иогансону.

— Ваше здоровье пьют, Николай Иванович, речь вам сказали. Ответить надо, — шепнул в ответ Н. С. Иогансон.

— Ну, вот еще выдумал! Нешто я могу... Ты за меня скажи.

— Да я тоже не могу, Николай Иванович... — сознался шепотом «лингвист».

Со стороны моряков, которых по целым дням неутомимо угощал «боярин», тоже последовала приветственная речь по его адресу.

— Надо сказать что-нибудь, Николай Иванович! Непременно надо! — убедительно прошептал Н. С. Иогансон.

Пастухов и сам, вероятно, понял необходимость ответить на адресованные к нему приветствия, и, поднявшись с места, он низко раскланялся на все стороны и коротко и прочувственно сказал:

— Спасибо, голубчики...

— Что он сказал? — раздалось со всех сторон, когда сдержанный оратор опустился на свое место.

Французы, присутствовавшие на банкете, по-русски не понимали, и все обратились за разъяснением и переводом к сидевшему в центре стола секретарю нашего посольства в Париже Нелидову.

Тот к числу друзей Н. И. Пастухова не принадлежал, находил, что он «компрометирует русское общество», но, вынужденный настоятельностью обращенных к нему вопросов, пресерьезно ответил, подстрочно переводя коротенький привет Н. И. Пастухова: «Спасибо, голуби!»

Характерный эпизод этого оригинального привета и его не менее оригинального перевода быстро облетел весь стол и в тот же день сделался достоянием всего съехавшегося общества.

В последние годы своей жизни Н. И. Пастухов уже не писал почти ничего, но всегда посещал общественные места и особенно любил гулять в манеже. В одно из таких гуляний ему сопутствовал Н. Н. Соедов, тогда редактор «Развлечения», большой шутник. Н. Н. Соедов пришел раньше Н. И. Пастухова и выиграл в лотерею дюжину мельхиоровых ложек. Потом они встретились, пили чай в буфете, а после чая пошли смотреть гулянье. Желая подшутить над стариком, Н. Н. Соедов положил ему в карман пальто одну из выигранных ложек. Николай Иванович, идя по манежу, сунул руку в карман и, вынимая ложку, сказал:

— Коля, а ведь я ложку украл! Снеси-ка ее в буфет.

Н. Н. Соедов взял ложку и в это время сунул Николаю Ивановичу другую и пошел в буфет.

— Снес?

— Снес, Николай Иванович.

— А вот у меня другая ложка... Стало быть, я две стащил... Снеси-ка.

Н. Н. Соедов опять взял одной рукой ложку, а другой другую ложку опять сунул в карман. Зашел в буфет, сделал вид, что снес ложку, и опять идет. Видит: Николай Иванович стоит удивленный и смотрит на ложку, которую держит в руках:

— Откуда же она? Ведь это третья... Ничего не понимаю... Возьми, отнеси. Впрочем, пойдем, я сам отдам.

Подойдя к буфету, Николай Иванович подозвал лакея, отдал ему ложку и пошел гулять по манежу. В это время Н. Н. Соедов опять сунул ложку ему в карман.

Николай Иванович остановился перед куплетистом, слушал и вдруг изменился в лице.

— Коля, ущипни меня за ухо...

— Что-с, Николай Иванович?

— Ну, за руку... Возьми... ущипни... Жив я или нет?

Н. Н. Соедов ущипнул его за левую, протянутую ему руку, а правая рука Николая Ивановича была в кармане.

— Жив... Только ничего не понимаю... Ты знаешь, что у меня в руке? Боюсь посмотреть, а чувствую... Опять она...

— Кто-с?

— Ложка... вот она, гляди.

И Николай Иванович вынул из кармана четвертую ложку. Побледнел, дрожит... Н. Н. Соедов сам испугался за старика и кое-как развлек его, но никогда не объяснил ему своей проделки, а сам Николай Иванович, когда рассказывал кому-нибудь из своих приближенных об этом непонятном случае, как о чуде, все-таки прибавлял:

— Верил бы и в чудо, ежели бы только со мной Н. Н. Соедов не был... Он все может...

* *
*

Лет за десять до кончины с Н. И. Пастуховым произошел случай, имевший для него тяжелые последствия.

Н. И. Пастухов, как я уже говорил, был отчаянным рыболовом. Ничто в мире не могло так занять и увлечь его, как рыбная ловля.

Однажды Н. И. Пастухов, приехавший, по своему обыкновению, на Нижегородскую ярмарку, выбрал и облюбовал себе место в нескольких верстах от города, в небольшой деревеньке, расположенной у самого берега Волги, и, наняв там у одного из крестьян лодку, расположился со своими удочками, приготовившись к обильному улову.

Вообще рыбная ловля на удочку требует ненарушимой тишины, а Н. И. Пастухов, для которого уженье было чуть ли не священнодействием, был необыкновенно капризен и требователен в этом отношении.

Нельзя было нанести ему большего оскорбления, как явиться к нему на берег и шумом и разговором спугнуть рыбу, которая клюет только при полной тишине и немедленно уходит, раз эта полная тишина нарушена.

Все, знавшие Н. И. Пастухова, считались с этим, и легко можно себе представить, как он рассердился, закинув удочку и внезапно услыхав за собой на берегу смех и говор нескольких детских голосов.

— Кши! — сердито закричал он на них, обернувшись в их сторону и прогоняя их, как гоняют надоедливых птиц.

Детишки не унимались, и только видя, что «старый барин» зашевелился в лодке, и боясь, что он причалит к берегу и поймает их, они бросились бежать с громким криком и озираясь на сердитого «дедушку», который был не на шутку взбешен.

Рыба, испуганная шумом, ушла, и он хорошо знал, что в этот вечер она не клюнет.

Н. И. Пастухов поднялся в лодке и издали увидал, как двое из убегавших мальчиков остановились на дороге, с любопытством глядя в его сторону и словно поддразнивая его.

Окончательно возмущенный такой смелостью и же-

лая хорошенько пугнуть дерзкую детвору, Н. И. Пастухов схватил в руки лежавший подле него в лодке револьвер и направил его на мальчиков. Те, увидев, что он поднялся, вскрикнули и побежали.

Он, с целью раз навсегда хорошенько проучить их, спустил курок. Пуля, направленная с шальной меткостью, настигла мальчика, остановившегося ближе к берегу.

Н. И. Пастухов, мгновенно вспомнив, что револьвер заряжен, весь похолодел, увидав, как мальчик зашатался, быстро рванулся в сторону и, взмахнув руками, разом грохнулся о землю.

Обезумев от ужаса, Н. И. Пастухов выскочил из лодки, бросился к мальчику, нагнулся над ним, стал окликать его, ласково ободрять, но было уже поздно.

Ребенок лежал бледный, без движения, с широко открытыми глазками, в которых застыло выражение смертельного ужаса. Он был убит наповал.

Обезумевший от ужаса Н. И. Пастухов бросился в город на ожидавшей его на берегу лошади и мигом вернулся оттуда в сопровождении полиции и нескольких врачей, которых он буквально хватал по дороге, не спрашивая об условиях, и только испуганным и дрожащим голосом повторял:

— Скорей! Ради бога, скорей! Может быть, еще можно что-нибудь сделать!..

Но делать уже было нечего. Нагрянувшие власти нашли у трупа уже громадную толпу поселян с матерью убитого мальчика во главе.

Их всех призвали разбежавшиеся дети, поторопившиеся известить, что «старый, сердитый барин убил Ваську».

Тут же стояла на страже и земская полиция, знакомая с порядками следствия и с законами и знавшая, что мертвое тело нельзя трогать с места до приезда начальства.

На коленях перед трупом, прижавшись головой к остывшему маленькому телу, неутешно рыдала мать маленького Васи.

Увидав Н. И. Пастухова, она бросилась к нему, и не защити его присутствовавшие, она, кажется, разорвала бы его своими руками.

В порыве отчаяния она проклинала его самым страшным образом, и когда расстроенный и перепуганный Н. И. Пастухов направился к экипажу, она, силой удержанная десятским, крикнула ему вслед:

— Пусть бог отомстит тебе за меня! Ежели у тебя есть дети, пусть он их у тебя отнимет, как ты у меня моего сыночка бедного отнял!

Движимый горем и раскаянием в своем невольном преступлении, Н. И. Пастухов дал несколько тысяч семье Васи, поставил над его могилой мраморный памятник и внес в земскую управу сумму на учреждение в ближайшем селе школы в память убитого.

Но проклятие убитой горем матери, видимо, оказалось сильнее всяких денег, могущественнее всяких пожертвований и даров, и несчастье, призванное на его голову, как бы стало осуществляться.

У Н. И. Пастухова было только двое детей: сын, которому в момент этого горького события было около тридцати пяти — тридцати шести лет, и дочь несколькими годами моложе брата.

Сын был уже давно женат, дочь тоже была замужем, и у каждого из них, в свою очередь, была семья. Оба были в полном расцвете сил и здоровья и, богатые, счастливые, наслаждались всеми благами жизни.

Не прошло и года после ужасной гибели Васи, как дочь Н. И. Пастухова внезапно заболела горловой чахоткой и через несколько месяцев умерла в страшных муках от голода, не имея сил глотать никакую пищу.

Брат, присутствовавший на ее погребении и сам несший гроб ее до могилы, почти внезапно умер через три недели после нее, проболев только пять или шесть дней.

Эта последняя могила была вырыта через девять месяцев после трагической смерти маленького Васи.

Люди, не зараженные предрассудками, могут объяснить это простой случайностью, но многие из тех, кто был свидетелем передаваемого случая, увидели в нем нечто иное.

Сам Н. И. Пастухов ни разу, сколько можно было заметить, не вспоминал ни случая нечаянного убийства, ни совпадения обрушившихся на него несчастий с поразив-

шим его проклятием матери Васи. Помимо нравственного горя, это роковое дело принесло Н. И. Пастухову немало и материальных убытков.

Дело это до суда не дошло, но, по признанию Н. И. Пастухова, это обошлось ему в солидную цифру.

Сына Н. И. Пастухов обожал, и во всем живом мире не было существа ему более близкого и дорогого, а между тем и хоронить его старику пришлось при совершенно исключительных условиях.

Сын, никогда не разлучавшийся с отцом, сам был к нему горячо привязан и, узнав о внезапной болезни отца, занемогшего на одной рыбной ловле, за Пушкином, куда он поехал после похорон дочери, тотчас же отправился, чтобы перевезти больного отца в Москву.

Поехал он к нему совершенно здоровый, но дорогой простудился и при возвращении в Москву сам занемог.

Отец в это время лежал без памяти и ничего не знал о болезни сына.

Квартира молодого Пастухова расположена была на одной лестнице со стариком, прямо над его квартирой, и лежал больной сын прямо над той комнатой, где лежал и приговоренный к смерти старик.

Очнувшись от беспамятства на третий или четвертый день болезни, старик спросил о сыне, и доктора, уже не питавшие никакой надежды на его выздоровление, осторожно предупредили старика об опасной болезни сына.

Он, вздохнув, перекрестился, спросил, остается ли какая-нибудь надежда на выздоровление, и, получив отрицательный ответ, попросил окружающих, чтобы его предупредили в ту минуту, когда у сына начнется агония.

Желание это было исполнено, и он, узнав, что сын доживает последние минуты своей сравнительно молодой жизни, поднял глаза к потолку, как бы желая взором проникнуть сквозь все материальные преграды туда, где угасала эта дорогая для него жизнь.

Не только провести, но даже и перенести его по лестнице в квартиру сына не было никакой возможности, и старика только в креслах подкатили к двери передней в ту минуту, когда сверху мимо него пронесли гроб с дорогим ему прахом.

В тех же креслах его подкатили к окну, из которого он увидел сына, когда гроб его вынесли из дома.

Самого Н. И. Пастухова смерть постигла тоже со странным совпадением дат.

Его хоронили 31 июля 1911 года, то есть накануне тридцатипятилетнего юбилея его газеты, первый номер которой вышел в свет 1 августа 1881 года.

* * *

Эти отдельные эпизоды, вырванные из очень большой репортерской работы в «Московском листке», могут, как мне думается, дать некоторое представление и о репортаже того времени, и о Н. И. Пастухове — создателе газеты, которая читалась и в гостиных, и в кабинетах, и в трактирах, и на рынках, и в многочисленных торговых рядах и линиях.

КАЗЕННЫЕ ГАЗЕТЫ

«Студент 3-го семестра утешает вдов и разводит сирот. Согласен за стол и квартиру. Б. Бронная, д. Чебышева, студенту Андрееву».

Эти строки единственные остались у меня в памяти из газеты, которая мозолила мне глаза десятки лет в Москве во всех трактирах, ресторанах, конторах и магазинах. В доме Чебышева, на Большой Бронной, постоянном обиталище малоимущих студентов Московского университета, действительно оказались двое студентов Андреевых, над которыми побалагурили товарищи, и этим все и окончилось.

Эту газету получали все учреждения, потому что обязаны были получать и непременно держать ее на виду.

Программа этой газеты, утвержденная правительством, была шире всех газетных программ того времени. Ей было разрешено печатать «все, что интересно читать и потребно обывателю». Так и написано было в разрешении, которое мне показывал сам редактор, маленький чиновничек из канцелярии обер-полицмейстера.

Он имел шикарную квартиру при редакции и жил так, как полагается жить человеку, занимающему подобную квартиру.

Редактор никогда не читал своей газеты, имевшей свою хорошо оборудованную типографию. Газету вообще никто не читал, а меньше всего подписчики.

Интересовались ей только самые злополучные люди, справлявшиеся о том, какого числа будет продаваться за долги их обстановка, да еще интересовались собачьи воры, чтобы узнать, по какому адресу вести украденную ими собаку, чтоб получить награду от публикующего о том, что у него пропала собака. Эти лица, насколько я знаю, читали газету, а кто были остальные читатели, если только они были, — неизвестно.

Меня вопросы об аукционах не интересовали, а если у меня пропадала породистая собака, что было два раза в моей жизни, то я прямо шел на Грачевку, в трактир Павловского, разыскивал Александра Игнатьева, атамана шайки собачьих воров, — и он мне приводил мою собаку.

Цензурный комитет и в глаза не видал этой газеты, в которой печатались обязательные постановления Городской думы касательно благоустройства города, краткие сообщения из полицейских приказов и протоколов о происшествиях и список приехавших в столицу и выехавших особ не ниже пятого класса.

Кроме того, в газете «припечатывались» казенные и частные объявления, и на квитанциях писалось: «За припечатание сего объявления получено 33 копейки серебром».

Частные лица редко сдавали сюда торговые объявления, и называлась эта газета «Ведомости московской городской полиции».

Распространение газеты зависело от энергии участкового пристава и характера участка, которым пристав этот ведал. Так, в Арбатской и Пречистенской частях этой газеты и не увидишь, хотя каждый домовладелец обязан был на нее подписываться. Эти два участка были населены дворянством, которое гнало полицейских, приходивших с подписной книгой на газету. Зато в некоторых более подходящих участках были приставы, ревностно заботившиеся о доходах газеты, причем, конечно, не забывали и о своем кармане.

В 1881 году московская полиция была преобразована: прежнее административное деление столицы на кварталы было уничтожено, и Москва была разделена на 40 участков.

Квартальных переименовали в участковые пристава и дали им вместо старых мундиров со жгутиками чуть ли не гвардейскую форму с расшитыми серебряными воротниками и серебряными погонами с оранжевым просветом.

Пузатые, небритые квартальные надели почти что гвардейские мундиры, и только некоторые из молодых побрились и стали лихо закручивать усы.

Некоторые из них отпустили бороды по примеру царского двора, где бакенбардисты превратились в бородачей: царь носил бороду.

Квартальные, ставши приставами, конечно, заважничали и подняли тариф: теперь фунтом чернослива или ногой телятины торговцы уже не отделывались — гони наличные, купить сами умеем.

В это время я написал для «Будильника» четверостишие, которое мне показали, троекратно и зло зачеркнутое красными чернилами, да еще с цензорской добавкой: «Это уж не либерально, а мерзко!»

Четверостишие было такое:

Квартальный был — стал участковый,
А в общем та же благодать:
Несли квартальному целковый,
А участковому — дай пять!

В числе таких квартальных, переодевшихся в почти гвардейский мундир, был капитан Змеев — щеголь и козырь вовсю.

Он в это время был приставом на Тверской-Ямской, где улицы и переулки были населены потомками когда-то богатого сословия ямщиков и вообще торговым, серым по тому времени, людом.

Поручил собрать подписку околоточным, но безуспешно. Ответы были такие:

— На кой она нам!

— Мы люди неграмотные, газетов отродясь не читали!

В одно из воскресений, после обедни, на обширный двор участка были согнаны все домовладельцы, трактирщики и лавочники — хозяева.

Поддевки, длинные сюртуки ниже колен, смазные

сапоги и картузы, как у Дикого из «Грозы», наполнили двор. Вынесли стол с книгой подписки на газету.

Вышел на крыльцо грозный пристав Змеев:

— Здравствуйте, почтенные!

— Здравствуйте, вскородие!

— Кто у вас на «Полицейские ведомости» подписался, руку подними.

Поднялись две руки: трактирщика Осипова и лавочника Луки Прокофьева.

— Выходи сюда.

Подошли без шапок, дрожат.

— Ну, спасибо вам, молодцы! Можете идти домой! — даже руку им подал на прощанье.

Затем обратился к писарю и приказал каждому раздать по газете, кому хватит.

— Здесь, вот видите, на первой странице высочайшие приказы и обязательные постановления напечатаны. Их обязан знать каждый обыватель. Берите газету, располагайтесь на травке и выучите наизусть пока первую страницу. Да чтоб без ошибок было! А кто выучит — пусть доложит мне, я проэкзаменую сам.

И крикнул городовым:

— Никого не выпускать со двора!

Городовые заперли ворота. Пристав важно ушел в свой кабинет.

Ошалелые обыватели бросились к писарю. Некоторые стали по складам читать газету и заучивать.

Писарь предложил желающим подписаться и с квитанцией идти к приставу в канцелярию. Подписка была четыре рубля за год. Конечно, сдачи с пяти рублей не давали. Брали квитанции, шли в канцелярию и исчезали.

Некоторые, упорные, пробовали учить заданное, но ничего не выходило.

В результате весь участок Змеева подписался на «Полицейские ведомости», а выходившие из кабинета с аудиенции через парадный ход участка прямо на улицу почесывали затылок:

— Н-да! Что ловко, то ловко!

В Москве была еще такая же газета с обязательной подпиской, но той в столице не видали.

Она выходила раз в неделю, посылалась в провинцию почтой, где ее сваливали, не распечатывая бандероли, в архив присутственных мест уездных городов. Оттуда она поступала в конце концов через сторожей в соседние лавочки на оклейку стен или употреблялась на курево.

В ней печатались циркуляры, еще ранее разосланные по уездам почтой, и «припечатывались» объявления о пропавших коровах и забеглых лошадях, о потерях документов и разных находках.

Я в первый раз познакомился с этой газетой, носившей громкое название «Московские губернские ведомости», в начале 80-х годов, на охоте под Коломной, где в сельской лавочке в половину этой газеты мне завернули фунт мятных пряников.

На привале в лесу я стал смотреть газету и среди объявлений о пропажах и находках наткнулся на такое сообщение:

«В лесу близ Черкизова найдены неизвестно кому принадлежащие кандалы с потертыми подкандальниками. Владельца просят явиться, с доказательствами принадлежности в Московское губернское правление, в стол находок».

ЦЕНЗУРА И ЦЕНЗОРЫ

Самым глухим и трудным временем для печати было, пожалуй, десятилетие с 1881 по 1891 год, сменившее время «диктатуры сердца» и либеральных веяний, когда печать чувствовала себя относительно свободно. Это жесточайшее время реакции отразилось первым делом на печати: получить разрешение на газету или журнал было почти невозможно. Зато правительство легко закрывало издания или умело сводило на нет при всяком удобном случае неугодные ему. Любопытно, что одним из первых во время наступившей реакции пострадал цензор Никотин, просматривавший журнал Н. А. Пушкарева «Свет и тени». Он пропустил карикатуру, не разгадавши ее смысла. Пострадал за нее и автор-художник, тогда еще студент-медик, М. М. Чемоданов.

Во всю страницу журнала «Свет и тени» летом 1881 года появился рисунок: стоят прямо воткнутые в две чернильницы по сторонам стола два гусиных пера, а через них была перекинута в виде вьющейся линии надпись: «Наше оружие для разрешения современных вопросов».

Перья и надпись изображали, если всмотреться, два столба с перекладиной. Перекладина-надпись была сделана почерком с росчерками, и один из росчерков, как раз посередине перьев, походил на висящую петлю.

Публика сразу узнала виселицу, и номер журнала был у всех в руках. Хватились испуганные власти, стали

отбирать журнал, закрыли розницу издания и уволили цензора.

Уцелевшие у газетчиков номера продавались нарасхват по 5 рублей из-под полы. Вылетел со службы цензор Никотин, в общем очень милый и образованный человек, лучший из цензоров того времени.

Его увольнение больше всего отозвалось на цензорах, и они зло набросились на печать, и осторожность их доходила до абсурда.

Привыкай к пеленанью, мой милый,
Привыкай, не шутя говорю,
Подрастешь да исполнишься силой,
Так и мысль спеленают твою.

Этими строчками заканчивалось стихотворение «Ребенок», сданное мною, вскоре после опубликования рисунка М. М. Чемоданова, в «Будильник».

Оно было послано в гранках цензору Егорову, лучшему из оставшихся цензоров, свободомыслящему и притом дружившему с редактором «Будильника» Н. П. Кичеевым, которому он и сказал, указывая на эти строчки:

— Николай Петрович, да разве можно? Вы хотите. чтоб и меня в отставку, как Никотина, выгнали?

— За что же?

— Да за то, что я допустил намек!

Эта знаменательная беседа с цензором, рассказанная Н. П. Кичеевым своим товарищам, повторялась во всех редакциях и повисла грозной тучей над изданиями.

«Намек» дал тон всей тогдашней литературе, которая в ответ цензуре заговорила эзоповым языком и приучала читателя разыскивать и разгадывать «намеки» даже там, где их не было. И разгадывали и находили, хотя это часто походило на сплошной анекдот.

Что, кроме анекдота, могло явиться в печати под «пятой» правительства, боявшегося даже намека, и какая могла быть печать, если газеты и журналы разрешались только тем, на кого твердо надеялось правительство, уверенное в том, что оно разрешает только тому право на издание, у кого и мысли о каком-нибудь неугодном властям намеке в голову прийти не могло, и

разве такой издатель в свою газету и журнал мог пригласить редактора, который был бы способен пропустить какой бы то ни было намек?

Это было время, когда только в подпольной печати были рыцари без страха и упрека.

В легальной печати было два лагеря: в одном — «рыцари» со страхом и намеком, а в другом — «рыцари» без страха и намека. Во главе первых в Москве стояли «Московский телеграф», «Зритель» Давыдова, «Свет и тени» Пушкарева, ежемесячная «Русская мысль», «Русские ведомости», которые со страхом печатали Щедрина, писавшего сказки и басни, как Эзоп, и корреспонденции из Берлина Иоллоса, описывавшего под видом заграничной жизни русскую, сюда еще можно было причислить «Русский курьер», когда он был под редакцией В. А. Гольцева, и впоследствии газету «Курьер».

Ко второй категории можно отнести было: «Московские ведомости», «Московский листок», «Русский листок», «Русское слово», тогда еще не перешедшее к И. Д. Сытину, которые все кормились и не рассуждали, будучи бесцензурными, а «Новости дня» были безопасны вследствие предварительной цензуры.

В такие времена задумалось издание детского журнала «Ласточка», в котором поэт из народа И. А. Белоусов являлся издателем, а я редактором.

Приложив к прошению законное количество гербовых марок, я послал его в главное управление по делам печати, ходатайствуя о разрешении журнала. «Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится» — говорится в поговорке. Через долгое время я получил ответ из главного управления о представлении документов о моем образовательном цензе.

Во время затеи с «Ласточкой» одновременно я был уже редактором «Журнала спорта», который был разрешен тем же самым главным управлением по делам печати.

В моем ответе, указав на этот факт, я дополнил, что, кроме того, я имею честь состоять «действительным членом Общества любителей российской словесности при Императорском московском университете» и работаю в журналистике более 20 лет.

Начальником главного управления по делам печати в эти времена был профессор Московского университета Н. А. Зверев, который сам был действительным членом Общества любителей российской словесности и, конечно, знал, что в члены Общества избираются только лица, известные своими научными и литературными трудами.

В ответ на это мне главным управлением сообщалось, что всего этого недостаточно для утверждения меня редактором детского журнала, а необходим гимназический аттестат. Гимназического аттестата, да и вообще никаких бумаг, кроме указа об отставке с перечислением сражений, в которых я участвовал, полученного мной после турецкой войны, тогда у меня не было: все их растерял во времена моей бродяжной юности.

Так и пришлось прекратить все хлопоты о детском журнале!

Вскоре после этого Н. А. Зверев приехал в Москву и потребовал к себе всех московских редакторов. Пошел и я. Он собрал редакторов в кабинете цензурного комитета и начал увещевать, чтобы были потише, не проводили «разных неподходящих идей», и особенно набросился на своего бывшего товарища по профессуре В. А. Гольцева, редактора «Русской мысли», и В. М. Соболевского, редактора «Русских ведомостей».

Надо заметить, что это было в начале японской войны и как раз в тот день, когда было напечатано сообщение об успехах наших войск, взявших Путиловскую сопку.

— А вам, господа, — сказал Н. А. Зверев, обращаясь к В. А. Гольцеву и В. М. Соболевскому, — я особенно удивляюсь. Что это вам далась какая-то конституция! Что это, господа? В такое время! Или у вас нет тем? Писали бы о войне, о героических подвигах. Разве это не тема, например, сегодняшний факт — сопка с деревом!

Беседа кончилась как-то юмористически. Когда вышли из кабинета, я резюмировал зверевскую беседу так:

Вот вам тема — сопка с деревом,
А вы все о конституции...
Мы стояли перед Зверевым
В ожиданьи экзекуции...

Ишь какими стали ярыми
Света суд, законы правые!
А вот я вам циркулярами
Поселю в вас мысли здравые.
Есть вам тема — сопка с деревом:
Ни гу-гу про конституцию!..
Мы стояли перед Зверевым
В ожиданьи экзекуции...

Дождались конституции, грянула свобода печати, стали писать по-новому. Забыли «сопку с деревом», доставление документов об образовательном цензе, стали выходить издания явочным порядком. Стали писать все что угодно, никакой цензуры, казалось, не было, но оказалось — ненадолго.

Стали опять поговаривать о «свободе печати», той печати, которая свободно припечатывала бы каждое свободное слово, воскресла цензура и принялась «припечатывать»!

Для редакторов открылись двери тюрем, на издателей посыпались денежные штрафы, сажали редакторов и прикрывали газеты. Нужно было или платить штраф, сохраняя издание, или на место посаженного редактора выставлять нового, запасного. Таких явилось сколько угодно.

— Ответственный редактор!

— Редактор для отсидки!

Цены на таких редакторов были разные: от 15 рублей на хозяйских харчах в месяц и выше, до сотен рублей. Был случай, напечатанный в газетах, что двенадцать редакторов одного и того же петербургского издания одновременно отсиживали в тюрьме трехмесячный стаж.

Такие «редактора» вербовались издателями среди безработных или лиц, ничем не рискующих, так как жалованье им шло и во время заключения.

Свободе «печати», припечатывавшей «свободное слово», стало трудно бороться с этим, надо было находить и выдумывать что-то новое. Был выдвинут новый проект устава о печати, в котором, между прочим, имелся 45-й параграф, предусматривающий особый образовательный ценз для ответственного редактора, вроде диплома об окончании курса в среднем учебном заведении.

Этот 45-й параграф уже заставил многих издателей, особенно провинциальных, задуматься. Как-то я получил от одного из них письмо, в котором он, между прочим, обращается с просьбой:

«Подыщите мне, пожалуйста, парочку, а то и троечку, на всякий случай, подходящих редакторов, но непременно с гимназическим дипломом, на жалованье от 40 до 50 рублей. Сначала пришлите одного, а другие двое чтобы были наготове, когда потребуются. Вы знаете, что статья 45-я нового устава о печати для нас, глухой провинции, прямо зарез, здесь трудно найти ответственного редактора с гимназическим образованием. У вас же в Москве, взять хоть Хитров рынок, ими хоть пруд пруди. Ведь обязанности никакой: сиди пей водку дома да только подписывай газету. Конечно, справиться надо, не судившийся ли, а все остальное ничего, у меня тесть содержит лечебницу для алкоголиков. Только главное — аттестат и благонадежность. Пожалуйста, присмотрите парочку...»

Я прочел это письмо и подумал: догадайся я раньше найти на Хитровом рынке такого редактора, давно бы издавал детский журнал.

Когда я редактировал коннозаводческий «Журнал спорта», московская цензура тоже меня нередко тревожила и ставила иногда в ужасное положение. Так, в 90-х годах прошлого столетия я как-то напечатал воскресный номер и выпустил его, не дождавшись цензорских гранок. Сделал я это вполне сознательно, так как был более чем уверен, что ровно никаких противоцензурных погрешностей в номере нет.

В 8 часов вечера, в субботу, я роздал номер газетчикам и послал к цензору за гранками. Каково же было мое удивление, когда посланный вернулся и уведомил, что номер выпускать нельзя, так как цензором сделаны вымарки. Номер я уже роздал весь и уехал на поезде, а вернувшись в понедельник, отправился в цензурный комитет, куда были доставлены и цензорские гранки. Оказалось, что вычеркнуто было только одно слово: «казенная».

Слово это находилось в отчете о скачках, на которых участвовали лошади казенного Деркульского завода,

и было, между прочим, написано: «Хотя казенная кобыла и была бита хлыстом, но все-таки не подавалась вперед».

Слово «казенная» было вычеркнуто, и номер задержан. Цензурный комитет помещался тогда на углу Сивцева Вражка и Б. Власьевского переулка. Я вошел и попросил доложить о себе председателю цензурного комитета В. В. Назаревскому, которым и был приглашен в кабинет. Я рассказал о моем противоцензурном поступке, за который в те блаженные времена могло редактору серьезно достаться, так как «преступление» — выпуск номера без разрешения цензуры — было налицо.

— Что же, я поговорю с цензором. Это зависит только от него, как он взглянет, так и будет, — сказал мне председатель цензурного комитета.

В разговоре В. В. Назаревский, между прочим, сказал:

— А знаете, в чьем доме мы теперь с вами беседуем?

— Не знаю!

— Это дом Герцена. (Позднее я выяснил, что В. В. Назаревский ошибся: дом А. И. Герцена был не здесь, а в Старо-Конюшенном переулке.) Этот сад, который виден из окон, — его сад, и мы сидим в том самом кабинете, где он писал свои статьи.

— Бывает! — сказал я.

— Да-с! А теперь на месте Герцена сидит председатель московского цензурного комитета.

На столе В. В. Назаревского лежала пачка бумаги. Я взял карандаш и на этой пачке написал:

Как изменился белый свет!
Где Герцен сам в минуты гнева
Порой писал царям ответ, —
Теперь цензурный комитет
Крестит направо и налево!..

В. В. Назаревский прочел и потом перевернул бумагу.

— Это прекрасно, но... вы написали на казенной бумаге.

— Уж извините! Значит — последовательность. Слово «казенная» не дает мне покоя. Из-за «казенной» лошади я попал сюда и испортил «казенную» бумагу...

— Вы так хорошо испортили «казенную» бумагу, что и «казенную» лошадь можно за это простить. Не беспокойтесь, за выпуск номера мы вас не привлечем. Я поговорю с цензором, а эти строчки я оставлю себе на память.

Так А. И. Герцен выручил меня от цензурной неприятности.

* * *

Что бы, кажется, могло быть бесцензурного в «Журнале спорта», где разбирались только одни коннозаводские вопросы? Но, тем не менее, то и дело цензура прикладывала к нему свою руку.

Большие номера журнала выходили по воскресеньям, печатались в субботу и к газетчикам поступали или поздно вечером, или в четыре часа утра.

Статьи для цензуры посылались в пятницу, а хроника и отчеты — в субботу, после четырех часов дня, то есть когда верстался номер. Бывали случаи, что уже наступал вечер, а цензурных гранок не приносили. Приходилось иногда ехать самому к цензору на квартиру выручать материал.

Приедешь. Отпирает кухарка:

— Тебе чего?

— Кто дома есть?

— Никого нетути! Уехадши в киятры!

— Цензурные гранки не оставлены?

— Дранки? Вот они лежат, да отдавать не приказано, в понедельник в комитет пойдут.

Дверь захлопывается — положение невеселое: или номер не выпускай, или рискуй закрытием журнала за бесцензурный выход. Тогда все это было возможно в административном порядке.

Приходилось в одиннадцать часов ночи посылать секретаря дежурить у подъезда цензора и ждать его возвращения из театра, чтобы получить гранки.

Иногда эти гранки отдавались, нецензурные недоразумения улаживались — и номер выходил беспрепятственно. Иногда же я выпускал номер на риск, и приходилось ездить с объяснениями в цензурный комитет. Все это стоило времени и трепало нервы.

Иногда дело передавалось в суд и кончалось рублевым штрафом, но до суда я старался никогда не доводить, чтобы не обозлить цензуру, которая все-таки имела возможность всегда зарезать издание тем или другим путем.

Такие цензоры, как С. И. Соколов и С. В. Залетов, относились ко мне хорошо, доверяли выпускать текущий дневной материал без просмотра. Такое доверие давало мне возможность раньше выпускать номер, — но тут бывали курьезные недоразумения.

— Что же это вы нас подводите? Мы вам доверяем, а вы подводите-с!

— Что? Где?

— Читайте: «Гнедой жеребец Патриарх покрыл мадам Анго». Да разве это можно! Патриарх... да еще мадам Анго?

— Это лошадь иностранная, разве я виноват, что у нее такое имя!

— Ну так пусть пишут иностранцы, а нам не подобает. За это нам...

— Да ведь вот и в казенном журнале «Коннозаводство», издающемся в Петербурге при Главном управлении государственного коннозаводства, так же написано.

Я показал цензору казенный журнал, откуда была сделана перепечатка о Патриархе.

— Безобразники! А еще государственное коннозаводство! — вздохнул цензор и успокоился.

Во времена, когда я был мало известен цензуре, хроника в журнале часто черкалась цензором, и происходили недоразумения и объяснения в цензурном комитете.

Был задержан однажды выпуск номера за заметку в хронике такого содержания:

«Ф. Ф. Достоевский купил у Л. Ф. Грабовского двух кобыл — Лютеранку и Круцяту».

В среду я был вызван в цензурный комитет к моему цензору.

— Это кобыла-то у вас лютеранка? Да что вы это? Я этого пропустить не могу. Ведь вы этак, пожалуй, напишете, что я — жеребец... или еще что в этом роде. Здесь я усматриваю оскорбление религии!

Конечно, все разъяснилось, уладилось, и «антирели-

гиозная» заметка о кобылах была благосклонно пропущена.

Труднее мне пришлось отстаивать заметку под заглавием «Продажная скачка».

— То есть позвольте, как это продажная? Это уж оскорбление императорского общества! Разве допустимы про-даж-ные скачки?! — набросился на меня цензор.

— Да ведь «продажная» — это название приза. Это значит, что выигравшая приз лошадь обязательно продается с аукциона тотчас же после скачки...

— Я не позволю!

Пришлось дойти до председателя цензурного комитета, представить ему скаковую афишу, где скачка была озаглавлена «продажная».

«ЗРИТЕЛЬ»

Редакция сатирического и юмористического журнала «Зритель» помещалась на Тверском бульваре в доме Фальковской, где-то на третьем этаже. Тут же была и цинкография В. В. Давыдова. В. В. Давыдов был всегда весь замазанный, закоптелый, высокий и стройный, в синей нанковой выгоревшей от кислоты блузе, с черными от работы руками, — похожий на коммунара с парижских баррикад 1871 года. По духу он и действительно был таким.

Обстановки в редакции не было никакой: некрашеные столы, убогие деревянные стулья сухаревской работы.

Мы, сотрудники, собирались обыкновенно по четвергам, приходили часам к трем, усаживались пить чай из никогда не чищенного огромного самовара, пили из дешевых, пузырчатых, зеленого стекла стаканов, с оловянными ложечками.

Сахар в пакете, в бумаге колбаса, сыр и калачи или булки, которые рвали руками. Вешали пальто на гвозди, вбитые в стену, где попало. Приходили Антоша Чехонте, Е. Вернер, М. Лачинов, тогда еще студент Петровской академии, Н. Кичеев, П. Кичеев, Н. Стружкин и еще кое-кто.

Выходил В. В. Давыдов и тут же приносил пачку материала. Обсуждали каждую мелочь вместе. Записывали экспромты, остроты, шутки. В. В. Давыдов был всё — и редактор, и секретарь, и кассир. Когда были в кармане

деньги, он выворачивал все на стол и делил кому что следует, а иногда прямо заявлял:

— Ни копья нет! В субботу приходите, получу!

И всегда слово его было верно.

В журнале особый успех имел отдел «Литературное попурри», где доставалось всем и каждому, не стесняясь положением, дружбой, отношениями.

Этот отдел составлялся коллективом во время наших четверговых чаев. Не щадили здесь ни своих, ни чужих, даже присутствующих. Также обсуждались всеми вместе и театральные рецензии.

Являлся М. М. Чемоданов со своими карикатурами, — их рассматривали, меняли надписи, давали ему новые темы.

В то время фамилия «М. М. Чемоданов», после его карикатуры в журнале Пушкарева «Свет и тени», за которую слетел цензор Никотин, была страшной, и он стал подписываться «Лилин», чтобы скрыть от цензуры свое имя.

В этих собеседованиях мы напрягали все усилия, чтобы надуть цензуру, на что очень реагировал сам В. В. Давыдов.

М. М. Чемоданов улыбался и набрасывал проекты карикатур такие, что комар носа не подточит. В каждом номере журнала появлялись такие карикатуры, смысл которых разгадывался уже тогда, когда журнал выходил в свет. В большинстве это были политические карикатуры.

Обыкновенно кто-нибудь приносил в редакцию свой набросок или рецензию, и тут же это подвергалось общей обработке.

«Виктор Крылов переделывает Гамлета на русские нравы!», «Театральные барышники получают билеты из касс театров!», «Два Ильинских обывателя собираются совершить воздухоплавание через трубу!», «Фунт крестовниковских свечей равняется 91 золотнику!»

Целая страница рецензий с массой карикатур давалась на исполнение новых пьес во всех театрах — всегда зло и остроумно.

Удивительные были эти наши заседания, на которых люди перерождались.

Важные, недоступные в своих редакциях и на местах службы — здесь они были просты, остроумны и веселы, там «важничали глупо», а здесь «дурачились умно».

У всех главной была одна мысль: как бы подвести цензора. Особенно это удавалось М. М. Чемоданову, делавшему для цензуры наброски карандашом неоконченными, а потом, уже на подписанном цензором листе, он делал два-три штриха, и появлялся или портрет известного деятеля, или такая поза у какого-нибудь начальствующего лица, что оно выходило в смешном виде.

Как-то раз М. М. Чемоданов принес рисунок на первую страницу: у ворот дома на скамейке, освещенный керосиновым фонарем (тогда так освещалась вся Москва), спит и сладко улыбается дворник. Мы все расхохотались: живой портрет императора Александра Третьего!

— Это для друзей, а вот это для цензуры!

Показывает другой такой же оригинал, сделанный также пером: совсем другое лицо, а все остальное, как у первого.

Затем на втором рисунке делает два-три штриха карандашом, и опять выходит Александр Третий.

Начинается придумывание подписи. Под рисунком один из нас написал:

Покорный своей незатейливой доле,
Дворник сидит и спит.
И снится ему: на российском престоле
Такой же безграмотный дворник сидит.

— Это для друзей. Надо придумать для цензуры!

В дикий восторг пришел В. В. Давыдов, выпросил у М. М. Чемоданова рисунок и долго носился с ним, показывая направо и налево. Четверостишие ходило по Москве. К другому оригиналу я написал какие-то восемь строк насчет сна бедняка, которому грезится во сне сытый богач.

Стихи напечатаны были потом в «Осколках», но дворник «не пошел»: как раз накануне был получен циркуляр доставлять цензору карикатуры и рисунки не в оригинале, а в оттисках.

Мы озорничали и радовались, как дети, а Антон Павлович Чехов, наш главный сотрудник, писавший под разными псевдонимами, веселился больше всех.

После заседаний некоторые шли через бульвар в трактир к Саврасенкову, так как В. В. Давыдов,—убежденный трезвенник, — в редакции, кроме чаю, ничего не допускал. Только один раз это правило было нарушено.

Мы сидели за своей обычной четверговой работой. Вдруг вваливается, прихрамывая и улыбаясь своей огромной нижней губой, актер В. Н. Андреев-Бурлак.

— Четверговую соль готовите?

— А, Василий Николаевич, наконец-то! — вскочил встречать его В. В. Давыдов.

— Принес что-нибудь?

— Да я же тебе вчера слово дал!

Василий Николаевич Андреев-Бурлак был не менее талантливым рассказчиком и писателем, чем актером.

В это время была в моде его книжка рассказов «На Волге», а в «Русской мысли» незадолго перед этим имел большой, заслуженный успех его прекрасный художественный рассказ «За отца» на сюжет побега из крепости политического заключенного.

— На, получай! — и подает одной рукой тетрадку В. В. Давыдову, а другой, вынув из кармана бутылку коньяку, ставит на стол.

— Для вдохновения! Хлеб на столе, соль своя!

В. В. Давыдов даже не поморщился; откупорили бутылку и налили коньяку в стаканы зеленого стекла, а Василий Николаевич в это время, по общей просьбе, стал читать принесенный им рассказ, который назывался «Как мы чумели». Его напечатали в «Зрителе», а потом осмеянная особа, кажется, генерал Лорис-Меликов, укрощавший чуму в Ветлянке, где-то около Астрахани, обиделся, и из Петербурга пришел нагоняй московскому цензурному комитету за пропущенный рассказ.

Освирепела цензура, которая к тому же узнала, что Лилин — это псевдоним М. М. Чемоданова, и довела до того, что «Зритель», единственный сатирический журнал всей той эпохи, был окончательно обескровлен, а В. В. Давыдов со своей цинкографией перешел в «Московский листок».

«БУДИЛЬНИК»

«Будильник» около полувека веселил Москву, и никто из нас, веселых сотрудников тогда веселого журнала, не знал глубокой трагедии, заложенной в основании этого самого распространенного в восьмидесятых годах юмористического органа.

В те времена и читатели и сотрудники мало интересовались, кем был основан журнал и при каких условиях.

Сотрудники жили настоящим днем, не заглядывая в прошлое: приходили со статьями, за гонораром, собирались составлять номера по субботам, видели тех, кто перед глазами, а в прошлое не заглядывали.

Кое-кто знал, правда, что основатель московского «Будильника» был художник и писатель А. П. Сухов, и этим ограничивались, не вникая в подробности его биографии, а человек это был интереснейший.

А. П. Сухов был сыном касимовского крестьянина, умершего в 1848 году от холеры. Похоронив мужа, вдова Сухова пришла со своим десятилетним мальчиком из деревни в Москву и поступила работницей в купеческую семью, а сына отдала к живописцу вывесок в ученье, где он и прожил горьких девять лет: его часто били, много и за все.

В эти годы А. П. Сухов самоучкой выучился писать и читать и самоучкой начал потихоньку от хозяина ри-

совать. Отслужив условленные года у хозяина, он перешел уже мастером к богомазу и принялся писать образа.

Еще восемь лет прожил он у богомаза, усиленно в это время читая все, что попадалось под руку, и рисуя. Но то и другое шло без всякой системы.

Его мать перешла работать в семью одного профессора Московского университета, с которым А. П. Сухов, посещая по праздникам свою мать, встречался.

Однажды он показал профессору свои рисунки и несколько тетрадок с написанными им рассказами и сценками из рабочего быта.

Профессор, заметив способности А. П. Сухова, посоветовал ему более серьезно и систематически заняться самообразованием.

А. П. Сухов, которому к этому времени исполнилось двадцать шесть лет, оставил богомаза, нанял комнатку за три рубля в месяц на Козихе и принялся за работу. Читал, учился по вечерам, начав с грамматики, а днем писал образа по заказу купцов.

Профессор дал ему рекомендацию в журнал «Развлечение», где его приняли, и стали печатать его карикатуры, а потом рассказы и повести под псевдонимом «Железная маска».

Через несколько лет вышла отдельная книга А. П. Сухова «Типы темного царства», из жизни замоскворецкого купечества, которую он прекрасно изучил благодаря своей профессии богомаза.

В 1872 году А. П. Сухов завел небольшую типографию-литографию и решил издавать свой журнал.

Рязанскому мужику, конечно, такого разрешения тогда не дали, но упорный и настойчивый А. П. Сухов все-таки добился своего: он купил существовавший в Петербурге, но уже год не издававшийся журнал «Будильник». А. П. Сухов, приобретя право на издание, перенес журнал в Москву и влез в неоплатные долги: хлопоты очень дорого стоили.

Смелый и интересный журнал сразу получил в Москве большой успех и прекрасно начал расходиться в розницу, но вскоре проштрафился перед цензурой, и розничная продажа была запрещена.

Кредиторы насели, и он в конце концов принужден

был уступить свое издание, сохранив за собой права постоянного сотрудничества.

В это время с ним случилась беда, окончательно добившая этого талантливого самородка-крестьянина.

А. П. Сухов был арестован в своей квартире и посажен в острог за растрату денег, якобы собранных в пользу голодающих самарцев; на самом же деле ничего подобного не было, растрата не подтвердилась, и А. П. Сухов, просидевший около года, был выпущен из тюрьмы.

Оказалось, что А. П. Сухов издал в пользу голодающих благотворительный номер «Будильника» и весь чистый барыш его отослал по назначению, но с него комитет помощи голодающим начал требовать и деньги, затраченные им на издание этого номера.

Впоследствии комитет извинился в неправильном иске, вызвавшем арест, но незаслуженный позор и тюремное заключение отозвались на здоровье А. П. Сухова: он зачах и через семь месяцев по освобождении, в 1875 году, скончался в одиночестве в своей бедной комнатке на Козихе среди начатых рукописей и неоконченных рисунков, утешаясь только одной радостью, что его мать умерла во время славы своего сына.

* * *

Я застал «Будильник» во время его расцвета. Издательницей была Л. Н. Уткина, а редактором — Н. П. Кичеев. Серьезная беллетристика, лирические стихотворения, юмористика и сатира, насколько они были возможны после первого марта 1881 года, чередовались в журнале.

Я напечатал там свое стихотворение «Волга», проскочившее как-то случайно по цензурным условиям того времени.

Разина Стеньки товарищи славные
Волгой владели до моря Хвалынского...

Такие строчки тогда не любили, и самое имя Стеньки Разина вычеркивалось московской цензурой.

Я вошел в состав редакции, хотя работал и в конкурирующих изданиях: петербургских «Осколках», «Москве», «Волне», «Зрителе» и «Развлечении».

После Л. Н. Уткиной, потратившей все свои средства на издание, оно перешло к Арнольди. Редакторами были Н. П. Кичеев и Ал. Дм. Курепин.

В это время редакция «Будильника» помещалась на углу Тверской и Гнездниковского переулка в доме Самуила Малкиеля, прославившегося поставкой бумажных подошв для солдатских сапог во время турецкой войны 1877 года.

В этом же доме был и пушкинский театр А. А. Бренко, и типография журнала, которую содержал присяжный поверенный, родственник Малкиеля.

Интересна была тогда редакция. Такие редакционные «четверги» были еще только в «Зрителе».

Субботы в редакции были сборными днями: получали гонорар, сдавали и обсуждали всей компанией материал на следующий номер, а постоянный художник и карикатурист редакции Д. Н. Чичагов сидел обыкновенно молча в углу и делал зарисовки.

В моем архиве сохранилась такая субботняя зарисовка, сделанная с натуры и впоследствии напечатанная в юбилейном номере «Будильника» под названием: «Редакционный день «Будильника».

За столом сидят: Арнольди, Курепин, Кичеев, новый издатель Левинский; стоят: Ан. Чехов, Амфитеатров, Пассек, Сергеенко, а входящим в дверь изображен я, в высоких сапогах и с рукописью в руках.

В. М. Дорошевич тогда еще не работал, он пришел позднее.

В первое время, когда «Будильник» перешел к чиновнику В. Д. Левинскому, который забрал в свои руки дело и начал вымарщивать копейки, сведя гонорар до минимума и посылая агентов собирать объявления для журнала, еще держались старые редакционные традиции: были веселые «субботы» сотрудников.

Вспоминаются строки, написанные об этих собраниях В. М. Дорошевичем:

«Рассказы в этом журнале писал Антоша Чехонте и по субботам, в редакционный день, гудел баском:

— Вот буду знаменитостью, — стану брать по 15 копеек за строчку.

Огромный А. В. Амфитеатров пишет пародии — гомерический хохот стоит в редакции, когда их читают.

Бен-Иохаи поет у него — в пародии на «Уриэля Акосту», оперу Серова:

Я евреям донесу,
Донесу!
Жрет Акоста колбасу,
Колбасу!

П. А. Сергеенко — тот, что теперь вкушает только репу, говорит:

— Милые, ведь ей не больно! — и подписывается... сказать страшно: Эмиль Пуп.

Как буря, влетает в крохотную редакцию Гиляй — В. А. Гиляровский, — схватывает стул, на котором сидит сотрудник, поднимает его выше головы и относит в другой угол:

— Не беспокойся, я тебя опять на место поставлю! — и сыплет под общий хохот экспромтами.

— До чего вы только доболтаетесь! — машет рукой А. Д. Курепин — самый корректный, самый интеллигентный из редакторов в мире, мягкой, любезной рукой сдерживающий всю эту молодую, веселую, смешливую ватагу, готовую поднять насмех кого угодно, что угодно.

А милый В. Д. Левинский говорит, возвращая «рукопись» для переделки:

— Батька, длинно!

— Владимир Дмитриевич!!! Всего четыре строки!

— Добрый мой, эту мысль можно в трех строках уложить. Сократите!

Какая школа!

И среди этой молодой, жизнерадостной компании — Пассек; у него был настоящий юмор — способность смешить не улыбаясь».

Редактировать В. Д. Левинский стал сам — и все талантливое ушло. Журнал стал бесцветен, и только выручал розницу яркими обложками художник Ив. Ив. Кланг, милейший человек.

Еще работал очень долго в «Будильнике» художник А. Левитан, брат знаменитого И. И. Левитана.

В. Д. Левинский пробовал по-старому устраивать «субботы», но они уже были не те.

— Не-ет, дорогой, это нельзя, я не поставлю, — цедит сквозь зубы В. Д. Левинский.

— Ведь цензура же разрешила!

— Да, но кроме цензуры надо еще знать многое. По цензуре оно цензурно, а кое-кого задеваете! Кого?

— Ну, банкира Полякова, Лазаря Соломоновича.

— Вот то-то! А он принят у его сиятельства князя Владимира Андреевича. Что же тогда мне будет, если он пожалуется князю?

Как-то В. Д. Левинский вынул из пачки материала, приготовленного к приему, стихотворение и стал читать:

МУЗЫКАНТУ САШЕ

Саша, юный музыкант,
На тромбоне трубит,
Его барственный талант
Ноту «ре» не любит.
Чуть ему кто поднесет
Новую реформу,
«Ре» он мигом зачеркнет
И оставит «форму».

— Кто это «музыкант Саша»? А стихи ничего себе, звучные! — улыбнулся В. Д. Левинский. Он всегда говорил как-то не открывая рта. — Автор подписался псевдонимом «Я». Ни фамилии, ни адреса. Кто это такой, музыкант Саша? А стишок недурной!

— Да и гонорар не платить. Ведь это восемь гривен вам в карман, — подпускает И. И. Кланг.

В. Д. Левинский довел гонорар до гривенника за строку стихотворения.

— Н-да! Но вдруг оно уже было напечатано, вдруг Саша очень известное лицо?

Наконец присутствовавшие не выдержали, расхохотались, и кто-то сказал:

— Неужели вы, Владимир Дмитриевич, не знаете Сашу, который играет на тромбоне?

— Не знаю! Мало ли таких!

— Только один такой. Какой Саша дает «формы» вместо «реформы», тот и на тромбоне играет: Александр Третий.

— Ах, скотина! — взвыл В. Д. Левинский, покраснел и начал рвать стихи...

— Саша-то скотина? Это о государе императоре вы так?

В. Д. Левинский побледнел, вскочил и замахал руками:

— Что вы! Что вы! Кто прислал стих, вот я про кого!

Кончилось общим хохотом, в котором только не участвовал все еще бледный и дрожащий В. Д. Левинский.

Стихотворение это было довольно известное в наших кружках. Кто-нибудь прислал его В. Д. Левинскому, слегка изменив. На самом деле оно таково:

Царь наш, юный музыкант
На тромбоне трубит,
Его царственный талант
Ноту «ре» не любит.
Чуть министр преподнесет
Новую реформу,
«Ре» он мигом зачеркнет
И оставит «форму».

Стихи ходили по Москве. Кто их прислал в редакцию, так и осталось неизвестным. Я больше не бывал в «Будильнике» — уж очень он стал елейно юмористический.

«РАЗВЛЕЧЕНИЕ»

«Журнал литературно-юмористически-карикатурный». Его основал Ф. Б. Миллер в 1859 году.

Я помню его с семидесятых годов, когда он жестоко пробирал московское купечество, и даже на первой полосе, в заголовке, в эти годы печатался типичный купец в цилиндре на правое ухо и сапогах бураками, разбивавший в зале ресторана бутылкой зеркало.

Это был портрет известного богача: кругом пьяная публика, тоже портреты, а перед купцом, согнувшись в три погибели, волосатый человек в сюртуке, из заднего кармана которого торчит полуштоф водки.

Купец был М. А. Хлудов, а волосатый — Н. И. Пастухов. Автор этого рисунка, впоследствии мой большой приятель, Лавр Лаврович Белянкин, неподкупно честный человек, но «злой на перо», сотрудник «Развлечения» с начала издания, известный художник-миниатюрист с четким рисунком, умевший схватывать типичные черты оригинала и живо передававший сходство лиц. Он одевался по моде, нюхал «головкинский» дорогой табак из золотой табакерки времен Людовика XVI и жил в своем доме на Мещанской, недалеко от Сухаревки, на которую ходил каждое воскресение, коллекционируя миниатюры и рисунки. Он работал в «Развлечении» постоянно, но давал только то, что сам хотел, и никакой критики и замечаний редактора не выносил:

— Не хочешь — не надо! Наплевать мне на твой журналишко и на тебя! — скажет, возьмет рисунок и уйдет, а через неделю приходит и встречается редактором как желанный и ожидаемый.

Если ему и давали тему — он исполнял только ту, которая ему по душе. Карикатурист 60-х годов, он был напитан тогдашним духом обличения и был беспощаден, но строго лоялен в цензурном отношении: никогда не шел против властей и не вышучивал начальство выше городового. Но зато уж и тешил свое обличающее сердце, — именно сердце, а не ум, — насчет тех, над которыми цензурой глумиться не воспрещалось, и раскрыть подноготную самодура-купца или редактора газеты считал для себя великим удовольствием.

Л. Л. Белянкин был старейший карикатурист, которого я знал и с которым вместе работал немалое время в юмористических журналах.

Кроме Л. Л. Белянкина, я был знаком еще с писателем Даниловым, работавшим в «Развлечении» тоже с 1859 г., с самого основания журнала.

В 1859 году он был сослан на Кавказ рядовым, но потом возвращен за отличия в делах с горцами. Выслан он был за стихи, которые прочел на какой-то студенческой тайной вечеринке, а потом принес их в «Развлечение»; редактор, не посмотрев, сдал их в набор и в гранках послал к цензору. Последний переслал их в цензурный комитет, а тот к жандармскому генералу, и в результате перед последним предстал редактор «Развлечения» Ф. Б. Миллер. Потребовали и автора к жандарму. На столе лежала гранка со следующими стихами:

Тятька! Эвося народу
Собралось у кабака!
Все гуторят про свободу...
Тятька, кто она така?
— Замолчи! Пущай гуторют,
Наше дело сторона...
Как возьмут тебя да вспорют,
Так узнаешь, кто она!

Волинадо.

Так и было подписано — Волинадо.

Генерал отпустил Ф. Б. Миллера, узнав, что он не

видел рукописи, и напустился на автора. Показал ему читанные им на вечеринке стихи, а главное, набросился на подпись:

— Так тебе воли надо! Я тебе такую волю покажу! На Кавказ! Без выслуги! В рядовые! Ты понимаешь всю язву подписи? «Воли надо»!

— Помилуйте, ваше превосходительство, да ведь это моя фамилия. Да и стихи не мои... их все знают[1].

— Твоя фамилия Данилов... Вот и справка из полиции.

А прочтите наоборот: Данилов—и выходит Волинадо!

Тем не менее Данилова сослали. Стихотворение потом было где-то напечатано, а Данилов после крестьянской реформы 1861 года вернулся с Кавказа и стал писать под псевдонимом Волинадо. Историю происхождения этого псевдонима я слышал от И. А. Вашкова, многолетнего фактического редактора «Развлечения» при Ф. Б. Миллере и его наследниках, и главного, а иногда и единственного сотрудника этого журнала, наполнявшего за отсутствием материала — денег не было — весь журнал: и рассказ, и мелочи, и стихи, и куплеты, и злободневный фельетон. Он подписывался «Мичман Жевакин».

Рисунки и карикатуры для журнала художники выполняли за грошовую оплату, а Л. Л. Белянкин так иногда и совсем бесплатно работал из любви к изданию.

После подписки, когда появлялись деньги, появлялись и сотрудники. Такое же тяжелое положение журнала было после смерти Ф. Б. Миллера, а в 1881 году наследники продали журнал кому-то, а затем он перешел к Александру Викторовичу Насонову.

А. В. Насонов — человек состоятельный, имел крупный пост на какой-то железной дороге. Первые годы он не занимался журналом; его по-прежнему, как и при Ф. Б. Миллере, вел И. А. Вашков, а с 1883 года им занялся сам А. В. Насонов. Его редакторство было расцветом журнала. В переходное время, когда И. А. Вашков ушел в «Московский листок», редактировал журнал

---

[1] Это стихи Шумахера. Они долго ходили по рукам, потом уже появились в «Искре». (*Прим. автора.*)

П. И. Кичеев. Он выпустил несколько номеров со злейшими карикатурами Л. Л. Белянкина. Тому и другому пришлось оставить сотрудничество после следующего случая: П. И. Кичеев встретил в театре репортера «Русского курьера», которому он не раз давал сведения для газеты, и рассказал ему, что сегодня лопнул самый большой колокол в Страстном монастыре, но это стараются скрыть, и второе, что вчера на Бронной у модистки родились близнецы, сросшиеся между собою спинами, мальчик и девочка, и оба живы-здоровы, и врачи определили, что они будут жить. Репортер, поверивший старому литератору, напечатал то и другое известие в воскресном номере своей газеты.

А через три дня, в четверг, в «Развлечении» появились во весь лист карикатуры: лопнувший колокол, а рядом два близнеца с лицом Н. П. Ланина, редактора «Русского курьера», а далее сам Н. П. Ланин сидит в ванне с надписью «ланинское шампанское» и из ванны вылетает стая уток, и тут же издатель «Новостей дня» А. Я. Липскеров ловит этих уток.

Портреты того и другого, сделанные Л. Л. Белянкиным, были великолепны. После этого «происшествия» редактировать «Развлечение» стал сам А. В. Насонов, а карикатуры исполнялись Н. И. Богдановым, А. И. Лебедевым, М. Е. Малышевым, С. А. Любовниковым и Эрбером.

У А. В. Насонова по субботам за чаем собирались сотрудники, весело беседовали, придумывали темы для карикатур и разные мелочи и тут же получали гонорар. Сказал остроумную мелочь, приняли присутствовавшие — получай наличными!

Я иногда по 3 рубля зарабатывал за четверостишия на заданную тему, по 25 копеек за строку стихов; это тогда считалось крупной платой — обыкновенно за стихи платили 10 или 15 копеек. Это было в 1884 и 1885 годы.

В это время в «Развлечении» печатал много своих рассказов расправлявший могучие крылья А. П. Чехов. Присылали в журнал свои повести и рассказы маститый поэт А. Н. Плещеев, С. Н. Терпигорев (Атава), Н. Н. Златовратский, драматург П. М. Невежин, со-

трудничали в нем Д. Д. Минаев, Вас. И. Немирович-Данченко, А. Грузинский (Лазарев), А. И. Пальмин и др.

К А. В. Насонову шли все охотно. Музыкальным отделом заведовал старый профессор Московской консерватории, композитор А. И. Дюбюк, выпускавший ежемесячным бесплатным приложением музыкальные пьесы.

К концу 1885 года дела А. В. Насонова пошатнулись, на издание не стало хватать средств, пришлось передать журнал, который и приобрел некто Щербов, человек совершенно никому не известный и чуждый литературе.

А. В. Насонов отдал ему издание за долги, но первое время был редактором, а с 1886 года появилась подпись одного Щербова. Узнав это, все лучшие сотрудники ушли, из художников остался один А. И. Лебедев, снова явился из «Будильника» Л. Л. Белянкин, после чего Щербов издательствовал недолго.

Совершенно неожиданно «Развлечение» перешло в собственность Ивану Андреевичу Морозову, книжнику-лубочнику с Никольской, издававшему копеечные листовки и разные «страшные» повести или романы известных писателей, но под другими названиями, а то и под теми же, но авторы были другие.

Главным сотрудником, по существу редактором, так как сам был полуграмотным, Морозов пригласил А. М. Пазухина, автора романов и повестей, годами печатавшихся непрерывно в «Московском листке» по средам и пятницам. И в эти дни газетчики для розницы брали всегда больше номеров и говорили:

— Как же-с, по постным дням фельетоны Алексея Михайловича!

А. М. Пазухин имел большой успех у читателей этой газеты.

Сотня романов, написанных А. М. Пазухиным, самых сердцещипательных, бытовых романов всегда с благополучным концом невольно заставляла любить добряка-автора. Романы эти по напечатании в «Листке» покупались очень задешево приложениями к журналам вроде «Родины» и разными издателями и распространялись среди простого читателя.

В числе издателей романов А. М. Пазухина был и книжник Морозов.

Как-то Морозов вызвал А. М. Пазухина в трактир на Лубянской площади, где он обыкновенно за чайком вершил все свои дела, и говорит:

— Алексей Михайлович, ко мне набиваются с товарцем, журналишко предлагают — «Развлечение»! Как ты думаешь, справимся? Я на тебя рассчитываю!

— Да ведь его Щербов, человек богатый, издает.

— Надоел он ему. Задарма отдает, только подписчиков за два месяца удовлетворить, с 1 ноября. Только гляди чтоб дешево, дорогих сотрудников не надо. Вот Кузьмича возьми. Он и недорог и писуч! Роман ему огулом за сотню на полгода закажем. Идет?

— Ладно, бери!

И стал Морозов издавать «Развлечение». Полномера напишет сам А. М. Пазухин, а другую половину Иван Кузьмич Кондратьев, автор ряда исторических романов. Стихи, мелочи и карикатуры тоже получались по дешевой цене или переделывались из старых.

Недолго издательствовал Морозов — выгоды было мало. Ему гораздо больше давали его лубки, оракулы, поминанья и ходовые «Францыли Венецианы», да и «Битва русских с кабардинцами». Нашелся покупатель, и он продал журнал. «Развлечение» перешло к Николаю Никитичу Соедову, агенту по продаже и залогу домов при Московском кредитном обществе.

Н. Н. Соедов, имевший в Москве обширное знакомство, друживший с литераторами и артистами, хлебосол и душа общества, оказался талантливым издателем. Дело у Н. Н. Соедова пошло недурно. Появились хорошие сотрудники, привлеченные хлебосольством хозяина. На квартире у него стали устраиваться еженедельно деловые вечеринки, начинавшиеся обсуждением тем и заканчивавшиеся веселым ужином.

Памятна мне вечеринка перед днем пятидесятилетия журнала, где обсуждался выпуск большого юбилейного номера. На нем Федор Иванович Шаляпин, еще начинавший только что свою карьеру, восхищал всех своим молодым голосом и в первый раз в Москве на этой вечеринке спел «Дубинушку», а мы хором подпевали.

Особенно восторгался пением очень молчаливый и замкнутый художник Сергей Васильевич Иванов и тут же пообещал дать рисунок для юбилейного номера, а когда я прочел свою поэму «Стенька Разин» — Сергей Васильевич заявил:

— Я дам Стеньку Разина!

Через несколько дней С. В. Иванов принес большую акварель, изображающую Волгу под Жигулями и разбойничью ватагу в лодке под парусом. Подписал под ней: «Стеньки Разина ладья».

Цензура, пропустив картину, сделанную во всю страницу красками, изменила подпись, заставив напечатать: «Понизовая вольница».

Картина С. В. Иванова была украшением этого прекрасного, изданного на великолепной бумаге объемистого номера, где были помещены портреты всех сотрудников журнала, во главе которых стоял первый издатель Ф. Б. Миллер. Интересно, что в этом номере были стихи Ф. И. Шаляпина, кажется, никогда до этого не писавшего стихов.

Журнал шел без убытка, но коммерческие дела Н. Н. Соедова как-то запутались, и ему пришлось продать журнал. В это время этот ловкий делец и нашел Н. И. Пастухова, которого — все дивились — сумел уговорить приобрести у него издание.

Н. И. Пастухов купил «Развлечение», сделал его — совсем неожиданно для всех — бесплатным приложением к «Московскому листку» и через год, потратив для этого большие деньги, также неожиданно прекратил этот старейший в Москве юмористический журнал, в котором полвека его ругали и высмеивали в тексте и карикатурах.

«РУССКИЙ ЛИСТОК»

...Хлебник немец аккуратный
В бумажном колпаке не раз
Уж отворял свой васисдас.

Как только вспомню эти строки, так сейчас же приходит на ум солидный, чистенький-чистенький немец с брюшком, в цветном жилете с золотой цепью, блондин, с вьющеюся бородой, гладко причесанный, с большими серыми глазами, которыми как-то особо убедительно он всегда смотрел в глаза собеседника.

По наружности с него художнику рисовать бы Гамбринуса в молодости, а по чисто русскому купеческому говору — Н. А. Лейкину писать одного из героев его книжки «Наши за границей».

У него одно время на Петровке была контора по продаже имений и домов — и когда он уставится на покупателя своими убедительными, честными немецкими глазами, так тот не уйдет из конторы, не продав или не купив то, что ему Владимир Эмильевич Миллер предложит.

Никому, всегда всем довольный, он не завидовал, да как-то один из клиентов конторы посоветовал ему открыть при конторе свою газету как рекламу делу.

— Сколько вы деньжищ за рекламу своей конторы переплатите в газеты, а тут своя будет: каждый день печатай даром!

— Я ведь только в двух газетах печатаю объявления о продаже и покупке: в «Московском листке» и «Новостях дня».

— У кого печатаете? У бывшего кабатчика, безграмотного Пастухова, и у московского цехового мещанина из евреев Липскерова? Уж если у них дело пошло, как же у вас не пойдет! Открывайте газету, всех забьете!

И в первый раз в жизни отвел В. Э. Миллер от глаз собеседника свои убедительные глаза и не сказал ни да, ни нет.

А мысль иметь свою газету, главное, чтоб рекламировать свое дело, засела прочно в упорной немецкой голове.

Целый год ходил, думал, рассчитывал, рисовал себя владельцем и редактором газеты, в которой он будет на полстранице перечислять все дома и имения, порученные его конторе для продажи, — и от покупателей отбою не будет.

— Нет, надо свою газету, деньги есть на первое время, а там... О! Но, конечно, надо не сразу, а исподволь!

Ходил в старину рассказ о немце, которому подарили щенка-фоксика и сказали, что ему надо обязательно хвост обрубить. Осмотрел владелец фоксика хвост — и стало ему жаль его рубить в указанном месте, уж очень больно будет. Надо не сразу, исподволь, с тонкого конца. И отрубил самый тонкий сустав на конце хвоста, а там привыкай, и до толстого дойдем исподволь.

Не говоря никому ни слова, В. Э. Миллер выхлопотал для развития своего коммерческого дела разрешение издавать два раза в неделю «Русский справочный листок» с куцей программой.

Фактическим редактором газеты был старый литератор, милый человек, Пятницкий, у которого при массе достоинств был один недостаток: пьян с утра!

В буфете театра Корша я увидел Пятницкого, который с молодым Гамбринусом пил пиво, и тут при первом взгляде на новоиспеченного редактора вспомнились мне пушкинские строки, а на другой день я полюбопытствовал посмотреть и открытый им «васисдас», в котором я и прочитал рассказ о немце и щенке в отделе хозяйственных сведений.

Убогая была газетка, но В. Э. Миллер знал, что делал. В продолжение трех лет два раза в год он ездил в Петербург в главное управление по делам печати, уставляя свои убедительные глаза на управляющего, всучивал ему прошение с просьбой добавки в программу то театрального отдела, то справочного, то беседы с читателями, и так исподволь довел «Русский справочный листок» до ежедневной газеты с довольно широкой программой и наконец в заключение всего явился опять к главному управляющему по делам печати, уставил на него невинные убедительные глаза и сказал:

— Ваше превосходительство, до сих пор я просил вас о расширении программы, а теперь буду просить о сокращении!

А сам держит наготове прошение и убедительно в генеральские глаза смотрит и читает в них недоумение, вызванное неслыханной доселе в стенах этого здания просьбой.

— Как? Как? О сокращении?

— Так точно... изволите ли видеть, ваше превосходительство, газета называется «Русский справочный листок», уж очень и в типографском отношении некрасиво, и вид заголовка пропадает, вычеркнуть бы его.

— Ха-ха-ха! И только?

На другой день с новым заголовком в сумках газетчиков лежал «Русский листок».

И все-таки газетка была убогая.

Встретил я как-то в ресторане «Палермо» в Рахмановском переулке Пятницкого вполпьяна.

— Ну, как «Русский листок»?

Пятницкий, не отрывая от кружки с пивом рта, неодобрительно мотал головой.

— А все-таки Миллер молодец — исподволь от «Листка объявлений» добился газеты!

Пятницкий, допивая остатки пива, одобрительно качнул головой, поставил кружку и вытер бороду и усы.

— Сделал он все так же, как тот немец, который исподволь фоксу хвост рубил.

— Ты почему знаешь?

— Как почему? Да газету купил тогда и прочитал!

— А не Пазухин тебе сказал?

— Нет, не Пазухин! Своими глазами в «Русском справочном листке» в хозяйственном отделе прочитал.

— Значит, подлецы, выкрали!

За следующими кружками пива выяснилось дело. А. М. Пазухин, который под псевдонимами потихоньку от Н. И. Пастухова давал сценки в газету В. Э. Миллера, дал и эту мелочь. Она прошла вместе с другими.

Газета печаталась в количестве одной тысячи днем по средам и субботам, а газетчикам раздавалась по четвергам и воскресеньям.

— В субботу, выпустив номер, — рассказал Пятницкий, — я пошел сюда, в «Палермо» (редакция была почти рядом, на Петровке). Сижу за пивом, вдруг вбегает взбешенный Миллер — глаза сверкают, губы дрожат, в руках газета. Сел со мной, больше никого в комнате этой не было, положил передо мной газету, левой рукой тычет в нос, а правой вцепился мне в плечо и шепчет, точь-в-точь как Отелло Дездемоне:

— Платок! Платок!

— Это что? Эт-то что?

Читаю о немце и фоксике.

— Ну что же — вполне цензурно!

— Да ведь это же насмешка надо мной! Кто дал?

— Пазухин!

— Я ему, хромому, другую ногу перешибу!

А потом тихо:

— Набор цел? Не разобрал еще?

— Не успели...

— Так идите в типографию и вместо этого пошлого анекдота поместите какое-нибудь объявление о продаже дома и перепечатайте... тысячу номеров, а те сожжем...

Я слушал и хохотал.

— Да, вот тебе смешно, а я чуть места не лишился, а Пазухин здесь тоже ни при чем, он этот анекдот стибрил из старинного «Развлечения»!

* *
*

«Русский листок» шел плохо, но В. Э. Миллер не унывал. Сотрудники получше к нему не шли, компаньонов не находилось, а он, веселый и энергичный, крутился

волчком, должал в типографиях, на каждый номер добывал бумаги, иногда в долг, реже на наличные, а все-таки верил в успех, аккуратно выпускал газету и наконец стал искать компаньона.

— Завязнешь ты в этом болоте! — сказал ему оптовик-газетчик П. И. Ласточкин, которого он звал в компаньоны.

— Было бы болото, а черти будут! — смеялся в ответ В. Э. Миллер.

— Цензуру сними, — посоветовал в ответ Ласточкин.

Газета была еще подцензурная, что очень влияло на свежесть известий, которые появлялись позднее, вследствие того что гранки не успевали иногда вернуться от цензора.

В. Э. Миллер опять появился в Петербурге в главном управлении по делам печати и устремил свои убедительные глаза на главноуправляющего Соловьева, который не отказал Миллеру в его просьбе, но сказал:

— Разрешу при одном условии — если редактором вы возьмете К. П. Цветкова.

В. Э. Миллер, знавший К. П. Цветкова как издателя детского журнала «Малютка» и сотрудника «Московских ведомостей», согласился, и под газетой, уже «без предварительной цензуры», появилась надпись: «Издатель — В. Э. Миллер, редактор — К. П. Цветков».

Бесцензурная газета подняла престиж В. Э. Миллера, и богатый оптовый торговец бумагой П. М. Генцель открыл ему кредит, а через год, в 1897 году, когда долг В. Э. Миллера возрос до крупной суммы, и сам вошел в компаньоны. Появилась под газетой подпись: издатели В. Э. Миллер и П. М. Генцель. Это был троянский конь!

В. Э. Миллер окончательно запутался в долгах, и в 1898 году подписи В. Э. Миллера под газетой уже не было, а издателем подписывался Н. Л. Казецкий, юрисконсульт фирмы П. М. Генцеля, потом исчезла подпись редактора К. П. Цветкова, и с 34-го номера 1899 года под «Русским листком» стояло: редактор-издатель Н. Л. Казецкий. Газета полностью перешла к нему.

Ожило дело. Н. Л. Казецкий всю свою энергию вло-

жил в газету и привлек сотрудников, чтобы дать издание, как он говорил, на «американский образец».

Самому Н. Л. Казецкому, как гласному Городской думы, занятому помимо судейских дел и общественными делами, заниматься газетой было некогда, и он доверялся фактическим редакторам.

Одним из первых появился М. М. Гаккебуш, не брезговавший никакими средствами, чтобы поднять розницу и заставить москвича читать «Русский листок».

Сенсации придумывались, сплетни печатались, и газета явилась в Москве первой представительницей желтой прессы.

Разухабисто вел в ней театральные отчеты Ф. Д. Гридини, явился из Одессы некий Редер, к характеристике деятельности которого можно сказать, что впоследствии он был выслан из Москвы за газетные шантажи.

Менялись редакторы — менялось лицо газеты. При А. П. Ландберге она стала приличной, в ней появились фельетоны-романы, излюбленные Москвой.

Из числа романистов печатались: Северцов-Полилов, Андрей Осипов, Назарьева, Д. С. Дмитриев. Родион Менделевич (Меч) ежедневно пересыпал газету звучными юмористическими стихами. Из злободневных фельетонистов имел большой успех Н. Г. Шебуев, который, окончивши университет, перешел в «Русский листок» из «Новостей дня» и стал писать передовые статьи и фельетоны, для которых брал судебные отчеты и делал из этих отчетов беллетристические бытовые сценки, очень живо написанные.

Н. Г. Шебуев в это время служил помощником судебного следователя при окружном суде и заведовал районом преступной Грачевки, откуда и брал сенсационный материал. Он первый ввел этот жанр в газеты.

Вскоре Н. Г. Шебуев бросил службу и окончательно перешел в литературу. Здесь начал свою работу Александр Петрович Волков, ставший впоследствии одним из лучших репортеров.

Время от времени отрываясь от судебных и общественных дел, сам Н. Л. Казецкий становился во главе газеты — и в редакции гремел гром и сверкали молнии.

Уж очень Н. Л. Казецкий был шумен, иногда резок, но его все любили—и сотрудники, и мелкие служащие, и обширная типография. Несмотря на свою грубость и несдержанность, он был очень отзывчив, входил в нужды своих сотрудников и широкой рукой помогал им без отказа в тяжелые минуты жизни. Таких редакторов было только два: он и Н. И. Пастухов.

Московские литераторы, не работавшие в «Русском листке», не любили его за резкость и выступления на разных собраниях, и только из-за этого все его предложения вызывали шумные споры и в конце концов их проваливали, как бы они целесообразны ни были.

На подготовительных заседаниях представителей печати по поводу предстоящего какого-то юбилея он предложил создать в память этого праздника убежище для престарелых журналистов на средства от оплаты всех перепечаток вплоть до репортерских заметок.

Сумма получилась очень большая, но это, конечно, невыгодно было издателям газет. На Н. Л. Казецкого набросились, проект провалили, а он, быстро уходя, рявкнул на весь зал:

— Не стоило метать бисер перед свиньями! Тьфу!

Собрание проводило его улюлюканьем и свистом. Впоследствии Н. Л. Казецкий переменил название своей газеты, она стала называться «Раннее утро» и шла хорошо в розницу.

«КУРЬЕР»

Социал-демократическая «Искра» как-то отозвалась, что московский «Курьер» «кокетничает с марксизмом девяностых годов».

Это было, пожалуй, довольно верно: подцензурным газетам девяностых годов можно было только «кокетничать с марксизмом».

Более серьезное отношение являлось невозможным, особенно «Курьеру» — газете с предварительной цензурой, где каждая статья с предубеждением прочитывалась цензором: его пугал один веявший в газете дух В. А. Гольцева.

Часто приходилось авторам самим ездить или в цензурный комитет, или даже на квартиры цензоров, обитавших в каких-нибудь казенных зданиях, или где-нибудь в маленьких домишках на пустырях Кошаткиной деревни, заселенной кошкодавами и темным людом, завсегдатаем притонов Сенной площади и Оружейного переулка.

Но, несмотря на строгость цензуры, «Курьер» все-таки был в те годы единственной радикальной московской газетой, в которой работала молодежь: В. М. Фриче, П. С. Коган, В. М. Шулятиков.

«Курьер» как-то неожиданно вырос на поле московской журналистики. Подпись под газетой была: издатель — Г. А. Алексеев, редактор — Я. А. Фейгин.

* * *

Происхождение «Курьера» имеет свою историю, которая, конечно, теперь забыта, да и в те времена знали ее далеко не все. И то знали кусочками, каждый свое.

В 1892 году появился в Москве кавказский князь Нижерадзе, молодой, стройный, редкой красоты.

В богатой черкеске с золотыми газырями и кинжалом на чеканном поясе, он выделялся среди наших сюртучников и фрачников и сделался всюду желанным гостем и кумиром московских дам.

В 1893 году, может быть для положения в обществе, он стал издавать ежедневную газетку «Торговля и промышленность», которую продолжал и в 1894 году, выпустив 190 номеров. И вдруг изменил ее название.

Сто девяносто первый номер вышел уже под названием: «Курьер торговли и промышленности».

В конце года соиздателем явился владелец типографии, где печатался «Курьер», а окончательно прогоревший князь исчез навсегда с московского горизонта, к великому горю своих кредиторов.

Вскоре после исчезновения князя прекратился в конце года и «Курьер», в мае 1895 года вышел снова в новом издательстве Е. Коган, а в сентябре 1896 года под газетой стояла подпись: редактор-издатель Я. А. Фейгин.

Это был небольшой хромой человечек, одевавшийся по последней моде, сверкавший кольцами с драгоценными камнями на пальцах. Он занимал какую-то видную должность в страховом обществе «Якорь». Его знала вся веселящаяся Москва, на всех обедах он обязательно говорил речи с либеральным уклоном, вращался в кругу богатых москвичей, как и князь Нижерадзе, и неукоснительно бывал ежедневно на бирже, а после биржи завтракал то в «Славянском базаре» среди московского именитого купечества, то в «Эрмитаже» в кругу московской иностранной колонии.

* * *

Как-то на заборах Москвы тех времен появилась огромная афиша с полуаршинными буквами: «Дикая Америка».

Упоминалось в этой афише имя знаменитого предпринимателя американского ковбоя Буффало-Биль, но, конечно, здесь и духом его не пахло.

Приехало десятка два татуированных и раскрашенных индейцев с перьями на голове, несколько ковбоев в соломенных шляпах и с убийственными шпорами, которыми можно пропороть шкуру слона.

Шпоры эти были приготовлены для укрощения «диких мустангов», за каждого из которых ни один цыган на Конной больше красненькой не даст.

— Ну и шкапы-кабысдохи! — метко определил мой товарищ-казак, с которым мы пришли в огороженное забором место этого дикого табора на Ходынке.

Внутренность индейского лагеря была оригинальна даже для Москвы, повидавшей все.

«Шкапы-кабысдохи» паслись на свободе, в вигвамах полуголые медно-красные индейцы сидели вокруг очага и пальцами, должно быть никогда не мытыми, рвали мясо, поджаренное тут же на углях, и вместо хлеба ели из котелка горячие жареные орехи, те самые, которые по пятаку за стакан с той поры продавались разносчиками на улицах под названием китайских орехов. Приготовлением пищи занимались женщины, а кругом бегали полуголые, как в цыганском таборе, будущие вожди племени Сиу, к которому принадлежали, как значилось в афише, эти дикие индейцы, показывавшие мне свои томагавки и лассо для ловли лошадей.

Мне как представителю прессы показали ковбои несколько приемов: с помощью лассо ловили лошадей, скакали, джигитовали, вольтижировали.

Меня, привыкшего к табунной жизни в задонских степях, где действительно арканятся и выезжаются могучие лошади, до четырех лет не видавшие человека, смешили эти убогие приемы, которые они применяли с серьезными лицами, а мой товарищ-казак все, что они делали, в гораздо лучшем виде повторил перед ними, да я и сам вспомнил старинку.

Все были поражены, а антрепренер сконфужен и просил меня ничего не писать о том, что было на этой репетиции. Это был небольшого роста человечек, при-

везший из-за границы эту «Дикую Америку», которая, по его словам, имела большой успех в Европе.

«Дикая Америка» в Москве, видавшей цыганские таборы и джигитовку казаков, успеха не имела. Я исполнил просьбу и вообще ни строчки не написал об этой «Дикой Америке», не хотел обижать знакомого мне антрепренера, отца Я. А. Фейгина, который показался очень симпатичным и милым, а главное, жаль было оставить голодными на чужой стороне привезенных индейцев.

* * *

Прогорела «Дикая Америка», исчез Фейгин-отец, а Фейгин-сын все ярче и ярче сверкал в Москве.

С начала 1897 года подпись Я. А. Фейгина появилась еще в числе пятерых издателей под новым журналом «Бюллетень Хлебной биржи». Последний издавался на средства богатых московских хлебных торговцев, а о втором его издании — «Курьере торговли и промышленности» — редактор «Московского листка» Н. И. Пастухов ядовито замечал, что он «жареным пахнет».

В «Курьере торговли и промышленности» печатались отчеты товариществ и обществ, а также разные оплаченные статьи, которые умел добывать предприимчивый Я. А. Фейгин благодаря связям с коммерческим миром: многие товарищества с миллионными оборотами без затруднений могли заплатить сотню-другую рублей за напечатание рекламной статьи или отчета в газете с таким громким названием.

Такие публикации зависели от директоров-распорядителей, с которыми Я. А. Фейгин встречался за завтраками в «Эрмитаже».

У Я. А. Фейгина явились деньги, захотелось славы редактора политической газеты, но все-таки издавать одному большую газету ему было не под силу, и он составил компанию, в которую вошли два присяжных поверенных — И. Д. Новик, Е. З. Коновицер — и два брата Алексеевых, молодые люди купеческого рода, получившие богатое наследство.

Я. А. Фейгин поехал в Петербург и благодаря своим знакомствам ухитрился перефасонить свой «Курьер тор-

говли и промышленности» на ежедневную газету «Курьер» с довольно обширной программой, но и с предварительной цензурой.

Это было сделать гораздо легче, чем выхлопотать новое издание. Тогда Министерство внутренних дел не разрешало никому издание новых газет.

Много денег дали братья Алексеевы, и составилась организованная при помощи В. А. Гольцева, сумевшего пригласить и старых журналистов, и ученых, и молодежь, редакция левого направления.

В. А. Гольцев, руководивший политикой, писал еженедельные фельетоны «Литературное обозрение», П. С. Коган вел иностранный отдел, В. М. Фриче ведал западной литературой и в ряде ярких фельетонов во все время издания газеты основательно знакомил читателя со всеми новинками Запада, не переведенными еще на русский язык.

В. М. Фриче, П. С Коган и В. М. Шулятиков, молодой критик и публицист, составляли марксистский кружок газеты.

Так как цензура была очень внимательна к новому изданию в отношении политических статей, то пришлось выезжать на беллетристике и писать лирически-революционные фельетоны, что весьма удавалось В. М. Фриче и П. С. Когáну.

* * *

Под газетой значилась подпись: издатели — А. Г. Алексеев и Я. А. Фейгин, редактор — Я. А. Фейгин.

А. Г. Алексеева в редакции почти никто не видал, показывался он иногда только на товарищеских редакционных собеседованиях, происходивших в ресторанах «Эрмитаж» или «Континенталь», а также в «России» в Петровских линиях, которая помещалась рядом с редакцией.

Я. А. Фейгин метался по своим делам по Москве, а фактическим редактором был И. Д. Новик. Первые месяцы газета шла, конечно, слабо, направление еще ярко не определилось, но ее счастью помогло чужое несчастье.

В 1898 году 21 апреля «Русские ведомости» получили

третье предостережение с приостановкой издания на три месяца за «сбор пожертвований в пользу духоборов с распубликованием о сем в номере девяносто третьем газеты».

«Русские ведомости» прекратились и предложили своим подписчикам на время запрещения заменить свою газету «Курьером», как более подходящим по направлению к «Русским ведомостям», чем все остальные московские газеты.

У «Курьера» прибыло сразу восемь тысяч подписчиков на эти два месяца.

— Из богадельни да в акробаты! — кто-то метко сострил тогда.

Для газеты создалась обстановка, при которой можно было сверкнуть ярче, чем «Русские ведомости», и тем удержать подписчиков. Тут понадобилось и расширение беллетристического отдела, и пригодились лирические революционные фельетоны. Были приглашены лучшие силы по беллетристике, появились Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович, Вас. И. Немирович-Данченко, И. Н. Потапенко, И. А. Бунин, В. В. Каллаш, Д. Л. Мордовцев, Н. И. Тимковский, поэты К. В. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Лев Медведев, Е. А. Буланина и много других.

За время существования «Курьера» многие русские писатели, ставшие известными впоследствии, в нем начинали свои работы: Леонид Андреев, Борис Зайцев, Георгий Чулков, Гусев-Оренбургский, Е. Гославский.

Леонид Андреев сначала был в «Курьере» судебным репортером. С захватывающим интересом читались его художественные отчеты из окружного суда. Как-то он передал И. Д. Новику написанный им рождественский рассказ, который и был напечатан. Он очень понравился В. А. Гольцеву и И. Д. Новику, и они стали просить Леонида Андреева продолжать писать рассказы.

С каждым новым рассказом слава Леонида Андреева росла, и разные издания стали забрасывать его приглашениями.

В один счастливый день вдруг он проснулся знаменитостью, но все еще не оставлял свои судебные отчеты, что, конечно, отвлекало его от беллетристики.

— Леонид Николаевич, вы вчера хотели дать новый рассказ, — как-то сказал ему И. Д. Новик.

— Хотел, Исаак Данилович, да вчера после заседания попал под суд.

— Как под суд?

— Да вот так.

И объяснил, как он попал.

Попасть под суд — это значило после заседания в окружном суде спуститься в нижний этаж здания, где как раз под Митрофаньевской залой находился очень хороший буфет и всегда собиралась очень веселая товарищеская компания.

В самые первые дни славы Леонида Андреева явился в редакцию «Курьера» сотрудник «Русского слова», редактировавший приложение к газете—журнал «Искры» М. М. Бойович с предложением по поручению И. Д. Сытина дать ему рассказ.

— Хорошо, — сказал Леонид Андреев, — дам. Условия такие: десять копеек строка и пятнадцать рублей авансом.

— Я передам условия И. Д. Сытину и завтра принесу ответ.

На другой день в те же часы приходит М. М. Бойович в редакцию и застает Леонида Андреева за чтением только что полученной книжки «Русского богатства», в которой Н. К. Михайловский расхвалил Андреева.

— Леонид Николаевич, Иван Дмитриевич Сытин согласен на условия, вот и аванс!

Леонид Андреев молча показал статью Н. К. Михайловского М. М. Бойовичу и сказал:

— Сегодня условия другие: 25 копеек строчка и 50 рублей аванс!

* * *

Весело и дружно работала редакция «Курьера». Прошел второй год издания, но цензура становилась все строже, конкурировать с бесцензурными газетами было все труднее и труднее.

Многих провинциальных подписчиков отбила петербургская «Россия», талантливо редактируемая

А. В. Амфитеатровым и В. М. Дорошевичем, а когда она была закрыта через год, старые подписчики к «Курьеру» не вернулись.

Цензура придиралась, закрывая розницу, лишая объявлений. Издательские карманы стали это чувствовать, что отозвалось и на сотрудниках. Начались недоумения, нелады: кружок марксистов держался особняком, кое-кто из сотрудников ушел. Цензура свирепствовала, узнав, какие враги существующего порядка состоят в редакции. Гранки, перечеркнутые цензурой, возвращались пачками, а иногда и самого редактора вызывали в цензуру и, указывая на гранки, обвиняли чуть не в государственном преступлении.

— Что вы думали, посылая подобные вещи?

А И. Д. Новик не унывал и все посылал и посылал цензорам горючий материал. Алексей Максимович Горький прислал сюда своего «Буревестника», который был возвращен в редакцию, изуродованный донельзя черными чернилами в отдельных строках и наконец сразу перечеркнутый красными крест-накрест.

В то время, когда газеты кричали о вечном мире, я написал два противоположных стихотворения — одно полное радости, что наконец-то строят «здание мира», а другое следующее:

Заседанье было в Гааге,
Были речи, шумный пир.
В целом мире на бумаге
Водворился вечный мир.
После дичи, после супа
От речей раздался стон:
Заказали вновь у Круппа
Новых пушек миллион.

Первое напечатали, а второе зачеркнутым было возвращено с отеческим выговором редактору. Цензоры никак не думали, что скоро «миллион пушек» понадобится для грядущей войны. Сытые чиновники, верившие в свою силу, не чувствовали приближения бури грядущего.

А тут еще А. В. Луначарский, приглашенный В. А. Гольцевым и находившийся тогда в ссылке в Вятке,

прислал «Курьеру» блестящую статью: «В боевой готовности».

В каждой строке статьи чувствовалось веяние приближающейся революции.

* *
*

«Курьер» вступил в четвертый год издания. В редакции шли какие-то недоразумения. Редактировал газету некоторое время В. П. Потемкин, сыпались кары на газету — цензура становилась злее с каждым днем.

Издателю надоело доплачивать убытки. И в это время поэт Скиталец прислал свое известное революционное стихотворение «Гусляр».

Цензура ли проморгала этот грозный призыв «бить по пустым головам», редакция ли недосмотрела, — но «Гусляр» появился в газете, да еще на первой странице.

Бумм! На всю Москву бумм! Цензор С. П. Соколов арестован.

Номера, отбираемые полицией, продавались в тот же день газетчиками по рублю, а ходовой сообразительный оптовик-газетчик Анисимов, имевший свою лавочку в Петровских линиях, нажил на этом деньги, долгое время торгуя «Курьером» из-под полы.

Кажется, этим и окончил «Курьер» свое яркое и короткое существование.

«ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ»

В девяностых годах минувшего века собирались аккуратно литераторы, принимавшие участие в журнале «Детское чтение», у его издателя Дмитрия Ивановича Тихомирова в собственном его доме на Большой Молчановке.

Это были скучнейшие, но всегда многолюдные вечера с ужинами, на которых, кроме трех-четырех ораторов, гости, большею частию московские педагоги, сидели, уставя в молчании «брады свои» в тарелки, и терпеливо слушали, как по часу, стоя с бокалами в руках, разливались В. А. Гольцев на всевозможные модные тогда либеральные темы, Н. Н. Златовратский о «золотых сердцах народа», а сам Д. И. Тихомиров, бия себя кулаками в грудь и потрясая огромной седой бородищей, вопиял:

— Мы — народ! Мы — служители народного просвещения!

Слушали, ели и пили собственное тихомировское вино из его крымского имения «Красная горка». Чокались водянистым «зандом» и кислым «аликантом» и ждали, когда литератор — рассказчик В. Е. Ермилов или нетерпеливый экспромтист перебьет текущую плавно элоквенцию какой-нибудь неожиданной шуткой или веселым анекдотом. Тогда все оживали впредь до новой речи.

Кончались речи и неожиданными сюрпризами. Был случай, когда тишайший Н. Н. Златовратский вцепился

в бородку благовоспитанного В. А. Гольцева, вцепившегося в свою очередь в широкую бороду Н. Н. Златовратского, так что их пришлось растаскивать соседям. Они ярко выразили свое несходство в убеждениях: В. А. Гольцев был западник, а Н. Н. Златовратский — народник.

Это, помню, был вечер очень многолюдный, на котором присутствовал, между прочим, и педагог-писатель В. А. Острогорский, который вступился за В. А. Гольцева, а Д. И. Тихомиров — за Н. Н. Златовратского. Они, В. А. Острогорский и Д. И. Тихомиров, старинные друзья, после сели рядом и молча пили водку, время от времени кидая друг на друга недружелюбные взгляды; у В. А. Острогорского еще сильнее косили глаза, а Д. И. Тихомиров постукивал своей хромой ногой. Мне удалось тогда сорвать напряженное состояние вечера шуткой, за которую на меня после очень косился Д. И. Тихомиров, — но на этот раз она достигла своей цели, развеселила гостей, и вечер прошел прекрасно.

Я встал, взял стакан с «аликантом», кто-то стукнул вилкой по тарелке, и стол устремил на меня глаза. Указывая на дующихся друзей, я сказал:

Сидят приятели за водкой,
Но не пойму я одного:
С ним Митя на ноге короткой,
Он — косо смотрит на него!

А потом В. Е. Ермилов ввернул какую-то шутку, и все весело и шумно просидели до утра.

Впоследствии как-то эти воскресенья сошли на нет и к 1905 году прекратились.

Вначале бывали на них: почти всегда оба Немировича-Данченко, Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. С. Серафимович, братья Бунины, Ладыженский, Е. А. Буланина, Альбов, Елпатьевский, С. С. Голоушев, В. М. Лавров, Соловьев, Федоров-Давыдов и многие профессора и видные педагоги.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

В 1881 году я служил в театре А. А. Бренко. Мой старый товарищ и друг, актер В. Н. Андреев-Бурлак, с которым мы тогда жили вдвоем в квартирке, при театре на Тверской, в доме Малкиеля, напечатал тогда в «Русской мысли» прекрасный рассказ «За отца», в котором был описан побег из крепости политического преступника.

Это был первый сотрудник самого толстого в скромной серенькой обложке московского ежемесячника «Русской мысли», с которым я познакомился и который познакомил меня с издателем В. М. Лавровым и редактором ее С. А. Юрьевым.

Знакомство состоялось у артистов нашего театра М. И. Писарева и А. Я. Гламы-Мещерской, у которых часто бывали многие литературные знаменитости того времени: С. А. Юрьев, В. М. Лавров, В. А. Гольцев и весь кружок «Русской мысли»; наезжали петербургские писатели: Г. И. Успенский, Н. К. Михайловский, А. Н. Плещеев.

Я уже напечатал тогда в журнале «Москва» у Кланге свою поэму «Бурлаки», которая сопровождалась цветной репродукцией репинской картины «Бурлаки».

В дальнейшем я встречался с ними то у М. И. Писарева, то у В. М. Лаврова.

«Русская мысль» — создание двух человек: С. А. Юрьева и В. М. Лаврова.

Сергей Андреевич Юрьев был одним из самых оригинальных литературных представителей блестящей плеяды людей сороковых годов: выдающийся публицист, критик, драматический писатель, знаток сцены, ученый и философ.

Еще в 40-х годах он окончил в Москве математический факультет, получил место астронома-наблюдателя при обсерватории Московского университета и написал две работы «О солнечной системе». Вследствие болезни глаз бросил свою любимую науку и весь отдался литературе: переводил Шекспира, Кальдерона, Лопе-де-Вега, читал лекции и в 1878 году был избран председателем Общества любителей российской словесности, а после смерти А. Н. Островского — председателем Общества драматических писателей. В 1880 году основал журнал «Русская мысль».

В это время в Москву приехал из г. Ельца, Орловской губернии, молодой человек, купеческий сын, получивший чуть ли не миллионное наследство.

В. М. Лавров — страстный любитель литературы и театра, он познакомился с М. И. Писаревым и сделался своим в кружке артистов. Там он встретился с С. А. Юрьевым и стал издателем «Русской мысли».

Отцовское хлебное дело ликвидировал и весь отдался издательству журнала.

* *
*

Дорогая затея была тогда издавать ежемесячный журнал, конкурирующий с петербургскими известными изданиями: «Отечественными записками» и «Вестником Европы».

В. М. Лаврову удалось тогда объединить вокруг нового журнала лучшие литературные силы. Прекрасно обставленная редакция, роскошная квартира издателя, где задавались обеды и ужины для сотрудников журнала, быстро привлекли внимание. В первые годы издания журнала за обедом у В. М. Лаврова С. А. Юрьев сообщил, что известный художник В. В. Пукирев, картина которого «Неравный брак» только что нашумела, лежит болен и без всяких средств.

В. М. Лавров вынул пачку денег, но С. А. Юрьев, зная, что В. В. Пукирев не возьмет ни от кого денежной помощи, предложил устроить в пользу художника музыкально-литературный вечер в одном из частных залов. Присутствовавшие отозвались на этот призыв, и тут же составилась интереснейшая программа с участием лучших литературных и артистических сил.

* * *

Позволю сделать отступление и рассказать о моем неудачном участии на этом вечере. Я написал и потом напечатал стихотворение, посвященное В. В. Пукиреву, озаглавленное «Неравный брак». Его взял для прочтения на вечере А. И. Южин, тогда еще совсем юноша, но уже сверкавший в Москве своим молодым талантом. Назначен вечер. Билеты все распроданы. Программы все рукописные, так как вечер был без разрешения властей. Я и теперь храню эту афишу, где тогда меня так радовала строчка «Стихотворение Вл. Гиляровского «Неравный брак» — прочтет А. И. Южин».

Я ждал этого вечера, ждал впервые услышать чтение своего стихотворения прекрасным артистом в кругу великих того времени людей. Наконец долгожданный вечер настал.

Жил я тогда в «Чернышах», меблирашках в доме Олсуфьева на Тверской, занимал номеришко в верхнем этаже. Всего имущества, кроме комода с книгами и бумагами, было у меня: приличная черная пара, предназначенная специально для торжественных случаев вроде вечеров и обедов, и гамбургские штиблеты, а обычно я ходил всегда в высоких сапогах и куртке. Еще была старая гитара, оставленная как-то у меня М. В. Лентовским.

Дня за три перед концертом у меня приютился бездомный, спившийся и зачастую пребывавший на Хитровке журналист и поэт Андреев, подписывавшийся в журналах и газетах красивым псевдонимом — «Рамзай-Соколий». Этот красивый псевдоним был ни более ни менее, как... собачья кличка.

Андреев был сын прогорелого помещика, у которого когда-то были оставшиеся от прежнего величия два любимых борзых кобеля — Рамзай и Соколий. Отсюда и псевдоним «Рамзай-Соколий».

В день концерта в 7 часов вечера я влетаю к себе в номер, чтобы переодеться, предварительно приведя в порядок у парикмахера свою шевелюру, и вижу — пир горой.

На столе стоят наполовину опорожненная четвертная бутыль водки, «слезы вдовы Поповой» по-тогдашнему, четыре чайных стакана и лежат в бумаге огурцы, хлеб, куски колбасы. А кругом сидят — мрачный Рамзай и два моих старых лучших друга первых лет моей сценической деятельности — Сережка Евстигнеев, помощник режиссера в Тамбове, и Вася Григорьев, простак и опереточный. Я их не видел два года и страшно обрадовался.

— Мы из Тамбова! — крикнули радостно оба вместе.

— Я прямо из каталажки. Квартальному не в то ухо засветил. Три дня держали, подлецы! — порадовал меня Сережка.

— А я из сумасшедшего дома. Две недели в сумасшедшем доме сидел. Вот допились!

— Мы у тебя ночуем, — сказал Вася.

— Ладно.

Налили мне стакан и себе по половине.

— На, лопай!

— С приездом, — мрачно поднял стакан Рамзай.

Выпили.

— Ну, хлопцы, располагайтесь кто где, только мне кровать оставьте, а я иду на вечер, сегодня мои стихи читают.

Я открыл комод: лежат свернутые штаны, жилет, а сюртука нет. Я туда, сюда... Нет!

— Рамзай, где мой сюртук?

— А чего пьем-то? Во твой сюртук! — и указал на четвертную. — Не бойся, цел. В ссудной кассе у Рейфмана за пятишку...

Был восьмой час. Касса уже закрыта. Идти нельзя, а Вася меня утешает своим чудным тенором под гитару:

Стою один я пред избушкой,
Кругом все тихо и темно.
Но с этой бедною лачужкой
Так много дум сопряжено...

Так я не пошел на торжественный вечер в ноябре 1882 года.

Много всего я повидал на своем веку, а все-таки памятен мне тот вечер с моими искренними друзьями юности, которых уже нет. Рамзай-Соколий найден замерзшим на улице, Сережку Евстигнеева избили до смерти в пьяной драке, а Вася Григорьев, премьер в провинциальных труппах, угорел, по пьяному делу, в своей комнате, когда гастролировал в г. Козлове. Его забыли разбудить.

Промелькнули торжества, овации, великие люди своего времени, а вечерок в «Чернышах» до сих пор дорог:

...С этой бедною лачужкой
Так много дум сопряжено.

* * *

Редактором «Русской мысли» С. А. Юрьев был около шести лет, а потом после его смерти редактором был утвержден В. М. Лавров.

Кроме прекрасной памяти, которую оставил по себе С. А. Юрьев, вспоминается после него ряд анекдотов, характеризующих его удивительную рассеянность.

Он жил на Большой Дмитровке, а летом на даче. В квартире оставалась старушка прислуга. С. А. Юрьев только иногда заезжал домой в дни своего посещения редакции. К прислуге как-то пришла знакомая портниха. Старушка для гостьи ставила самовар. Раздался звонок. Старушка, занятая самоваром, попросила отпереть дверь и сказать, что дома никого нет. Сергей Андреевич прямо с дачи заехал на квартиру, позвонил в звонок, над которым красовалась медная пластинка с надписью «С. А. Юрьев». Ему отперла эта портниха, незнакомая женщина, и заявила, не снимая с двери цепочки, что никого нет дома.

— Ах, какая жалость! Ну вот, скажите, что я был! — и С. А. Юрьев передал ей карточку и уехал в редакцию.

Узналось все это после. А потом как-то мы ужинали

у В. М. Лаврова. Сергей Андреевич уезжал раньше других; мы вышли его проводить в прихожую, подали ему шубу, его бобровая шапка лежала на столе, а рядом с шапкой спал котенок.

Сергей Андреевич, продолжая прощальный разговор, гладил свою шапку, потом схватил котенка, приняв его по близорукости и рассеянности за шапку, и хотел его надеть на голову, но котенок в испуге запищал и оцарапал ему руку.

После С. А. Юрьева фактическим редактором «Русской мысли» стал В. А. Гольцев, но утвердить его редактором власти наотрез отказались, считая его самым ярым революционером.

Журнал шел прекрасно, имел огромный успех у читателей, но так дорого стоил, что В. М. Лавров, человек совсем не коммерческий, приплачивал очень большие деньги, что вместе с широким хлебосольством кончилось тем, что заставило его посократиться.

Живя в Москве широкой жизнью, вращаясь в артистическом и литературном мире, задавая для своих друзей обеды, лет через десять В. М. Лавров понял, что московская жизнь ему не под силу. В 1893 году он купил в восьми верстах от городка Старая Руза, возле шоссе, клочок леса между двумя оврагами, десятин двадцать, пустошь Малеевку, выстроил в этом глухом месте дом, разбил сад и навсегда выехал из Москвы, посещая ее только по редакционным делам в известные дни, не больше раза в неделю.

От своего владения он отрезал два участка для постройки дач своим сотрудникам В. А. Гольцеву и М. Н. Ремезову. Оба выстроились.

Вскоре М. Н. Ремезов продал свою дачку мне, где я и стал жить со своей семьей летом.

По другую сторону шоссе верстах в двух купили участки земли и построили дачи профессора А. А. Мануйлов и Н. А. Мензбир.

«Писательский уголок» — звали это место в Москве.

«Поднадзорный поселок» — окрестила его полиция, которой прибавилось дела — следить за новыми поселенцами, куда то и дело приезжали гости, очень интересные охранному отделению.

В. М. Лавров назвал свой хуторок «Малеевкой», а я свою дачку «Гиляевкой». Впоследствии, когда рядом на шоссе у моста через Москву-реку открылось почтовое отделение, его назвали «Гиляевка».

В другой половине дома, рядом с почтовым отделением, была открыта на собранные пожертвования народная библиотека, названная именем В. А. Гольцева. Эта вывеска красовалась не более недели: явилась полиция, и слова «имени Гольцева» и «народная» были уничтожены, а оставлено только одно—«библиотека». Так грозно было в те времена имя Гольцева и слово «народ» для властей.

* * *

Я жил в Гиляевке только летом, да и то часто уезжал по редакционным делам. Во время моих приездов мы нередко вместе обедали и ужинали то у В. М. Лаврова, то у В. А. Гольцева, то у меня.

Часто приезжали гости: бывал А. П. Чехов, когда он сделался сотрудником «Русской мысли», как-то гостил у меня В. М. Дорошевич, очаровавший В. М. Лаврова и В. А. Гольцева, которые до того относились к нему, как к сотруднику мелкой прессы, свысока.

Было время, когда точно так же и «Русская мысль» и «Русские ведомости» относились и к Антону Чехову, а потом к нему на поклон пришли.

Когда приезжали летом гости, обеды бывали у В. М. Лаврова очень веселые, хотя далеко не такие, которые он задавал в Москве.

Здесь не было в помине дорогих вин, как тогда; зато были прекрасные домашние наливки и запеканки; единственное вино, которое подавалось на этих обедах, было превосходное кахетинское.

В. М. Лавров выписывал его от какого-то друга-грузина с Кавказа бочонками в 40 ведер и разливал сам по бутылкам.

У него были три собаки — Бутылка, Стакан и Рюмка — и гусь.

Когда я в первый раз приехал к нему на дачу, мы завтракали — гостей не было никого. За кофе он встал, взял кусок хлеба и вышел на крыльцо. Через минуту, слышу, он кричит:

— Владимир Алексеевич! Владимир Алексеевич!

Я выскочил на крыльцо:

— Вы меня, Вукол Михайлович?

— Нет, не вас. Вон, видите, тоже Владимир Алексеевич.

Переваливаясь с ноги на ногу, к нему шествовал огромный белый гусь, отвечая на его голос каким-то особенно густым-густым басом.

В. М. Лавров начал кормить его хлебом. Выяснилось, что это его любимец, названный в честь известного адвоката Владимира Алексеевича Федотова, подарившего ему этого гуся. Всякую птицу, всякого зверя, имевших у него свою кличку и на нее отзывавшуюся, любил В. М. Лавров.

По зимам я иногда приезжал к нему на день, на два и, так как моя дача была холодная, останавливался в его доме.

Зимний день у него всегда проходил так: в одиннадцать встанет, попьет кофе, выходит погулять. Первым делом идет через занесенный снежными сугробами сад по узкой тропинке к большой террасе, на которую летом выход из столовой, где стоял огромный летний обеденный стол.

В. М. Лавров насыпал горстями на стол овса, конопли, проса и возвращался в столовую.

Сядет, любуется в окно: а стол, «птичья зимняя столовая», как он его называл, весь живой, мельтешится пестрым ковром.

Мелкие птахи всех зимующих пород, от синички до красногрудого снегиря и сотни воробьев, чиликают, дерутся, долбят носиками.

После завтрака та же картина, но в миниатюре и с другой стороны: в гостиной открывается форточка и выставляется на особое приспособление полная зерен кормушка. Слетаются пернатые, а В. М. Лавров радуется и о каждой птичке что-нибудь расскажет.

— Ах, забияка! Вот я тебя! — и стучит в стекло пальцем на воробья, который синичку клюнул... Затем идет в кабинет и работает. Перед обедом выходит в лес гулять, и за ним три его любимые собаки: Бутылка, Стакан и огромная мохнатая Рюмка, которые были приучены так,

что ни на одну птицу не бросались; а после обеда спит до девяти часов.

В десять ужин, а после ужина уходит в кабинет и до четырех часов стучит на своем «ремингтоне». Летом тот же режим — только больше на воздухе. Любитель цветов, В. М. Лавров копается в саду, потом ходит за грибами, а по ночам делает переводы на русский язык польских писателей или просматривает материалы для очередного номера журнала, которые ему привозили из редакции.

Переводы В. М. Лаврова сочинений Сенкевича и Ожешко считались лучшими, печатались во многих номерах «Русской мысли» за все долгие годы ее издания.

Раз в месяц, ко дню выхода книжки, В. М. Лавров уезжал в Москву, где обычно бывали обеды «Русской мысли», продолжение тех дружеских обедов, которые он задавал сотрудникам в московский период своей жизни у себя на квартире. Впоследствии эти обеды перенеслись в «Эрмитаж» и были более официальны и замкнуты.

* * *

У В. М. Лаврова в библиотеке в Малеевке было много книг и хранился очень им сберегаемый альбом, в котором имелись автографы многих писателей-друзей. Альбом этот В. М. Лавров редко кому показывал и только изредка прочитывал приезжавшим к нему отдельные записи.

Несколько стихотворений у меня сохранилось; вот стихотворение Аполлона Майкова:

Вы — ответственный редактор
«Русской мысли» — важный пост!
В жизни мысль — великий фактор,
В ней народов мощь и рост.
Но она что конь упрямый:
Нужен верный ездовой,
Чтоб он ровно шел и прямо,
Не мечася, как шальной.
Русский дух им должен править,
Есть у вас он, так легко
Вам журнал свой и прославить,
И поставить высоко.

Переводчик Петр Вейнберг оставил такой автограф:

НАШИМ ВРАГАМ

Оставьте нас! В шипящей злости
Вы нам жалки и смешны.
Оставьте, вы не впору гости
На светлом празднике весны.
Напрасно бьете вы тревогу,
Стараясь ужас пробудить, —
Для нас открытую дорогу
Не вам, не вам загородить!
Оставьте нас! Когда весною,
В сиянье первой красоты,
Откроет с силой молодою
Могучий дуб свои листы, —
Тогда ничто его свободы
И свежих сил не сокрушит —
Под грозным вихрем непогоды
Неколебимо он стоит,
Удары смело переносит,
Растет и крепнет по часам
И гордо голову возносит
К своим заветным небесам.

С. В. Максимов писал в альбом:

«Припоминается мне такой случай: И. С. Тургенев любил разбираться в почерках, отгадывая по их разнообразию не столько состояние в данный момент духа писавшего, сколько вообще личный характер и душевные свойства его. В тот день он получил из-за границы какую-то немецкую книгу с приложением автографов Гете и Шиллера.

Сравнивая почерки обоих, Иван Сергеевич обратил внимание на их резкую разницу: один писал разгонисто, видимо не только не жалел бумаги, но даже как будто бы формат стеснял его, задерживая быстроту нарождавшейся мысли, когда и перо едва поспевало за их полетом:

«Ему в державу тесны миры!»

Другой усердно нанизывал буквы, как бисер, сближал строки и даже заполнял текстом не только поля, но и пробелы междустрочий.

«И веревочку подай!» — шутливо замечал наш поэт и серьезно доказывал, что в последнем он явно видит бережливость немца в противоположность первому оче-

видно, и по почерку), сбросившему с себя путы национального характера, как всемирный гений.

Случайная мысль на тот раз дала нашему великому учителю литературного языка провести художественную, мастерскую параллель вроде той, о которой далеко раньше шутливо намекал он в «Хоре и Калиныче» и которую критически разработал впоследствии в «Гамлете» и «Дон-Кихоте».

Имелось в альбоме стихотворение Я. П. Полонского:

Отчего это, братцы, и голос есть,
Да негромко поет, обрывается?
Отчего это, братцы, и песня есть,
Да наводит тоску, словно мается?
Где та сила, та грудь богатырская,
Что певала под гусли звончатые
На пирах, в теремах, перед боем в шатрах?
Народится ли вновь на святой Руси
Та живая душа, тот великий дух,
Чтоб от моря до моря, по всем степям,
Вдоль широкой реки, в глубине лесной
По проселкам, по селам, по всем городам
Пронеслась эта песня, как божий гром,
И чтоб вся-то Русь православная,
Откликаючись, встрепенулася!

Д. Н. Мамин-Сибиряк написал В. М. Лаврову свои впечатления:

«Тридцать лет тому назад я принес в редакцию «Русской мысли» свою первую статью, которая и была напечатана в 1882 году («Старатели»).

Это была, кажется, вообще первая статья, напечатанная мною в толстом журнале. Затем я сотрудничаю в «Русской мысли» четырнадцатый год и могу засвидетельствовать замечательный факт, именно, что Вукол Михайлович Лавров всегда одинаков — когда журнал был в тяжелых обстоятельствах и когда достиг успеха, когда к нему является начинающий автор и когда автор с именем».

Написал в альбом стихотворение и И. А. Бунин:

На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и доныне
Снега хранят мой одинокий след.

На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине:
И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в долине
Его толпы не радует привет.
На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в вечерний час сонет
Лишь для того, кто бродит на вершине...

А. П. Чехов часто бывал у профессора политической экономии И. И. Иванюкова, которого близко знал В. М. Лавров.

После одного из таких посещений Антон Павлович написал в альбом В. М. Лаврову:

«Я ночевал у И. И. Иванюкова, в квартире В. М. Соболевского, и проспал до 12 часов дня, что подписом удостоверяю. Антон Чехов».

«Любовь — высший дар, высшее чувство человека! — пишет Д. В. Григорович. — Обращено это чувство к отечеству, к общественной пользе, к отдельной личности — оно далеко оставляет за собой все, что обыкновенно служит двигателем в нашей жизни. Все наши цели и мудрствования, и так называемые дела, тщеславные стремления, карьера и т. д., — все это, если взять в расчет не вечность, но только нашу коротенькую жизнь, — все это не стоит, в сущности, того, чтобы колотиться, биться, огорчаться или радоваться, как это делаем мы! На свете есть одно настоящее чувство, которым стоит серьезно заниматься — это любовь. Для любви, для нее одной, стоит рождаться на свет, и прискорбно умирать потому только, что приходится расстаться с нею и нет больше надежды испытать ее снова».

Интересной подробностью альбома было еще и то, что в нем имелись стихотворения людей, не писавших обычно стихами.

Среди таких стихотворений имелись — артиста А. И. Сумбатова-Южина:

Солнце жаркими лучами
Грудь Кавказа целовало,
И под страстными огнями
Все цвело и ликовало.

Лишь старик Казбек угрюмый
Этой ласке не поддался
И один с своею думой
Под снегами оставался.
Из-за ласки лицемерной
Не хотел менять одежды
И сменить свой холод верный
На весенние надежды.

В. А. Гольцев написал:

Нас мгла и тревоги встречали,
Порой заграждая нам путь.
Хотелось нередко в печали
Свободною грудью вздохнуть,
Но дни проходили чредою
Всё мрак и всё злоба вокруг —
Не падали духом с тобою
Мы, горем исполненный друг!
И крепла лишь мысль и стремилась
К рассвету, к свободе вперед —
Туда, где любовь сохранилась,
Где солнце надежды взойдет!

М. Н. Ремезов:

И много лет мы вместе жили,
В одной ладье мы вместе плыли,
Делили радость и печаль,
Ты на руле сидел и правил,
Ладью упорно гнали вдаль.
А Гольцев смело парус ставил,
Когда ж чрез борт катился вал,
Я только воду отливал...

Последние строчки особенно понятны, — постоянный сотрудник и редактор «Русской мысли» М. Н. Ремезов занимал, кроме того, важный пост иностранного цензора, был в больших чинах и пользовался влиянием в управлении по делам печати, и часто, когда уж очень высоко ставил парус В. А. Гольцев, бурный вал со стороны цензуры налетал на ладью «Русской мысли», и М. Н. Ремезов умело «отливал воду», и ладья благополучно миновала бури цензуры и продолжала плыть дальше, несмотря на то, что, по словам М. Н. Ремезова,

В ладье везем мы груз запретный
Гуманных нравственных идей
И «Русской мысли» клич заветный
К любви и равенству людей.

* * *

Увлеченный кипучей газетной обязательной работой, я, несмотря на долголетнюю дружбу с В. А. Гольцевым и В. М. Лавровым, поместил в «Русской мысли» только несколько стихотворений, да и то по просьбе редакции, «Гоголевщину», в которой описал мою поездку в Полтавщину в 1900 году перед Гоголевскими празднествами.

После моего доклада в Обществе любителей российской словесности, который впоследствии был напечатан отдельной книгой «На родине Гоголя», В. А. Гольцев обратился ко мне с просьбой напечатать его в «Русской мысли». Перепечатка из «Русской мысли» обошла все газеты.

«РУССКОЕ СЛОВО»

«Русское слово» было разрешено без предварительной цензуры, но с программой, указанной К. П. Победоносцевым, выхлопотавшим это издание для А. А. Александрова.

«Самодержавие, православие и народность» — было девизом газеты.

Газетка была и на вид, и по содержанию весьма убогая, ни подписки, ни розницы не было — и издатель разорился.

В конце концов ее купил умный и предприимчивый И. Д. Сытин с целью иметь собственную газету для рекламы бесчисленных книг своего обширного издательства.

И. Д. Сытину некогда было заниматься газетой, и она также продолжала влачить довольно жалкое существование; он мало заботился о ней и не раз предлагал ее купить кому-нибудь, но желающих не находилось.

Редакция помещалась в книжном издательстве И. Д. Сытина на Старой площади. Направо с площадки лестницы был вход в издательство, а налево в редакцию. Крошечная прихожая, заставленная по обеим сторонам почти до потолка связками газет — того и гляди упадут и задавят. Дальше три комнатки для сотрудников, в одной из которых две кассы наборщиков — повернуться негде, — а еще дальше кабинет Гермониуса, заведовавшего редакцией и фактического редактора. Гермониусов было два, оба литераторы. К одному из них обратился

поэт Минаев с вопросом: «Скажи-ка мне, по таксе ль взимает брат твой Аксель?»

Который из братьев Гермониусов был в «Русском слове» редактором, не знаю, но номинальным числился Киселев.

В прихожей можно было наблюдать такие сценки: входит в плюшевой ротонде сверкавшая тогда в Москве опереточная дива Панская и не может пролезть между столиком и кипами газет, чтобы добраться до комнаты Гермониуса, а за столиком сидит Дементий, одновременно и сторож, и курьер, и швейцар, и чистит огромную селедку.

Увидав Панскую и желая заработать «на чай», Дементий пытается снять ротонду селедочными руками, но случайно вошедший один из главных сотрудников К. М. Даниленко, еще совсем юный, выручает и проводит Панскую в кабинет редактора.

Из помещения на Старой площади редакция «Русского слова» вскоре, переменив несколько квартир, переехала на Петровку, в дом доктора Левинсона, в нижний этаж, где была когда-то редакция арендуемых у императорских театров театральных афиш, содержимая А. А. Левинсоном, сыном домовладельца.

По одну сторону редакции была пивная Трехгорного завода, а с другой — винный погреб Птицына. Наверху этого старого, сломанного в первые годы революции, двухэтажного дома помещались довольно сомнительные номера «Надежда», не то для приходящих, не то для приезжающих.

Сюда приехал приглашенный И. Д. Сытиным редактировать «Русское слово» В. М. Дорошевич, после закрытия «России» за амфитеатровский фельетон «Обмановы», и привез с собой своего товарища по Одессе Розенштейна.

Затем редакция переехала в дом Обидиной, тут же на Петровке, в надворный флигель, а оттуда уже в дом М. В. Живаго, теперь уже снесенный, на проезде Страстного бульвара.

Это был исторический дом старого барства: столовая красного дерева, стоившая тысяч сорок, колонны, фрески, и все это было замазано, загрязнено, на вбитые

в красное дерево стен гвозди вешались вырезки из газет и платье. Снаружи дом был одноэтажный, а надворная часть с антресолями и пристройками в три этажа.

В это время И. Д. Сытин присмотрел и купил соседний дом у вдовы Н. А. Лукутина, Любови Герасимовны, дочери известного миллионера Герасима Хлудова.

Редакция поместилась в бывшем магазине Лукутина, где продавались его знаменитые изделия из папье-маше. Одновременно И. Д. Сытин выстроил в приобретенном у Н. А. Лукутина владении четырехэтажный корпус на дворе, где разместилась редакция и типография и где стало печататься «Русское слово» на новых ротационных машинах. Рядом И. Д. Сытин выстроил другой корпус, для редакции, с подъемными машинами для своих изданий.

С приездом В. М. Дорошевича, воспользовавшегося дополнительно разрешенной Победоносцевым «Русскому слову» широкой программой, газета не только ожила, но и засверкала.

И. Д. Сытин не вмешивался в распорядки редакции. Редактором был утвержден его зять, Ф. И. Благов, доктор по профессии, не занимавшийся практикой, человек весьма милый и скромный, не мешавший В. М. Дорошевичу делать все, что он хочет. В. М. Дорошевич, с титулом «короля фельетонистов» и прекрасный редактор, развернулся вовсю. Увеличил до небывалых размеров гонорары сотрудникам, ввел строжайшую дисциплину в редакции и положительно неслыханные в Москве порядки, должно быть, по примеру парижских и лондонских изданий, которые он осматривал во время своих частых поездок за границу.

Дом для редакции был выстроен на манер большой парижской газеты: всюду коридорная система, у каждого из крупных сотрудников — свой кабинет, в вестибюле и приемной торчат мальчуганы для посылок и служащие для докладов; ни к одному сотруднику без доклада постороннему войти нельзя.

В этом же доме разместил И. Д. Сытин и другие свои издания: третий этаж заняло целиком «Русское слово», а в четвертом поместились «Вокруг света» и «Искры», как приложение к «Русскому слову», сначала издавав-

шееся с текстом, а потом состоящее исключительно из иллюстраций.

Редактором «Искры» был серб Милан Михайлович Бойович, филолог, окончивший Московский университет, еще студентом состоявший моим помощником при московском отделе амфитеатровской «России».

Редактором «Вокруг света» был В. А. Попов, прекрасно поставивший журнал, который при нем достиг огромной по тем временам подписки.

Помещение редакции было отделано шикарно: кабинет И. Д. Сытина, кабинет В. М. Дорошевича, кабинет редактора Ф. И. Благова, кабинет выпускающего М. А. Успенского, кабинет секретаря и две комнаты с вечно стучащими пишущими машинками и непрерывно звонящими телефонами заведовавшего московской хроникой К. М. Даниленка.

У кабинета В. М. Дорошевича стоял постоянно дежурный — и без его доклада никто в кабинет не входил, даже сам И. Д. Сытин.

Когда В. М. Дорошевич появлялся в редакции, то все смолкало. Он шествовал к себе в кабинет, принимал очень по выбору, просматривал каждую статью и, кроме дневных приемов, просиживал за чтением гранок ночи до выхода номера.

В. М. Дорошевич в созданной обстановке редакции портился. Здесь он не был тем милым и веселым собеседником, каким я часто видал его у себя дома или в компании.

Особенно интересен он был за обедом или ужином, полный блестящего остроумия в рассказах о своих путешествиях. Это был человек, любивший вкусно поесть и выпить хорошего вина. Пил не особенно много, смаковал, и съедал огромное количество всякой снеди. Он иногда обедал у меня, всегда предупреждая:

— Попроси Марию Ивановну, чтоб она меня борщом с ватрушками угостила!

В назначенный день, одетый обязательно в смокинг, являлся к обеду и после первой тарелки жирного борща просил вторую, а то и третью тарелку, уничтожая при этом гору ватрушек.

Подают индейку. Жена спрашивает:

— Влас Михайлович, вам темного или белого мяса?

— И того и другого, и по полной тарелке!..

Любил поесть!

А ночью, после обеда, в редакции просит меня:

— Позвони Марии Ивановне, не осталось ли там ватрушек? Я бы сам попросил, да стыдно!

Я, кажется, был одним из немногих, который входил к нему без доклада даже в то время, когда он пишет свой фельетон с короткими строчками и бесчисленными точками. Видя, что В. М. Дорошевич занят, я молча ложился на диван или читал газеты. Напишет он страницу, прочтет мне, позвонит и посылает в набор. У нас была безоблачная дружба, но раз он на меня жестоко обозлился, хотя ненадолго.

Гордый и самолюбивый всевластный диктатор «Русского слова», он привык, благодаря слишком подчеркнутому «уважению» окружающих лиц к своей особе, требовать почти молчания в своем присутствии.

Сидели мы как-то в кабинете Ф. И. Благова, компанией, и весело разговаривали. Неожиданно входит В. М. Дорошевич — «горд и ясен», во фраке. Только что он раскрыл рот, чтобы сделать какое-то распоряжение, как я его перебил:

— Влас, у тебя есть время?

— Пять минут. Еду в балет, сегодня Гельцер!

— Этого достаточно. Отвернись к стенке и застегни пуговицы, — и указал ему, где застегнуть пуговицы.

Он удостоверился в правоте моих слов и, весь красный от волнения, опустил шапокляк и со словами «извините» быстро вышел.

На другой день он мне обиженно сказал:

— Свинья ты! Мог бы шепнуть на ухо, что ли. В дураках меня оставил! Они этого никогда не забудут! — А глаза злые-злые.

Конечно, нашей дружбы это не испортило. Из своих путешествий он мне присылал отовсюду открытки. Одну недавно нашел в бумагах. Это открытка из Испании, из города Хереса. Только три строчки:

«Гиляй! Я думал, что это бывает только с мухами: вообрази, попал в Херес!»

* * *

В. М. Дорошевич знал, что я работаю в «Русском слове» только по его просьбе. Уезжая за границу, он всегда просил меня писать и работать больше, хотя и при нем я работал немало.

Помню, в день, когда тираж «Русского слова» перевалил за сто тысяч — в первый раз в Москве, даже и в России, кажется, — меня угощала редакция обедом за мой фельетон «Ураган». Это было 19 июня 1904 года, на другой день после пронесшегося над Москвой небывалого до сего урагана, натворившего бед. Незабвенный и памятный день для москвичей, переживших его!

Мне посчастливилось быть в центре урагана. Я видел его начало и конец: пожелтело небо, налетели бронзовые тучи, мелкий дождь сменился крупным градом, тучи стали черными, они задевали колокольни.

Наступивший мрак сменился сразу зловеще желтым цветом. Грянула буря, и стало холодно. Над Сокольниками спустилась черная туча — она росла снизу, а сверху над ней опускалась такая же другая. Вдруг все закрутилось. Внутри этой крутящейся черной массы засверкали молнии. Совсем картина разрушения Помпеи по Плинию! Вдобавок среди зигзагов молний вспыхивали желтые огни, и багрово-желтый огненный столб крутился посередине. Через минуту этот ужас оглушающе промчался, руша все на своем пути. Неслись крыши, доски, звонили колокола; срывало кресты и купола, вырывало с корнем деревья; огромная Анненгофская роща была сбрита: столетние деревья или расщеплены, или выворочены с корнем. Было разрушено огромное здание Кадетского корпуса и Фельдшерской школы. По улицам — горы сорванных железных крыш, свернутых в трубочку, как бумага. Кое-где трупы. Много убитых и раненых...

* * *

В десятом часу вечера, измученный, оборванный и грязный, я вошел в кабинет В. М. Дорошевича.

— Садись на мое место и пиши. Я тебе пришлю закусить! — сказал В. М. Дорошевич, оглядев меня с ног

до головы: — Должно быть, в смерче крутился! Пиши, я тебе мешать не буду. Посылай гранки!

Мне подали чаю и холодных закусок.

Через два часа я написал впечатление пережитого урагана и позвонил. Вошел В. М. Дорошевич, но я, весь пыльный, уже лежал на его роскошном турецком диване.

— Усни, я запру дверь. Встанешь — позвонишь!

Встал я только через два часа.

В. М. Дорошевич сидел за столом и подал мне оттиск первой полосы. Когда номер был сверстан, В. М. Дорошевич и я поехали осматривать беды урагана в Сокольники, Лефортово и вплоть до самого Карачарова. Уже всходило солнце.

Особенно его поразила Анненгофская роща — этот вековой лес, после урагана представлявший собой горы вырванных с корнем и расщепленных сосен и елей-великанов. Среди обломков ныряли босяки: роща была их летней дачей. Немало их там погибло в урагане.

Проезжая мимо нее, мы вспомнили с В. М. Дорошевичем кое-что о ней.

Интересна судьба этой рощи: она выросла в одну ночь — и погибла в один день, даже в несколько минут.

История ее такова. Когда царица Анна Иоанновна приехала в Москву и остановилась в только что выстроенном дворце, где впоследствии помещался Первый кадетский корпус, то, любуясь видом на широкое поле, сказала:

«Как жаль, что здесь пустое место, а не лес!»

На другое утро, проснувшись, она подошла к тому же окну — и была поражена: поля не было, а зеленела огромная сосновая роща!

Услужливая и всемогущая придворная челядь за ночь тысячами крепостных и солдат перетащила из Сокольников выкорчеванные сосны и ели и посадила рощу!

Роща потом разрослась, ее подсаживали и блюли, но она не сделалась любимым народным гуляньем: москвичи знали, как появилась она, названная в честь царицы «Анненгофская».

Москва по-своему отомстила Анненгофской роще: ее сделали свалкой нечистот, и ветерок с рощи отравлял Лефортово многие годы, а по ночам жителям приходилось закрывать окна.

Всю ночь громыхали по булыжным мостовым длинные обозы отходников, заменявших тогда канализацию, но и с перенесением из Анненгофской рощи свалки нечистот к Сортировочной станции Московско-Казанской железной дороги все-таки еще в нее сливались нечистоты, и название «Анненгофская роща» было только в указателях Москвы и официальных сообщениях, — в народе ее знали испокон века и до последних дней только под одним названием: «Говенная роща!»

Вспомнили мы это, а кругом был ужас: здания с зияющими окнами, без рам и стекол, с черными прогалами меж оголенных стропил. Церкви без крестов и куполов, разбитые каменные столбы, по улицам целые горы свернутого и смятого железа, груды обломков зданий, убитые лошади, иногда люди. Далее — обломки векового госпитального Лефортовского парка. Мост через Яузу сорван. Валялась полицейская будка, вместе с городовым перенесенная через целый квартал. На переезде Московско-Казанской железной дороги была сорвана крыша с элеватора, штопором свернут гигантский железный столб семафора, и верхний конец его воткнулся в землю.

Ураган ринулся к Ярославлю, оставляя следы разрушения более чем на сотни верст; было много убитых и раненых. Ночью в районе урагана, среди обломков в Лефортове и в роще горели костры, у которых грелись рабочие и жители, оставшиеся без крова.

Запомнилась картина: у развалин домика — костер, под рогожей лежит тело рабочего с пробитой головой, а кругом сидят четверо детей не старше восьми лет и рядом плачущая беременная мать. Голодные, полуголые — в чем вышли, в том и остались.

Такого урагана не помнили в Москве старожилы.

Мы вернулись в Москву, и у заставы уже носились газетчики. «Русское слово» шло нарасхват.

—Ураган! Подробности об урагане! — кричали газетчики.

* * *

Во время японской войны я написал ряд фельетонов под заглавием «Нитки», в которых раскрыл все интендантское взяточничество по поставке одежды на войска.

Эти фельетоны создали мне крупных врагов — я не стеснялся в фамилиях, хотя мне угрожали судом, — но зато дали успех газете.

Редакция боялась печатать мои «Нитки», мне предлагали вычеркивать фамилии, но В. М. Дорошевич выругал:

— Печатать целиком! Никогда Владимир Алексеевич не дал ни одного неверного сведения и никогда ни на одну его статью опровержения еще не было... и не будет!

Во время войны с Японией огромный успех в газете имели корреспонденции Вас. И. Немировича-Данченко с театра военных действий и статьи Краевского из Японии, куда он пробрался во время войны и вернулся обратно в Москву.

Многие тогда сомневались в правдивости его сообщений.

Я же верил ему — уж очень юркий и смелый человек, тип «пройдисвета».

У меня долго хранился складной чемодан, который он мне подарил, вернувшись из Японии. Он был весь обклеен багажными марками: Иокогама, Сан-Франциско и т. д.

«Русское слово» гремело — и с каждым днем левело, как левела вся Россия.

Наконец хлынула всеобщая забастовка, а затем 17 октября с манифестом о «свободах».

В первом, вышедшем после 17 октября 1905 года в «свободной России», номере «Русского слова» передовая статья, приветствовавшая свободу слова, заканчивалась так:

— Отныне довольно говорить рабьим языком!

Прошел год, обещанные свободы разлетелись прахом.

С наступлением реакции «Русское слово» опять заговорило «рабьим языком», а успех газеты все-таки с каждым днем рос и рос.

АТАМАН БУРЯ И ПИКОВАЯ ДАМА

В 1885 году, 1 января, выползли на свет две газетки, проползли сколько могли и погибли тоже почти одновременно, незаметно, никому не нужные. Я помню, что эти газетки были — и только, мне было не до них. Я с головой ушел в горячую работу в «Русских ведомостях», мешать эти газетки мне не могли, настолько они были пусты и безжизненны.

Через полстолетия припомнились они не за их достоинства, а за что-то другое, видимо, более яркое и характерное, чем в других, более популярных газетах того времени.

Газеты эти — «Голос Москвы» Васильева и «Жизнь» Д. М. Погодина. Н. В. Васильев — передовик «Московских ведомостей» был редактором «Голоса Москвы», а издателем был И. И. Зарубин, более известный по Москве под кличкой «Хромой доктор».

Иван Иванович Зарубин был и хромой и доктор, никогда никого не лечивший, погруженный весь в разные издательства, на которых он вечно прогорал и, задолжав, обыкновенно исчезал из города. Исчез он из Петербурга, где издавал после «Голоса Москвы» журнал «Здоровье», скончавшийся, как и все издания этого доктора. Когда явился в редакцию «Здоровья» судебный пристав описывать за долги имущество И. И. Зарубина, то нашел его одного в единственной комнате с единственным столом, заваленным вырезками из газет, и с постелью, пост-

ланной на кипах журнала, а кругом вдоль стен вместо мебели лежали такие же кипы.

И. И. Зарубин с ножницами в руках любезно встретил судебного пристава и, указывая ему на одну из кип, предложил:

— Садитесь на «Здоровье»!

Газета «Голос Москвы», издававшаяся года за два до «Здоровья», памятна для меня тем, что в ней Влас Михайлович Дорошевич прямо с гимназической скамьи начал свою литературную карьеру репортером. Его ввел в печать секретарь редакции «Голоса Москвы» Андрей Павлович Лансберг.

Много-много лет спустя В. М. Дорошевич в дружеской беседе рассказал о первой нашей встрече.

В поисках сенсаций для «Голоса Москвы» В. М. Дорошевич узнал, что в сарае при железнодорожной будке, близ Петровско-Разумовского, зарезали сторожа и сторожиху. Полный надежд дать новинку, он пешком бросился на место происшествия. Отмахав верст десять по июльской жаре, он застал еще трупы на месте. Сделав описание обстановки, собрав сведения, он попросил разрешения войти в будку, где судебный следователь производил допрос.

— Я обратился к уряднику, — рассказывал он мне через десять лет, — караулившему вход, с просьбой доложить следователю обо мне, как вдруг отворилась дверь будки, из нее быстро вышел кто-то — лица я не рассмотрел — в белой блузе и высоких сапогах, прямо с крыльца прыгнул в пролетку, крикнул извозчику — лихач помчался, пыля по дороге.

Меня, — продолжал рассказ В. М. Дорошевич, — принял судебный следователь Баренцевич, которому я отрекомендовался репортером: «Опоздали батенька! Гиляровский из «Русских ведомостей» уже был и все знает. Только сейчас вышел... Вон едет по дороге!» Я был оскорблен в лучших своих чувствах, и как я тебя в тот миг ненавидел!

Печатался «Голос Москвы» в надворном флигеле дома Горчакова на Страстном бульваре в типографии В. Н. Бестужева, который был кругом в долгах, а ему,

в свою очередь, был должен только один человек на свете: И. И. Зарубин!

Скоро сотрудникам перестали аккуратно платить, и редактор Н. В. Васильев ушел. Под газетой появилась подпись «Редактор-издатель И. И. Зарубин», но к декабрю фактически он уже владельцем газеты не был — она перешла к В. Н. Бестужеву, который и объявил о подписке на 1886 год.

Подписка была плохая. Забрав деньги злополучных подписчиков, В. Н. Бестужев прекратил газету, а И. И. Зарубин исчез из Москвы...

В типографии В. Н. Бестужева печаталась еще ежедневная газета «Жизнь», издательницей которой была Е. Н. Погодина, а редактором Д. М. Погодин, сын известного ученого М. П. Погодина, владелец типографии в доме Котельниковой на Софийской набережной.

В этой типографии Д. М. Погодина в 1881 году начал печататься «Московский листок», но через год перешел в свою типографию. Успех «Московского листка» вскружил голову супругам Погодиным, и они начали издавать сперва «Московскую газету», которую дотянули до 1884 года. Потратив все наличные деньги из своего наследства, они прекратили издание, а с 1 января 1885 года выпустили за теми же подписями «Жизнь», печатая ее в своей типографии. Газета не шла ни в розницу, ни по подписке. После пасхи типографию у них отняли за долги, и газета стала печататься в типографии И. И. Смирнова, на Маросейке, в доме Хвощинской. Платить было нечем, и газету надо было прекращать, но тут явился на помощь известный адвокат Ф. Н. Плевако, который дал денег и напечатал в ней несколько статей, отказавшись от дальнейшего участия.

* * *

Года за два перед этим в Москве появился некто В. Н. Бестужев, дворянин одной из черноземных губерний, выдававший себя за богатого человека, что ему и удавалось благодаря его импозантной наружности.

Здоровенный, красивый малый, украшенный орденами, полученными во время турецкой кампании, он

со всеми перезнакомился, вел широкую жизнь, кутил и скандалил, что в особый грех тогда не ставилось, и приобрел большую типографию в доме П. И. Шаблыкина, на углу Большой Дмитровки и Газетного переулка.

П. И. Шаблыкин, состоявший тогда чиновником особых поручений при генерал-губернаторе, покровительствовал своему арендатору типографии, открытой им, кажется, на имя жены, которая не касалась дела, а распоряжался всем сам В. Н. Бестужев.

В типографии его печатались тогда «Современные известия» и еще несколько изданий.

Сам он тоже выпускал какой-то «Листок объявлений», выходивший раза 3—4 в год. Желание иметь свою газету в нем кипело. Пробовал просить разрешение на издание, но столь прославленному скандалисту получить его не удавалось. Узнав, что дела Погодиных плохи, В. Н. Бестужев вошел в газету с тем, что имена издателя и редактора остаются, а фактически газета будет принадлежать ему.

Редакция «Жизни» помещалась в третьем этаже надворного флигеля дома Шаблыкина, на Большой Дмитровке, против конторы Большого театра, где впоследствии был Театральный музей С. И. Зимина.

Заведовал редакцией секретарь Нотгафт, мужчина чрезвычайно презентабельный, англизированного вида, с рыжими холеными баками, всегда изящно одетый, в противовес всем сотрудникам, журналистам последнего сорта, которых В. Н. Бестужев в редакции поил водкой, кормил колбасой, ругательски ругал, не имея возражений, потому что все знали его огромную физическую силу и привычку к мордобою.

Издательница и редактор не бывали в редакции: чего доброго, еще изобьют! Газета печаталась и не шла. Объявлений никаких не было. Были только два бесплатных: первое — «Продается библиотека покойного М. П. Погодина в 10 000 томов. Есть книги на сарматском, датском, шведском и финском языках. Обширный Славянский Отдел. Каталог — целый том, стоит 400 рублей», и второе: «Портретная галерея русских писателей (120 масляной краской), оставшаяся после покойного М. П. Погодина, продается, Софийская набережная, д. Котельниковой».

В один из обычных мало веселых редакционных дней бегал по редакции, красный от волнения и вина, В. Н. Бестужев и наконец, выгнав всех сотрудников, остался вдвоем с Нотгафтом. Результатом беседы было то, что в газете появился, на первой и второй страницах, большой фельетон: «Пиковая дама». Повесть. «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность». «Новейшая гадательная книга...»

Все было в фельетоне, как у А. С. Пушкина.

В конце фельетона была подпись: «Ногтев. Продолжение следует».

Эффект был поразительный! По Москве заговорили, что «Пиковая дама» А. С. Пушкина печатается в газете «Жизнь»!

Всю розничную торговлю в Москве того времени держал в своих руках крупный оптовик Петр Иванович Ласточкин, имевший газетную торговлю у Сретенских ворот и на Моховой. Как и почему, — никто того тогда не знал, — П. И. Ласточкин, еще в 4 часа утра, в типографии взял несколько тысяч номеров «Жизни» вместо двухсот экземпляров, которые брал обычно. И не прогадал.

Мало того, чуть ли не целый день в типографии печатался этот номер и его раскупали газетчики.

Московские газеты напустились на эту выходку «Жизни»; одни обвиняли редакцию в безграмотности, другие в халатности, бранили злополучную чету Погодиных.

Эту дикую выходку В. Н. Бестужева своим практическим умом разгадал один Н. И. Пастухов.

Когда ему за утренним чаем А. М. Пазухин, вошедший с рукописью в руках и газетой «Жизнь», подал заметку о безграмотной редакции, Н. И. Пастухов, уже заранее прочитавший газету, показал ему кукиш и сказал:

— А этого он не хочет?

— Я не понимаю, Николай Иванович! Кто?

— Бестужев твой! Ведь это он для рекламы такую штуку отчубучил! Вот, гляди, завтра все его ругать начнут, а ему только это и надо!

Н. И. Пастухов правильно угадал смысл выходки В. Н. Бестужева. Газета с этого дня пошла в ход. Следующий номер также разошелся в большом количестве, но в нем было только помещено следующее письмо:

Письмо в редакцию

«Чтобы снять с почтенной редакции газеты «Жизнь» всякое нарекание в каком-либо недосмотре или небрежном отношении к делу, прошу напечатать настоящее мое заявление: заведуя в качестве секретаря редакции получаемыми рукописями и формируя к выпуску газету, я во вчерашнем № 125 «Жизни» допустил напечатать фельетон «Пиковая дама». Вполне доверяя лицу, мне лично известному и без сведения редактора приняв вышеозначенный фельетон, я прямо передал его в набор, никак не предполагая, что за ним кроется плагиат, и затем допустил его к напечатанию. Грубая ошибка была обнаружена уже по выходе газеты и только настоящим письмом считаю возможным разъяснить мистификацию. К. Ногтев».

Фамилия эта в литературных кругах, конечно, была неведомой.

По сведениям из типографии стало известно, что в гранках фельетон был без всякой подписи, потом на редакторских гранках появилась подпись, сделанная В. Н. Бестужевым: «К. Нотгафт», и уже в верстке рукой выпускающего была зачеркнута и поставлено «Ногтев».

Н. И. Пастухов оказался прав. Газету разрекламировали. На другой день вместе с этим письмом начал печататься сенсационный роман А. Ив. Соколовой «Новые птицы — новые песни», за ее известным псевдонимом «Синее домино».

Роман заинтересовал публику, и на некоторое время «Жизнь» удержала розницу. Появились платные крупные объявления. Половину первой страницы заняли объявления театров: «Частный оперный театр» в доме Лианозова, в Газетном переулке; «Новый театр Корша»; «Общедоступный театр Щербинского», носивший название Пушкинского, в доме барона Гинзбурга на Тверской; «Театр русской комической оперы и оперетки» Сетова в доме Бронникова, на Театральной

площади». На четвертой странице появились объявления докторов по секретным болезням, «подседнокопытная мазь от всех болезней Иванова», а также стали печататься объявления фирм: правления мануфактур Саввы Морозова, Банкирская контора Выдрина, Брокара, Ралле, Депре.

В мелких газетах часто печатались судебные отчеты о скандалах В. Н. Бестужева, но большие газеты, в частности «Русские ведомости», такими делами не интересовались.

На время В. Н. Бестужев затих, пошли слухи, что он женился на богатой — женился и переменился! Снял большую типографию, занялся издательством, а потом через полгода опять закутил.

Однажды я выходил из театра Корша и услыхал, как швейцар Роман стремительно выбежал на театральное крыльцо и кричит:

— Одиночка Бестужева, Герасим!

За швейцаром в николаевской шинели с бобровым воротником и волчьей папахе козырем вышел атлет с закрученными усами и сверкающими глазами.

Швейцар поискал одиночку Бестужева, вернулся и доложил атлету в николаевской шинели:

— Герасима нет! Его в участок пьяного отправили!

— Мер-рзавец! — загремел атлет, взглянул на меня, остановился на полслове, от удивления раскрыл рот, стремительно бросился и обнял меня: — Соллогуб! Ты ли это? Откуда? Пойдем к «Яру»!

Сделавшись центром внимания знакомых, выходивших из театра, я спустился с ним на тротуар, а пока он нанимал извозчика к «Яру», исчез в толпе и долго слышал еще его ругань.

Так вот он кто такой, В. Н. Бестужев!

Эта встреча была вскоре после напечатания «Пиковой дамы», история которой еще не заглохла среди москвичей.

* * *

В это время дела В. Н. Бестужева, по-видимому, не веселили. Он перевел в свою типографию редакцию «Жизни», в дом Горчакова на Страстном бульваре.

Кредиторы и полиция ловили В. Н. Бестужева: первые—за долги, вторые—чтобы отправить на высидку в «Титы» по постановлениям десятка мировых судей, присудивших его к аресту за скандалы и мордобития. Ни сотрудники, ни типография денег не получали. Одна газета закрылась, а другая едва выходила. Лучшие наборщики разошлись — остались пьяницы и «подшибалы» с Хитрова рынка.

Подшибалами были спившиеся с круга наборщики, выгнанные отовсюду и получавшие работу только в некоторых типографиях поденно, раз в неделю, в случае какой-нибудь экстренности.

Днем они, поочередно занимая друг у друга опорки и верхнее рваное платье, выбегали из ворот в Глинищевский переулок и становились в очередь у окна булочной Филиппова, где ежедневно производилась булочной раздача хлеба, по фунту и больше, для нищих бесплатно. Этим подаянием и питались подшибалы, работавшие у В. Н. Бестужева.

Подшибалы — это, так сказать, яркие типы «рабов капитала». В старые времена на подшибалах наживали деньги типографщики. Делились они на ночных и денных. Ночные получали вдвое и приглашались даже во все газеты, кроме «Русских ведомостей», «Московского листка» и «Русского слова», где штат наборщиков был постоянный, полностью укомплектованный. Особенно типографщики нуждались в подшибалах перед праздниками, когда листы газет были забиты объявлениями. Многие мелкие типографии даже жили подшибалами, но и крупные иногда не брезговали пользоваться их дешевым трудом. Богатая типография Левенсона, находившаяся до пожара в собственном огромнейшем доме на Петровке, была всегда переполнена подшибалами. Лучшие из них получали 50 копеек в день, причем эти деньги им платились в два раза: 30 копеек в полдень, а вечером остальные 20, чтобы не запили днем. Расходовались эти деньги подшибалами так: 8 копеек сотка водки, 3 — хлеб, 10 — в «пырку», так звались харчевни, где за пятак наливали чашку щей и на 4 копейки или каши с постным маслом, или тушеной картошки; иные ухитрялись еще из этого отрывать на махорку.

Вечером меню было более сокращенным, из которого пятак оставлялся на ночлег в доме Ярошенко на Хитровом рынке, где в двух квартирах ютились специально подшибалы. Некоторые из подшибал ухитрялись ночевать в типографиях Левенсона, В. Н. Бестужева и еще кое у кого под реалами.

Подшибал использовали иногда типографщики при забастовках наборщиков, и они работали под защитой полиции.

Отсюда и название: «Подшибалы!»

Эти подшибалы и составляли основную массу работающих в типографии В. Н. Бестужева. Спали под кассами, на полу, спали в кухне, где кипятился куб с горячей водой, если им удавалось украсть дров на дворе. О жалованье и помину не было.

Поздно ночью, тайно, являлся к ним пьяный В. Н. Бестужев, посылал за водкой, хлебом и огурцами, бил их смертным боем — и газета выходила. Подшибалы чувствовали себя как дома в холодной, нетопленной типографии, и так как все были разуты и раздеты — босые и голые, то в осенние дожди уже не показывались на улицу.

Вдруг на номере 223 газета остановилась — это был последний номер издания В. Н. Бестужева.

По требованию домовладельца явилась полиция и стала выгонять силой подшибал и отправлять в больницу: у кого тиф, у кого рожа!

В этот год свирепствовали в Москве заразные болезни, особенно на окраинах и по трущобам. В ночлежках и притонах Хитровки и Арженовки то и дело заболевали то брюшным, то сыпным тифом, скарлатиной и рожей.

За разными известиями мне приходилось мотаться по трущобам, чтобы не пропустить интересного материала. Как ни серьезны, как ни сухи были читатели «Русских ведомостей», но и они любили всякие сенсации и уголовные происшествия, а редакция ставила мне на вид, если какое-нибудь эффектное происшествие раньше появлялось в газетах мелкой прессы.

На одном из расследований на Хитровке, в доме Ярошенко, в квартире, где жили подшибалы, работавшие у В. Н. Бестужева, я заразился рожей.

Мой друг еще по холостой жизни доктор Андрей Иванович Владимиров лечил меня и даже часто ночевал. Температура доходила до 41°, но я не лежал. Лицо и голову доктор залил мне коллодиумом, обклеил сахарной бумагой и ватой. Было нечто страшное, если посмотреться в зеркало.

В это время зашел ко мне Антон Павлович Чехов, но А. И. Владимиров потребовал, чтобы он немедленно ушел, боясь, что он заразится.

Когда я стал поправляться, заболел у меня ребенок скарлатиной. Лечили его А. П. Чехов и А. И. Владимиров. Только поправился он — заболела сыпным тифом няня. Эти болезни были принесены мной из трущоб и моими хитрованцами.

— Вот до чего ваше репортерство довело! — говорила мне няня.

* * *

Во время этих перипетий В. Н. Бестужев исчез из Москвы.

До его исчезновения, кроме театра Корша, я только один раз его встретил за завтраком в ресторане Ливорно.

Забегаю как-то вечером перекусить в этот актерский ресторанчик в Кузнецком переулке. Публики, по летнему времени, никого. За столиком сидят трое: Дорошевич, Риваль-Прохоров, талантливый романист, старый мой друг, и В. Н. Бестужев.

В. М. Дорошевич еще в потрепанных штанах, которые настолько коротки, что не закрывают растянутых резинок, просящих есть штиблет, Риваль в мятой крахмальной рубахе и галстуке шарфиком, бант которого раскинулся по засаленному воротнику пиджачка с короткими рукавами, а В. Н. Бестужев в шикарной паре.

— Гиляй, милый, садись с нами! Это Бестужев... Это Дорошевич... А это Владимир Алексеевич Гиляровский, которого вы, конечно, знаете.

Они оба встали и пожали мне руку.

В. М. Дорошевич на меня смотрел сумрачно, а В. Н. Бестужев расплылся в улыбку:

— Да мы с Владимиром Алексеевичем давно знакомы! Во-первых, оба, так сказать, герои турецкой войны, а потом по Пензе. Я — пензенский помещик!

О встрече у подъезда театра Корша — ни слова. И начал рассказывать о широкой жизни в Пензе, о катаниях на тройках, обедах у губернатора — и еще черт знает о чем залихватски врал.

Я не мешал ему — и он, по-видимому, был очень этим доволен.

На самом деле все было гораздо проще: в 1878/79 году я служил под фамилией Соллогуба актером в труппе Далматова в Пензенском театре, куда приехал прямо с турецкой войны.

В вечер, о котором идет рассказ, шла оперетка «Птички певчие» с участием лучшей опереточной певицы того времени Ц. А. Раичевой. Губернатора играл Далматов, Пиколло — Печорин, я — полицмейстера. Сбор неполный, но недурной.

Во время первого антракта смотрю со сцены в дырочку занавеса. Публика — умная в провинции публика — почти уже уселась, как вдруг, стуча костылями и гремя шпорами и медалями, движется, возбуждая общее любопытство, коренастый, могучего вида молодой драгунский унтер-офицер, вольноопределяющийся, и садится во втором ряду.

В последнем акте, смотря со сцены, я заметил, что место его было пусто.

Публика разошлась. Мы разгримировались, переодеваемся. Вдруг в уборную В. П. Далматова влетает содержатель буфета Руммель и жалуется, что военный на костылях, весь в орденах, еще в предпоследнем антракте уселся в комнатке при буфете, распорядился подать вина на двадцать рублей, напился и уснул.

— Когда я его стал будить, — рассказывал Руммель, — он начал ругаться, вынул револьвер, грозил всех перестрелять, а когда я сказал, что пошлю за полицией, — он заявил, что на полицию плюет и разговаривать может только с плац-адъютантом. Мы уже посылали за полицией, но квартальный его знает и боится войти: застрелит! — закончил содержатель буфета.

В. П. Далматов смекнул, в чем дело, и ко мне:

— Володя, надень свою черкеску, Георгия, возьми у реквизитора офицерские погоны и аксельбанты адъютантские, подклей усики и нагони-ка на него холоду.

Я надел свою шикарную черкеску с малиновым бешметом, Георгия, общеармейские поручичьи погоны и шашку. Для устрашения подклеил усы, загнул их кольцом, надвинул на затылок папаху и пошел в буфет, откуда далеко доносился шум.

Смотрю в дверную щель. Развалившись на стуле, за столом с посудой сидит огромный юнкерище, стучит по столу и требует шампанского. На соседнем стуле лежат два черных костыля и шинель солдатского сукна.

В коридоре толпились актеры и смотрели в другую дверь. Я быстро подошел к чудищу.

— Встать! — крикнул я так, что юнкер в испуге вскочил, забыв о костылях, и взял под козырек, хотя шапки у него не было.

— Какого полка?

— Московского драгунского...

— Это что у вас за медали? Откуда медаль в память войны двенадцатого года? Севастопольская, за усмирение польского мятежа?! Откуда они?

— Я старший в роде. Отцовские и дедовские медали!

— А почему за последнюю войну шесть штук одинаковых?

— Из разных мест посылали...

— А костыли для чего?

— У меня была сломана нога, г-н поручик!

Он к каждому ответу прибавлял «господин поручик» и отрезвел сразу.

— Ну, вот что, молодой человек! Я сам был молод, сам кутил. Прощаю вас на первый раз. Извольте уходить домой! Следовало бы вас за эти медали и за все поведение на гауптвахту, но я прощаю. Идите!

— Очень благодарен, г-н поручик. Извиняюсь... лишка выпил... — И уж совсем другим тоном к буфетчику:

— Эй, ты, сколько с меня?

— Двадцать рублей...

Он вынул из кармана пачку денег, бросил двадцатипятирублевку:

— Сдачи не надо!

— Г-н поручик, разрешите надеть шинель?

— Одевайтесь и уходите! Живо!

Я повернулся и вышел в коридор. На него надели шинель, и он молча застучал костылями по коридору и ушел, бросив рубль сторожу Григорьичу, который запер за ним дверь.

На другой день пристав, театрал и приятель В. П. Далматова, которому тот рассказал о вчерашнем, сказал, что это был драгунский юнкер Владимир Бестужев, который, вернувшись с войны, пропивает свое имение, и что сегодня его губернатор уже выслал из Пензы за целый ряд буйств и безобразий.

Пристав уже раньше знал все происшествие от буфетчика Руммеля, который также рассказал обо всем в гостинице Варецова, где жил юнкер.

Все подробности этого события дошли и до В. Н. Бестужева, который собрался идти и пристрелить актера Соллогуба, так его осрамившего, но в это время пришла полиция и, не выпуская на улицу, выпроводила его из Пензы. Таково было наше первое знакомство.

* * *

После закрытия газеты В. Н. Бестужев, как я уже сказал, словно в воду канул.

Прошло много лет. В. М. Дорошевич стал знаменитостью, и наши отношения обратились в теплую и долгую дружбу. Он совершил свою блестящую поездку на Сахалин и, вернувшись в Москву, первым делом приехал ко мне:

— А тебе я с Сахалина поклон привез от приятеля.

— От доктора Лобаса? — я находился с ним в переписке по поводу его кружка на Сахалине «Помощь каторге».

— Что Лобас! От Володи Бестужева! Только о тебе и говорил, вспоминал, как ты ему в Пензе клочку задал.

Оказалось, что В. Н. Бестужев очутился на Сахалине в должности смотрителя каторжной тюрьмы и бил

каторжников смертным боем — и при этом уверял всех и был сам глубоко уверен, что он лучший из сахалинских тюремщиков.

Каторга звала его:

— Атаман Буря.

В конце концов он попал под суд за зверства, растраты, пьянство, но не дождался суда: умер от разрыва сердца в камере следователя перед допросом.

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБАЛДЕНИЕ»

В 80-х годах при «Новом времени» стало выходить каждую субботу иллюстрированное литературное приложение. Кроме того, по субботам же печатались рассказы и в тексте газеты. Участвовали поэты, ученые и беллетристы, в том числе А. П. Чехов, печатавший свои рассказы четыре раза в месяц. Он предложил мне чередоваться с ним.

— Одну субботу ты, другую — я.

И послал мой первый рассказ, который через неделю был напечатан.

С этого я начал мое сотрудничество в «Новом времени», не бросая работы в «Русских ведомостях».

Я был единственным журналистом, одновременно работавшим в «Новом времени» и в «Русских ведомостях». И щепетильные, строгие «Русские ведомости» против этого ничего не имели.

Весной 1896 года «Русские ведомости» обратились ко мне с просьбой дать для них описание коронации. Кроме меня, должны были еще участвовать от них два корреспондента. Подали мы трое — я, Лукин и Митропольский в коронационную комиссию заблаговременно список на три лица, но охранное отделение утвердило только двух, а меня вычеркнуло, и редакция возвратила мне мои две фотографические карточки в полной неприкосновенности, поручив мне только давать для газеты уличные сцены.

Огорченный, я отправился из редакции домой и встречаю на Тверской А. В. Амфитеатрова. Он писал также фельетоны в «Новом времени». Рассказываю ему свое горе.

— Попробуем что-нибудь сделать; здесь проездом Суворин, я сегодня его увижу и попрошу, чтоб он записал тебя мне в помощники по Москве и выхлопотал тебе корреспондентский билет, ему ни в чем не откажут, ты же наш сотрудник притом. Тогда ты будешь писать в «Русские ведомости», а мне поможешь для «Нового времени» в Нижнем на выставке.

Я отдал ему фотографии и недели через две получил билет и печатный список корреспондентов на коронацию, в котором значился и я корреспондентом «Нового времени». Кроме меня, в списке стояло еще четыре корреспондента этой газеты, а пятым сам А. С. Суворин. Мне там было делать нечего, я преспокойно работал для «Русских ведомостей», а благодаря марке «Нового времени» везде имел первое место.

* * *

Благодаря этому билету такими же правами я пользовался и на Всероссийской Нижегородской выставке, куда поехал с Амфитеатровым. Мне было поручено описать торжественное открытие выставки и протелеграфировать раньше всех, срочно, в «Новое время». Я занял опять-таки благодаря званию корреспондента «Нового времени» место рядом с трибуной, откуда открывавший выставку министр финансов С. Ю. Витте говорил программную речь. Я ее записал всю, от слова до слова, и, поручив дальнейшие речи другому корреспонденту «Нового времени», Прокофьеву, бросился на телеграф и дословно передал срочной телеграммой в «Новое время» всю речь Витте. В ней было больше тысячи слов. С телеграфа я вернулся в зал, где уже кончилось торжество, и встретил секретаря Витте, который роздал только что написанную на машинке речь министра всем корреспондентам, которые решили ввиду краткости времени речь эту телеграфировать только завтра.

Я сказал секретарю, что мною речь уже послана,

и показал ему телеграфную квитанцию. Секретарь пришел в ужас.

— Да что вы сделали! Ведь здесь много изменений! Я об этом должен буду доложить министру. Получится разноголосица. Я доложу министру!

— Это ваше дело. А я сделал то, что обязан был сделать корреспондент.

Вернувшись в свой номер, я сравнил записанную мной речь Витте с полученной от секретаря и нашел, что моя телеграмма несколько иная. Амфитеатрова в этот день я не видал и только на другой день рассказал ему об этом.

— И прекрасно, что послал! — одобрил Амфитеатров.

Оказывается, что он уже знает обо всем случившемся. Посланная мной телеграмма произвела целую бурю. Витте обозлился, администрация переволновалась, но нашла выход: сию же минуту приказали Северному телеграфному агентству послать речь Витте по всей России, во все газеты.

Я с нетерпением ждал прибытия газет из Петербурга. Действительно, оказалось, что речь Витте напечатана в газетах от Северного телеграфного агентства только в «Новом времени»; в агентских телеграммах значилось казенное сообщение об открытии, законченное словами: «Министр вошел на кафедру и произнес речь», а далее от редакции: «См. выше телеграмму нашего корреспондента». Телеграмма была напечатана моя, но, по всей вероятности, ее частью исправили по агентской. Впоследствии я за нее получил гонорар, но больше в «Новом времени» не писал. С выставки давал Амфитеатров «Нижегородские впечатления», а я занялся спортивным отделом специально для редактируемого мной журнала «Спорт» и много времени проводил в городе на бегах, где готовился розыгрыш громадного бегового выставочного приза, которого мне, впрочем, не удалось дождаться...

* * *

До 1917 года у меня хранились записки и впечатления о выставке, которые я готовил к отдельному изданию, но за обычной суетой так и не докончил. Помню, что эта на-

чатая работа у меня носила заглавие «Нижегородское обалдение».

Огромный выставочный ресторан «Эрмитаж» с обширными террасами, уставленными сотнями богато сервированных столов, с полудня переполнялся завтракающими, обедающими и ужинающими... Шум, музыка в разных местах и время от времени оглушительный колокольный звон: это проба колоколов фирм, развесивших на звонницах свой товар. Московские заводы — Финляндского, Оловянищникова и Самгина привезли огромные и мелкие колокола. Звонари были артистами своего дела. Особенно отличался звонарь у Самгина, который вызванивал разные музыкальные мотивы.

Когда он разделывал на колоколах «камаринского», то слушатели так увлекались, что сами приплясывали. Под весь этот несмолкаемый шум хлопали в ресторане поминутно пробки шампанского, которое здесь лилось рекой.

Здесь пирует вся Москва. Публика Тестова, «Эрмитажа», «Праги» и «Яра». Даже сам Иван Иваныч здесь в своем цилиндре, слегка набекрень, который он то и дело снимает, раскланиваясь направо и налево. За ним шествует пять купеческих юнцов в смокингах и панамах. Судя по их физиономиям, он их ведет опохмеляться... Алексей Федорович, главный метрдотель, уже сервировал для богатых гостей стол и через минуту, почтительно склонившись, выслушивает заказ купеческого «арбитра элеганциарум». Он пробует ароматный белорыбий балык, что на языке тает. На круглом розовом лице то же выражение, как у Лупетки 22 года назад под Главным домом...

* * *

Да разве один он здесь Лупетка! Среди экспонентов выставки, выбившихся из мальчиков сперва в приказчики, а потом в хозяева, их сколько угодно. В бытность свою мальчиками в Ножовой линии, на Глаголе и вообще в холодных лавках они стояли целый день на улице, зазывая покупателей, в жестокие морозы согревались стаканом сбитня или возней со сверстниками, а носы, уши и распухшие щеки блестели от гусиного сала, лоснивше-

го помороженные места, на которых лупилась кожа. Вот за это и звали их «лупетками».

На декорированных стенах ресторана, как и во всех павильонах выставки, висели гербы Нижнего Новгорода, причем фигура герба — олень, выкрашенный в красную краску,—вызывала веселое настроение: уж в очень игривой позе этот олень был изображен живописцем. Амфитеатров, когда приглашал кого-нибудь в ресторан, всегда говорил:

— Пойдем под веселую козу!

А потом с его легкой руки это прозвание перешло и на всю выставку.

— Когда муж-то вернется? — спрашивают в Москве купчиху.

— А хто его знает! Под веселой козой загулял!

И действительно, здесь был разгул вовсю. Особенно отличались москвичи, бросавшие огромные деньги на дело и безделье: мануфактуристам устройство одних витрин, без товара, обошлось в четыре миллиона рублей.

«На витрины затрачено четыре миллиона. Сколько пропьют фабриканты?»

Эту задачу для детей младшего возраста можно было решить всякому, кто побывал под веселой козой в «Эрмитаже» и в других нижегородских местах разгула... Это был поток, который втягивал всякого мало-мальски известного человека. Вот почему у меня и явилось это название в моих пропавших записках — «Нижегородское обалдение».

В «Эрмитаже» на террасе был особый почетный стол, куда обыкновенные посетители не допускались. Сюда садились высшие чины администрации и некоторые приглашенные лица. Здесь всегда завтракали В. И. Ковалевский, М. И. Кази, писатель Д. В. Григорович, П. П. Семенов-Тяньшанский, адмирал Макаров, заведующие отделами и строители, Амфитеатров, который всегда затаскивал с собой и меня. Постоянным гостем был Савва Иванович Мамонтов, так гордившийся своим павильоном Севера, украшенным панно Врубеля, Константина Коровина и других корифеев живописи.

Из купечества за этим столом бывали только двое: первый Савва Морозов, кругленький купчик с калмыц-

кими глазами на лунообразном лице, коротко остриженный, в щегольском смокинге и белом галстуке, самый типичный цветок современной выставочной буржуазии, расцветший в теплицах капитализма на жирной земле, унавоженной скопидомами дедами и отцами. Второй — представитель последних, в долгополом сюртуке, в сапогах бураками, подстриженный по-старинному в кружок, бодрый и могучий, несмотря на свои шестьдесят лет, — Н. А. Бугров, старообрядец, мукомол, считающийся в десятках миллионов. Мельницы Бугрова, пароходы Бугрова, леса Бугрова, богадельня, приют и даже в далеких Ессентуках санаторий для бедных — Бугрова и Мальцева, а в соседнем городке—бугровский поселок, где, как сказывали, более ста небольших однотипных домиков с огородами и садиками. Поселок этот продолжал расти, и теперь, поддерживая пословицу: «Седина в бороду, а бес в ребро», и глядя на волжского богатыря Николая Александровича — его иначе не называли в городке, — смело можно было ожидать, что поселок удвоится, а население его утроится по меньшей мере... Проходит два-три месяца, смотришь — домик новый строится... Приезжает красавица-молодица со старушкой, в сарафанах или платьях с рядом пуговиц от ворота до подола, как в керженских или хвалынских скитах одеваются, как М. В. Нестеров красавиц заволжских на своих картинах кажет. Смотришь, года через два в садике под окошком молодичка расстегнула сарафан, младенца кормит, а старушка в темном сарафане другого нянчит...

Сюда Николай Александрович и наезжает отдыхать после трудов неусыпных. И никто его встречать не смеет — сам знает, к кому и когда ему зайти...

А в скитах какая-нибудь матушка Секлетея или Нимфодора выхаживает новую обитательницу поселка, которой уже домик строится, чтобы вовремя из скита переехать...

* * *

Сам я как-то не удосужился посетить город Гороховец, про который мне это рассказывали и знакомые нижегородцы и приятели москвичи, бывавшие там, но

одного взгляда на богатыря Бугрова достаточно было, чтобы поверить, тем более зная его жизнь, в которой он был не человек, а правило! Вставал рано, ложился рано, соблюдал не только посты, а среды и пятницы. И не пил ничего, кроме одного стакана шампанского, которое только пригубливал для порядка, чтобы компанию не расстраивать или не обидеть тех, с кем за столом сидит. А за столом приходилось ему сидеть и с министрами, которым он, как и всем без исключения, тоже говорил «ты».

В голодный 1892 год приехал к нему сам министр финансов Вышнеградский дать огромный заказ на поставку хлеба. Сговорились, сторговались.

— Ладно, сделаю, — сказал Бугров.

— А сколько вам, Николай Александрович, позволите аванса на закупки дать?.. Тысяч сто? — спрашивает министр.

— Да что ты, ваше превосходительство, смеетесь надо мной, что ли?.. Аванца! Своими обойдемся, мелочишкой-то! Ты уж не беспокойся: сказал — сделаю.

Даже во время выставки на обеде, данном купечеством Витте, Бугров и всесильный министр разговаривали при всех на «ты».

— Ладно, Сергей Юльич, уж будь без сумления, сделаю... — и они пожали друг другу руки.

А вот супругу Витте, знаменитую Матильду, он обидел — и все обошлось благополучно.

Надо сказать, что Бугров признавал только своих скитских простушек и не выносил важных дам, особенно благотворительниц, надоедавших с просьбами. Он их даже не удостаивал разговорами.

Как-то Бугров, вскоре после обеда Витте, сидел за почетным столом и посасывал по капельке «Аи». Он другого шампанского не признавал, а «Аи» называл «Ау» и вывел отсюда глагол: «аукнуть».

К столу подходит с портфелем в руках один из секретарей Витте и, сделав общий поклон, обращается к Бугрову, после целого потока извинений, что позволил себе не вовремя побеспокоить:

— Сейчас в кабинете его высокопревосходительства идет дамское заседание под председательством супруги

министра по делу благотворительности. Ее высокопревосходительство просит вас пожаловать в заседание... Вас ждут, и мне приказано без вас не возвращаться... Я не могу вернуться без вас...

— Ну-к што ж. Хошь вертайся, хошь не вертайся, твое дело... А я не пойду... А коли вернешься, так скажи, что Николай Александрович сказал, что ему недосуг. Понял: ему не-до-суг.

И пошел по выставке анекдот: Бугров Матильду сукой назвал.

Савву Морозова Бугров здорово недолюбливал за его либеральные речи и как-то выразился среди друзей на своеобразном языке по поводу его высшего образования:

— Хвалится — ниверситет проходил! Проходил —по коридору скрозь! А что ежели жетоном хвалится, так это ему отец у профессырей выхлопотал!

Не любила Бугрова ресторанная прислуга — на чай гривенник по-старинному давал, а носильщики на вокзале и в Москве и в Нижнем, как увидят Бугрова выходящим из вагона, бегут от него — тоже больше гривенника за пудовый чемодан не дает!

* * *

Исключение насчет «на чай» прислуге он делал только за этим почетным столом, чтоб не отставать от других. Здесь каждый платил за себя, а Савва Морозов любил шиковать и наливал соседей шампанским. От него в этом не отставал и Савва Мамонтов. Мне както пришлось сидеть между ними. Я слушал с интересом рассказ Мамонтова о его Северном павильоне справа, а слева — Савва Морозов все подливал и подливал мне «Ау» , так как Бугров сидел с ним рядом и его угощал Морозов.

* * *

Завтрак проходил; к концу является опоздавший Амфитеатров, глядит на меня и смеется.

— Гиляй, ты красней веселой козы, а глаза у тебя осовели!

— Видишь, — ответил я ему, показывая правой рукой на Мамонтова, а левой на Морозова, — как не осаветь!

— Вижу, справа Савва, слева Савва, тут осавеешь!

Начался этот завтрак шуткой, а кончился...

Когда-то мне отец сказал:

— Язык твой — враг твой, прежде ума твоего рыщет!

Впоследствии я не раз вспоминал эти его мудрые слова, а тут не до них было, под веселой козой!

Амфитеатров наскоро закусил и торопливо куда-то ушел, а мы продолжали сидеть и благодушествовать. Были незнакомые петербургские чиновники, был один из архитекторов, строивших выставку. Разговор как-то перекинулся на воспоминания о Ходынке, и, конечно, обратились ко мне, как очевидцу, так как все помнили мою статью в «Русских ведомостях».

— Ну, а какая причина катастрофы? — спросил кто-то.

А Савва мне все подливает.

— Одна из причин гибели такой массы народа — это Всероссийская выставка. Особенно вот это главное огромное железное здание!

Я указал на железный павильон.

— Ведь все эти железные павильоны остались от прежней московской Всероссийской выставки на Ходынке. Вот их-то в Петербурге, экономии ради, и решили перевезти сюда, хотя, говоря по совести, и новые не обошлись бы дороже. А зато, если бы стояли эти здания на своих местах, так не было бы на Ходынке тех рвов и ям, которые даже заровнять не догадались устроители, а ведь в этих-то ямах и погибло больше всего народу.

И вижу я, что моя публика смутилась, а Савва Морозов даже бутылку шампанского отставил в другую сторону, хотя у меня фужер был пустой. Только один Бугров поддержал меня:

— А знаешь, ты это верно... Не сломай — несчастья не было бы.

Архитектор открыл рот, да так и остановился...

На мое или на их счастье, вдруг грянул оркестр и одновременно раздался колокольный «камаринский».

Как-то перевели разговор на колокола, а потом стали расходиться.

— Николай Александрович, где вы сегодня вечером? Приходите в театр, — предлагает Бугрову Морозов.

— Чего я там не видал? Как голые девки через голых мужчин сигают?

В Москве Бугров бывал только в Большом театре.

Вот тут-то, смотря на чиновничьи форменные фуражки министерства финансов, я вспомнил слова моего отца.

Я всегда вспоминал эти слова не вовремя. Надо было бы их вспомнить и на другой день, на каком-то торжественном обеде, где я проговорил то, что было не по месту и не по времени, да еще пустил какой-то экспромт про очень высокопоставленную особу.

Дня через три после этого меня вызвали в Выставочный комитет и предложили мне командировку — отправиться по Волге, посетить редакции газет в Казани, в Самаре, в Симбирске и в Саратове и написать в газетах по статье о выставке, а потом предложили проехать на кавказские курорты и тоже написать в курортных газетах. Тут же мне вручили пакет, в котором было пятнадцать новеньких, номер за номером, радужных сторублевок, билет на шелковой материи от министерства путей сообщения на бесплатный проезд в первом классе по всей сети российских железных дорог до 1 января 1897 года и тут же на веленевой бумаге открытый лист от Комитета выставки, в котором просят «не отказать в содействии В. А. Гиляровскому, которому поручено озаботиться возможно широким распространением сведений о выставке».

Это было так «безапелляционно» предложено, что я положил в карман полученное и отправился к Амфитеатрову, но он внезапно уехал в Москву.

И опять вспомнил слова моего отца, когда ехал на пароходе вниз по матушке по Волге, но на этот раз я уже не сожалел о том, что на выставке забыл их.

Вначале выставка пустовала. Приезжих было мало, корреспонденты как столичных, так и провинциальных газет писали далеко не в пользу выставки и, главное, подчеркивали, что многое на ней не готово, что на самом

деле было далеко не так. Выставка на ее 80 десятинах была так громадна и полна, что все готовое и заметно не было. Моя поездка по редакциям кое-что разъяснила мне, и газеты имели действительно огромное влияние на успех выставки.

Из Нижнего я выехал в первой половине июня на старом самолетском пароходе «Гоголь», где самое лучшее было — это жизнерадостный капитан парохода, старый волгарь Кутузов, знавший каждый кусок Волги и под водой и на суше как свою ладонь. Пассажиров во всех трех классах было масса. Многие из них ехали с выставки, но все, и бывшие, и не бывшие на выставке, ругались и критиковали. Лейтмотив был у всех:

— Открыли неготовую выставку.

— Что же не готово на выставке? — спросил я одного низового купца.

— Мало ли что.

— Нет, что именно?

— Много еще чего не хвата-ат.

— Да вы подробно осмотрели все?

— Так, раза два заходил с приятелем... Панораму глядели, моржей ученых смотрели.

— А еще что?

— Минина — Пожарного видели... А потом в «Эрмитаж» зашли... Хотели еще вчера поглядеть, да не попали, в городе заканителились... Известно, дело наше хлебное, торговое — тот хорош, другой надобен... Да мы еще побываем на выставке, когда она вся сполна будет.

— Да как же вы можете говорить о выставке, когда вы, кроме «Эрмитажа» и моржей, ничего не видели?

— А в газетах-то пишут.

Я взял купца за руку, подвел его к вывешенному объявлению и показал красную строку: «Выставка вполне закончена». Выругал купец газетчиков и уверовал. Так и дома скажет. А таких купцов тысячи. Другие, оказывается, и совсем не были на выставке, а ругательски ругаются со слов газет и из желания хоть как-нибудь да поругать начальство, блеснуть перед слушателем смелостью и полиберальничать...

Такими же моськами оказались и многие корреспонденты и редакторы газет. Я переговорил со многими ре-

дакторами газет, которые мне пришлось посетить. Они охотнее печатали обличительные корреспонденции только потому, что обличительное читается лучше, показывает, что газета никого не боится, даже самого устроителя Витте всемогущего, которого все терпеть не могли.

— Любит, брат, это наша публика, — говорил мне один из приволжских редакторов, мой старый товарищ по Москве.

Другие редакторы обижались, что им прислали только по одному билету на выставку.

— Будь с нами полюбезнее выставка, мы бы ее поддержали... Вот мы и пишем, что она не готова, пусть почувствует.

— Да ведь это же неправда! А если я вам напишу совершенно противоположное?

— Это будет подрыв престижа газеты. Впрочем, дайте статью.

Я прошел в контору редакции и, заплатив девять рублей, сдал объявление о выставке, такое, какое вывешено было на пароходе и вывешивается всюду, а на другой день в редакцию сдал статью, от которой отказаться было нельзя: напечатанным объявлением о готовности выставки редактор сжег свои корабли.

В числе моих обязанностей было побывать попутно в городах у управляющих казенных палат и директоров Государственного банка с поручением им развесить объявление о выставке в учреждениях города. Мой открытый лист за подписью вице-президента выставки всеми любимого и уважаемого В. И. Ковалевского производил на них впечатление.

На пароходе «Гоголь» я познакомился с управляющим банка в Астрахани Швецовым, который весьма любезно принял для развешивания объявления и заметку в «Астраханском листке», чем дал мне возможность сэкономить неделю моей поездки. Из Царицына я поехал на Кавказ и на Дон. Я закончил мою поездку Кисловодском и потом уже в августе снова побывал на выставке, где был дружески встречен всеми: приезда Витте и всякого начальства тогда уже не ожидалось, публики было много.

* * *

О, какого мог бы разыграть я Хлестакова с этим билетом и открытым листом!

Министерский билет первого класса я скромно предъявлял контролю в вагоне и вводил в смущение железнодорожное начальство.

— Ваше превосходительство, пожалуйте, купе свободное есть.

Положительно, можно было зазнаться.

За кого они меня принимали, не знаю, но во всяком случае не за административно высланного газетного корреспондента.

Да и могли ли иначе выслать корреспондента «Нового времени», да еще такого неосторожного на язык в публичных местах!

Широко я попользовался этим билетом. Мотался всюду, по всей России, и на Кавказ, и в Донские степи, и в Крым, и опять на выставку приезжал, а зимой чуть не на каждую пятницу поэтов, собиравшихся у К. К. Случевского, ездил в Петербург из Москвы с курьерским. И за все это я был обязан встрече на улице с Амфитеатровым, который через три года дал мне еще более интересную работу.

«РОССИЯ»

В половине апреля 1899 года меня вызвал по телефону в Петербург А. В. Амфитеатров и предложил мне взять на себя обязанности корреспондента из Москвы и заведование московским отделением вновь выходящей большой газеты «Россия».

Совершенно неожиданно засверкала на газетном небосклоне эта

> Беззаконная комета
> Среди расчисленных светил.

О самом появлении ее чуть не до самого дня выпуска и слышно ничего не было, и вдруг огромная, интересная газета, подписанная «Г. П. Сазонов — редактор-издатель». В газетном мире лицо совершенно не известное. Знали, что это ученый-экономист, человек, живущий своим трудом.

Но знали также, что фактический редактор и заведующий всем делом А. В. Амфитеатров и что на издание имеются огромные средства.

У Амфитеатрова никогда не было никаких средств. Был случай, что он вздумал держать театр, на который ухлопал несколько тысяч, и задолжал на много лет.

Помню я, что во время неудачной антрепризы я послал ему четверостишие, за которое даже он немного посердился.

Жаль, что ты Амфитеатров,
Жаль, что держишь ты театр.
Лучше был бы ты Театров
И ходил в амфитеатр!

Откуда деньги, я узнал случайно уже много после, когда в редакции Дорошевич познакомил меня с красивым, изящным брюнетом, одетым по последней моде.

— Матвей Осипович Альберт, наш издатель.

— Да мы уже давно знакомы, еще с выставки да и по Москве.

М. О. Альберт — я его знал в 1897 году директором Московского отделения немецкого Общества электрического освещения, где были пайщиками и крупные капиталисты, коренные москвичи. До выставки, говорят, он был служащим в одном из предприятий Мамонтовых, потом как-то сразу выдвинулся и в Петербурге уже очутился во главе Общества Невского судостроительного завода, где пайщиками были тоже главным образом немцы. И вот этот самый Альберт, ничего общего не имевший до того с печатным делом и мало кому ведомый, выбросил на газету целый капитал.

* * *

И вот, огромная, интересная газета вышла 28 апреля 1899 года, когда кипела подготовка к Пушкинским торжествам в Москве, где уже с 26 апреля начались в Малом театре пушкинские спектакли и заседания в ученых обществах.

Газету выпустили в день десятилетия смерти Щедрина, и в ней огромный, в полстраницы портрет его с автографом, стихотворением Елены Буланиной и избранных, не без риска получить для первого номера цензурной кары, две полосы незабвенных строк автора из его «забытых слов».

А дальше блестящая информация, повесть Авсеенка и ряд интересных статей.

Так и пошел номер за номером... В объявлении стояли имена заведующих отделами: финансовым, экономическим, земским и крестьянским — Т. П. Сазонов, литературным и политическим — А. В. Амфитеатров, научным — профессор П. И. Ковалевский и д-р И. Л. Януш-

кевич, музыкальным — И. Ф. Соловьев и Я. А. Рубинштейн, иностранным—Л. Ю. Гольштейн, театральным—Ю. Д. Беляев, московским — В. А. Гиляровский, провинциальным — фельетонист В. М. Дорошевич и общественным — А. В. Амфитеатров.

* * *

Московские известия я давал в редакцию по междугородному телефону к часу ночи, и моим единственным помощником был сербский студент Михаил Михайлович Бойович, одновременно редактировавший журнал «Искру», приложение к «Русскому слову», и сотрудничавший в радикальной сербской газете «Одьеко». Его честность и деловитость мне были необходимы, я на него мог положиться как на самого себя. Я был знаком с его семьей, жившей в Сербии: отец — учитель, сестра — учительница, мать и еще малолетние братья и сестры. Я с письмом Бойовича был у них в 1897 году, когда ездил в Белград, командированный Русским гимнастическим обществом, председателем которого я был, для участия на состязаниях, устраиваемых гимнастическим сербским обществом «Душан Сильный».

Во время моих отъездов из Москвы он заменял меня.

В газете помещалось много больших статей и фельетонов о Пушкине А. Фаресова, А. Зорина и др. Это было все ко времени, и каждая строчка о Пушкине читалась с интересом. Газета в Москве шла хорошо.

26 мая вместо еженедельного иллюстрированного приложения к газете был выпущен огромный портрет Пушкина в красках. Потом много лет я видел его в рамках на стенах москвичей...

Кроме телефона, вещи менее срочные посылались почтой. Одна из таких моих корреспонденций, напечатанная за полной подписью, начиналась так:

«Я сейчас имел счастие целовать ту руку, которую целовал Александр Сергеевич Пушкин».

Да, это было так. Мне удалось узнать, что еще жива В. А. Нащокина и ютится где-то в подмосковном селе Всехсвятском. Я нашел ее на задворках, в полуразрушенном флигельке. Передо мной на ветхом кресле сидела

ветхая, ветхая старушка, одна-одинешенька. Ее сын, уже с проседью, я видел его после на скачках в потрепанном виде, был без места и ушел в Москву, а его дети убежали играть.

Я всю беседу с ней описал тогда в «России», а теперь помню только, что она рассказывала о незабвенных вечерах. Пушкин всегда читал ей свои стихи, они сидели вдвоем, когда муж задерживался в Английском клубе.

Я рассказал ей о чествованиях Пушкина. Она как-то плохо восприняла это и только повторяла:

— Все Пушкин, все Пушкин!

Прощаясь, я поцеловал у нее руку, и она сказала, подняв на меня свои старческие глаза:

— Пушкин всегда мне руку целовал... Ах Пушкин, все Пушкин!

Я послал корреспонденцию в «Россию», а рассказ о Нащокиной — в Пушкинскую комиссию. Дряхлую старушку возили в одно из заседаний, чествовали и устроили ей пенсию.

* * *

Иногда приходилось добывать сведения, которые по цензурным, политическим и другим условиям московские газеты не печатали, но мне стесняться было нечего, и время от времени проскакивали сенсации.

В Москве существовала чайная фирма В-го, имевшая огромный оборот. Этого чаю в Москве почти не продавали, но он имел широкое распространение в западных и южных губерниях. Были города, особенно уездные, где другого чаю и достать нельзя было. Фирма рассылала по всем этим торговцам чай через своих комиссионеров, которые оставляли товар в кредит, делая огромную скидку, какой не могли делать крупнейшие московские фирмы—Поповы, Перловы, Филипповы, Губкины.

* * *

Встречаю как-то на улице знакомого татарина, который рассказывает мне, что чайная фирма В. выписала из голодающих деревень Заволжья большую партию татар, которые за грошовое жалованье, ютясь с семьями

в грязи и тесноте, работают по завертке чая. Они живут на своих частных квартирах, которые стали очагами заболевания сыпным тифом. Много их умерло, а живые продолжают работать, приходя из своих зараженных квартир рассыпать и завертывать чай. Я тотчас же отправился на их квартиры в переулках близ Грачевки и действительно нашел нечто ужасное: сырые, грязные помещения набиты татарскими семьями, где больные сыпным тифом, которых еще не успели отправить в больницу, лежат вместе со здоровыми... Говорил, спрашивал, выслушивал жалобы от всех, кто не боялся со мной говорить. Зашел в местный участок, где застал дежурного околоточного, который ровно ничего не знал об очаге сыпного тифа, так как это был не его околоток. Разыскал помощника пристава, но он мне ответил нехотя:

— Да, что-то такое я слышал, только я этим не заведую.

Я прямо отправился на междугородный телефон, вызвал Амфитеатрова, рассказал подробности и продиктовал заметку. Через день газета появилась в Москве. Это была сенсация. Ее перепечатали провинциальные газеты, а московские промолчали... От чая этой фирмы стали бояться заразиться сыпным тифом. Вечером ко мне приходили от фирмы, но меня не застали дома. На другой день явились два представителя ко мне, как к заведующему отделением «России», и начали требовать имя автора, грозя судом. Я их попросту выгнал. Но каким-то путем все-таки узнали, что автор заметки я. Часа через три явились два других франта, ласковые и заискивающие, совершенно просто и откровенно предложили мне крупную взятку, только чтобы я написал опровержение. Этих уж я так выгнал (жил в третьем этаже), что отбил навсегда охоту приходить с такими предложениями, и тотчас же вызвал Амфитеатрова, подробно рассказал о предложенной взятке и просил, чтобы редакция не печатала никаких опровержений, потому что известие верно и никто судиться не посмеет.

Шли дни. Разговор — по всей Москве, а в московских газетах ни строчки об этом ужасном факте. Ко мне зашел сотрудник одной газеты, человек весьма обделистый, и начал напевать о том, что я напрасно обидел

фирму, что из провинции торговцы наотрез отказываются брать их чай и даже присылают его обратно. Он мне открыто предложил взять взятку наличными деньгами и, кроме того, принять на несколько тысяч объявлений для газеты.

Амфитеатров по телефону передал мне, что его осаждают знакомые и незнакомые просьбами поместить опровержение и что тот самый сотрудник, который предложил мне взятку, был у него тоже и привозил деньги за объявления в газету, но редакция отказала наотрез печатать их. Между прочим, в числе ходатаев за фирму он назвал одного журналиста, сотрудничавшего в «Новостях» Нотовича. Незадолго перед этим этот журналист судился в Московском окружном суде за какое-то неважное дело и был оправдан. Председатель суда Е. Р. Ринк, известный остроумием, во время допроса обратился к нему:

— Подсудимый, мне помнится, несколько лет назад вы уже судились у нас... Это... Это было дело...

— На политической подкладке! — перебивает его подсудимый.

— А мне помнится, на лисьей. — Взрыв хохота в зале: многие помнили дело о какой-то комбинации с шубой.

В конце концов фирма щедро расплатилась с татарами, помогла пострадавшим, отправила семьи на родину и еще шире развила торговое дело, конечно, понеся стотысячные убытки первое время.

Главное, что меня порадовало, это то, что семьи татар были обеспечены.

Как-то утром ко мне явился мулла с депутацией от московских татар, благодарили меня, что заступился за несчастных голодающих, и поднесли мне благодарственный адрес с сотней подписей на русском и татарском языках.

НЕЧТО О СТАРОМ

Это было в декабре 1899 года, а ранее — в 1897 году — я был командирован Русским гимнастическим обществом в Сербию на всенародный гимнастический праздник, устраиваемый сербским обществом «Душан Сильный».

Приходится рассказать об этом празднике, хотя, по-видимому, трудно увязать репортерскую работу с гимнастикой!

А вышло так, что, не будь гимнастом, не участвовал бы я в нашумевшем на весь мир событии.

Сербия в это время, в 1897 году, была маленьким княжеством, населенным прекрасным трудящимся народом. Она управлялась после убийства князя Михаила Обреновича его племянником Миланом, вступившим на престол четырнадцатилетним с дурными пороками юношей.

С детства опекуны воспитывали Милана в Париже, где он не столько изучал науки, сколько веселился. Докняжив до 21 года, Милан задумал жениться, и ему подсватали бессарабскую красавицу с огромным состоянием, дочь русского полковника Наталью Кешко.

Милан рассчитывал на приданое, но умная Наталья удержала за собой право распоряжения своим состоянием, и Милан опустошал расходами на свой двор казначейство Сербии, которая после двух войн (1876 и 1877/78 годов) была в 1882 году из княжества провозгла-

шена королевством, к великому неудовольствию народа, боявшегося увеличения налогов.

Налоги на содержание короля возросли, Наталья денег не давала, и Милан стал ее врагом. В королевстве образовались две партии — Милана и Натальи. Милан окончательно запутался в долгах и ухитрился заложить почти все свое королевство в австрийских банках.

Народное недовольство росло. Милан, запутанный банками, попал в зависимость Австрии, стал проводить ее политику.

Сербии грозило банкротство, и окончательно запутавшегося в долгах и интригах Милана заставили передать королевскую власть своему малолетнему сыну Александру и его регентам.

Милана «выслали» из пределов Сербии с обязательством не возвращаться до совершеннолетия сына и выдали ему миллион франков отступного.

Регенты выслали также и Наталью, но она скоро вернулась, завладела воспитанием сына и фактически стала королевой.

В это время я и попал в Сербию. Король Александр тогда не был еще женат на сербке Драге.

Первого июня начались торжества освящением знамени «Душана Сильного», а затем на площади крепости в присутствии тысяч народа начались гимнастические игры и состязания гимнастов, собравшихся со всех славянских земель.

Белградские соколы-душановцы, более пятисот человек, были в своей красивой форме, а провинциальные члены общества в своих национальных костюмах: сербы-магометане — в фесках, сербы-горцы — в коричневых грубого сукна куртках, с кинжалами и пистолетами за строчеными поясами. Было несколько арнаутов. Один, бывавший в Батуме и на Кавказе, говорил по-русски.

Мы с ним беседовали. Он звал меня поехать к нему в гости, в Албанию, куда европейцев в то время не пускали. Он обещал мне полную безопасность у себя в стране, где был каким-то старшиной, и дал свой адрес и адрес его земляка, жившего в Белграде, к которому я мог бы обратиться.

Самыми яркими были сремские горцы, обвешанные

оружием, в шитых украинских рубахах, чумарках и бараньих папахах, лихо сдвинутых на затылок.

Из-под папахи змеились длинные чубы, черневшие на бритых головах, у пожилых висели громадные усищи вниз — совсем наши запорожцы далеких времен!

Эти сремцы были потомками запорожцев, бежавших при Екатерине во время разгрома Сечи частью на Кубань, а частью в Турцию. Они заботливо хранили свои обычаи и одежды.

Славный был народ, молодец к молодцу, ходили неразлучно, кучкой, и все были прекрасные гимнасты.

Три дня продолжались состязания, заканчивавшиеся каждый день обедом участников состязания и загородными поездками на пароходе по Дунаю. Обеды сопровождались речами, от которых корчились австрийские сыщики.

На третий день раздавались награды лично королем, и когда первым было объявлено мое имя, имя русского,— а к русским тогда благоволили, — весь цирк, где происходило заседание, как один человек встал, и грянули «ура» и «живио».

Я получил первую награду — большую золотую медаль, меня окружили сербские женщины и подарили мне подарок: шитый золотом шарф.

Вечером в гостиницу Гранд-отель пришла депутация с приглашением меня, как получившего награду, на ужин.

Я оделся и вышел на улицу, где с факелами и знаменами меня встретили душановцы и, скрестив надо мной два знамени, повели меня среди толп народа на ужин.

На другой день я принадлежал самому себе и с двумя из новых друзей-душановцев гулял в крепостном саду.

Чудесный вид открывался с этой высокой, укрепленной горы старой турецкой крепости с ее подземными тюрьмами и бездонными колодцами, куда в старину бросали преступников.

Под нами сливались громадные реки: Дунай и Савва, и долго еще в общем русле бежали две полосы—голубая и желтая. Красота была поразительная, а за рекой виднелись мост в Землин, поля и сады Венгрии.

Удивительной красоты место, напоминающее откос в Нижнем Новгороде над слиянием Волги и Оки!

Мы гуляли с публикой по саду. Содержащиеся в казематах крепости каторжники также гуляли между публикой, позвякивая цепями, и никто не подходил к ним, никто не заговаривал с ними, зная, что этого нельзя — таков закон.

Невдалеке от нас на садовой скамейке сидел часовой с ружьем в руках, кругом гуляла публика, кандальники работали в цветниках, а один из них самым спокойным манером намыливал лицо часовому, брал у него из рук бритву и брил его.

На другой день я выехал в Россию. На вокзале меня провожали с музыкой и почетным караулом.

* * *

Прошло два года. Я вел репортерскую работу, редактировал «Журнал спорта» по зимам, чуть ли не каждую пятницу выезжал в Петербург на «пятницы К. К. Случевского», где собирались литераторы, издававшие журнал «Словцо», который составлялся тут же на пятницах, и было много интересных, талантливых людей из литературного общества столицы, и по осеням уезжал в южно-русские степи на Дон или Кавказ.

Больше всего в этих местах я метался из зимовника в зимовник задонских степей, ночуя иногда даже в грязных калмыцких кибитках.

Здесь я переживал далекое прошлое, объезжал, как простой табунщик, неуков, диких лошадей, прямо у табуна охотился в угон за волком с одной плетью. Бывало:

По курганам, по бурьянам
На укрючном маштаке
На табун лечу с арканом
В разгулявшейся руке...

Огромное количество материала для писания давали мне мои поездки в южно-русские степи.

* * *

Ты помнишь ли, приятель мой,
На скакунах лихих с тобой
Мы по зеленой глади мчались,
С ветрами дикими гонялись,
И ветер отставал степной.

Степь да небо! Мнет зеленую траву степную мой полудикий сын этой же степи, конь калмыцкий, он только что взят из табуна и оседлан всего в третий раз. Дрожит, боится, мечется в стороны, рвется вперед и тянет своей мохнатой могучей шеей повод, так тянет, что привычная к поводу левая рука моя устала и по временам чувствуется боль...

А кругом степь да небо! Зеленый океан внизу и голубая беспредельность вверху. Чудное сочетание цветов! Необозримое пространство, и я один, один с послушным мне диким конем, чувствую себя властелином этого необъятного простора.

Ни души кругом! Полное спокойствие и сознание гордой силы и неудержимой удали! И хочется проявить эту удаль и силу, хочется борьбы...

Я оскорбляю моего свободного сына степей ударом плети. Он как-то дико взвизгивает от боли, вздрагивает так, что я чувствую эту дрожь, чувствую, как он сжимается в одно мгновение в комок, горбатит свою спину, вытягивается и бросается вперед.

Кругом ветер свищет, звенит рассекаемая ногами и грудью коня высокая трава и глухо стонет земля под ударами крепких копыт стальных, упругих ног скакуна.

Конь заложил уши, и фыркает, и несется, как от смерти.

Еще удар плети — еще чаще стучат копыта, еще сильнее свист ветра, дышать тяжело, и несет меня скакун по глади бесконечной, и чувствую я его силу могучую, и чувствую, что вся его сила у меня в пальцах левой руки. Я властелин этого дикого богатыря, я властелин бесконечного пространства! Мчится вперед, вперед, сам не зная куда и не думая об этом, а благоуханный воздух и дикий полет заставляют забыть и дела и невзгоды жизни, забыть весь мир, зная и чувствуя, что здесь только я, степь да небо!

Возвращаешься из такой поездки в столицу освеженным, обновленным, зная, что хватит здоровья, как его ни трепли, как ни растрачивай.

Дону я обязан не только здоровьем, но он помог и многим моим литературным работам и начинаниям.

Здесь я начал свои изыскания о Стеньке Разине,

здесь зародилась моя поэма «Азраил», написан «Ермак» и много стихов.

Всему этому я обязан Волге и Дону. Особенно радовался мне, моим возвращениям с Дона, тогда еще молодой Антон Павлович Чехов. Много было разговоров у меня с ним о родных и близких его сердцу донских степях.

Много мне за всю мою жизнь дали и радости и поэзии степи, которые я полюбил еще в дни моей бродяжной юности и с которыми особенно связали меня опять-таки обязанности репортера.

* * *

Репортерство бросило меня и в конский спорт.

В 1882 году редакция командировала меня дать отчет о скачках, о которых тогда я и понятия не имел.

С первого же раза я был поражен и очарован красой и резвостью скаковых лошадей. Во время моих поездок по задонским зимовникам еще почти не было чистокровных производителей, а только полукровные. Они и тогда поражали меня красотой и силой, но им далеко было до того, что я увидел на московском ипподроме.

Как журналист, я имел право входа в трибуны, где перезнакомился со скаковым миром, встречался раза два с приезжавшими в дни больших призов гвардейскими ремонтерами, которым когда-то показывал лошадей на зимовнике.

Конечно, никому из них и на ум не могло прийти, что они разговаривают с табунщиком, которому в зимовниках давали рубли «на чай».

В это время на моих глазах расцвел на скачках тотализатор.

Его ввел секретарь скакового общества Михаил Львович Лазарев, нанявшийся сначала репетитором к знаменитому коннозаводчику Петровскому, а потом женившийся на его дочери.

М. Л. Лазарев был страстный, азартный игрок. Он поступил в секретари скакового общества и ввел тотализатор, долгое время не признававшийся, несмотря на дешевизну — рубль билет.

Выручил его случай. Это было, кажется, в осенний сезон 1885 года, в воскресный день. Скакал непобедимый Перкун, на которого стояли почти все ставки, так что выигравшему пришлось бы получить только деньги обратно.

На остальных лошадей ставок было мало, а на Фогабала, принадлежавшего И. М. Ильенко, тогда еще молодому спортсмену, стоял только один билет.

Словно гроза разразилась над публикой ипподрома, когда на последнем кругу выделился мотавшийся сначала в хвосте скачки Фогабал, в то время когда два лучших английских жокея Конер и Вике резались с Перкуном, на котором сидел знаменитый Амбраз.

Ильенковский жокей Воронков «хитрый хохол», как его прозвали с этого дня, сохранив силы своей лошади, на последних саженях свободным броском обошел резавшихся в хлысты соперников и пришел легко первым.

Трудно описать, что было на ипподроме: ошалела публика, обалдели владельцы, и высокий, сутулый, угрястый гимназист, владелец единственного билета на Фогабала, получил на него в кассе тотализатора — тысячу триста рублей!

В этот вечер этот гимназист был в театре, и публика смотрела не на сцену, а на него, сидевшего в ложе бенуара со своими товарищами, которых он угощал театром с выигрыша.

На другой день все газеты были полны описанием этого случая, и жеребец Фогабал докончил затею М. Л. Лазарева: тотализатор расцвел. Бросились искать на рубль тысячерублевого выигрыша многие: и клубмены, и дамы, и купцы, и гимназисты, а М. Л. Лазарев ликовал и с мефистофелевской улыбкой цитировал Пушкина, указывая на соседнее с ипподромом Ваганьковское кладбище:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть.

Через несколько лет знаменитый московский адвокат Ф. Н. Плевако в одной из своих защитительных речей на суде говорил: «Если строишь ипподром, рядом строй тюрьму».

И прав был Федор Никифорович!

Фамилию счастливца-гимназиста я забыл, да едва ли кто и помнил ее: все его звали на скачках Фогабалом. Кончил он скверно: бросил гимназию, сделался завсегдатаем ипподрома и погиб в трущобах Хитровки.

* * *

В 1899 году в Петербурге стала выходить большая политическая газета «Россия».

«Россия» хотя и была газетой петербургской, но в Москве она имела большой успех с первых месяцев издания вплоть до нагремевшего амфитеатровского фельетона «Господа Обмановы».

За фельетон газету закрыли навсегда, а самого автора выслали в Сибирь на другой день по напечатании фельетона: пришли утром на квартиру, разбудили, приказали одеться и отправили в Минусинск.

На издание газеты давал деньги, и большие, М. О. Альберт, прежде в Москве управлявший конторой какого-то немецкого электрического общества, а в Петербурге он являлся директором Невского завода.

М. О. Альберт и сыпанул деньгами на издательство газеты так широко, как до того и слыхано не было.

Издателем-редактором числился П. А. Сазонов, человек ученый, занятой, а фактически всей газетой заправляли двое: А. В. Амфитеатров и В. М. Дорошевич. Приглашены были в сотрудники лучшие литературные силы. Заведование московским отделом газеты было поручено мне, и я поставил дело широко, как ставилось все в этой газете.

После юбилейных пушкинских торжеств 1899 года меня вызвали на редакционное совещание в Петербург.

Первым в редакции меня встретил редактор-издатель П. А. Сазонов, торопившийся куда-то по делу.

— Очень рад, что приехали, идите, там ждут!

В редакторском кабинете я застал А. В. Амфитеатрова, В. М. Дорошевича и Яшу Рубинштейна, талантливого юношу, музыкального критика, сына Антона Рубинштейна.

Остальные участники совещания уже ушли.

А. В. Амфитеатров был главной силой в редакции, и его слово имело решающее значение.

После общих разговоров А. В. Амфитеатров сказал:

— Гиляй, нам для газеты позарез нужно сенсацию: вся надежда на тебя.

— Все, что интересного будет в Москве, не прозеваю!

— Нет, надо что-нибудь эффектное, крупное, Москвы нам мало!

— Вроде Стенли, открытия Африки, — пошутил Яша.

— Ладно, есть, — ответил я.

Вспомнился мне недавний разговор с сотрудником московских газет сербом М. М. Бойовичем. Он мне говорил, что хорошо бы объехать дикую Албанию, где нога европейца не бывала, а кто и попадал туда, то живым не возвращался.

— У моего отца, — говорил М. М. Бойович, — есть друг, албанец, которого он когда-то спас от смерти. Он предлагал отцу совершить это путешествие, обещался сопровождать его и вернуть живым домой. В Албании существует обычай, что если за своего спутника, кто, по местному выражению, «взят на бесу», то его не трогают.

При этом разговоре М. М. Бойовича я припомнил своего друга арнаута, приглашавшего меня к себе в гости в Албанию.

Об этом я рассказал А. В. Амфитеатрову и В. М. Дорошевичу, которые пришли в восторг от этого предложения, приказали мне выдать крупный аккредитив, так как предстояло купить оружие и лошадь.

На другой день я выехал в Москву, получил заграничный паспорт и через три дня отправился на Балканы.

В кармане у меня были письма в редакцию газеты «Одъека» и ее редакторам Пашичу и Протичу и к учителю М. М. Бойовича от его сына литератора, студента Московского университета.

В Сербии в это время королем был безвольный юный Александр, но Милан вновь вернулся в Сербию и руководил им, фактически будучи королем.

Все помышления Милана сводились к тому, чтобы ликвидировать партию радикалов, мешавшую самовластию фактического короля.

Двадцать четвертого июня в Белграде на Милана было

произведено покушение: неизвестный человек выпустил в него на главной улице четыре пули.

Подъезжая к Белграду, я узнал о только что совершившемся покушении на Милана, и уже на вокзале я почувствовал, что в городе что-то готовится на том вокзале, где два года назад меня торжественно встречали и провожали.

Свободно, независимо, с хорошим настроением, как и тогда, я вышел из вагона, ничего не подозревая, но мрачный полисмен-офицер внимательно взглянул на меня и с непреклонным видом потребовал паспорт. Это меня обозлило. Сразу почувствовалось другое настроение, совсем противоположное тому, какое было.

Ответив ему таким же взглядом, я сунул ему в руки паспорт и сказал:

— Прислать ко мне, в Гранд-отель, — и ушел.

Наступил вечер. Обычно оживленного Белграда нельзя было узнать: кафены и пиварни были закрыты, в домах не видно огня, на улицах никого — только блестели ружьями патрули.

Разузнав кое-что в гостинице, где меня встретили как старого знакомого, я вынул из чемодана письма, положил их в карман и, несмотря на просьбы прислуги не выходить, отправился к Пашичу, к Стояну Протичу и в редакцию «Одъека». У квартиры Протича какой-то добрый человек мне ответил:

— Ухапшили.

«Одъек» оказался опечатанным, и все сотрудники были арестованы, так же как и редактор.

Зашел в пиварню «Империаль», где все столы были заняты полицией и офицерами. Никто из знакомых ко мне не подходил, все шушукались и дико на меня смотрели. А были знакомые лица.

Один из посетителей, когда я, расплатившись, выходил, отделился от группы и, козыряя, вкрадчиво спросил, по-шпионски:

— Куда путуете?

— В Тамбов, — ответил я, выходя, оставив его в позе вопросительного знака.

На другой день, не успел я еще встать, в номер вошли два приятеля-душановца и испуганным голосом совето-

вали мне уехать, намекая, что Милану выгодно обвинить в участии в покушении кого-нибудь из русских.

Я расхохотался им в лицо — и после раскаялся. Они были правы: меньше риска было бы уехать в тот день, но тогда не стоило бы ехать — это позор для журналиста убежать от такого события.

Душановцы, сообщив, что у них сегодня общее собрание в «Империале», ушли, хотя я и просил их подождать, чтобы идти вместе в банкирскую контору Андреевича получить перевод.

Я понял потом, почему они торопились.

В конторе Андреевича я получал деньги, окруженный полицейскими офицерами. Один из них спросил меня, как это я, корреспондент, ухитрился так вовремя приехать к событию и за четыре дня до него перевести деньги. Я ответил ему довольно дерзко по-русски, и он больше ко мне не приставал.

Из банка я отправился на скупщину «Душана Сильного», где заседало человек двести. Меня выбрали почетным председателем.

От знакомых я узнал подробности покушения на Милана. Он около пяти часов вечера, в коляске со своим адъютантом, майором Лукичем, возвращался из главной канцелярии.

«Аттентатор», как называли покушавшегося на убийство, заметив приближающуюся коляску, махая бумагой, сложенной в виде прошения, подбежал и начал стрелять.

После первого выстрела Милан выскочил из коляски и начал ползать по мостовой, стараясь скрыться от пули, но последовал еще выстрел и ранил Милана сзади, слегка поцарапав кожу.

Пока Милан ползал и прятался за коляской, «аттентатор» ранил в руку Лукича, а сам, выстрелив себе в шею, бросился на набережную реки Саввы и прыгнул в воду, откуда был скоро извлечен и арестован.

Он оказался Джурой Княжевичем, которого Милан знал, когда он служил лакеем при купальне.

За месяц до покушения Княжевич уехал в Бухарест, пожил там, снова вернулся в Белград и стал жить в гостинице под видом приезжего купца.

Накануне совершения покушения Княжевич начал чистить старый револьвер, делать патроны и на следующий день произвел бутафорское покушение на короля.

Милан организовал покушение, которое ему было необходимо как предлог для уничтожения радикалов.

Когда кто-то из собравшихся предложил выразить сочувствие «королю Милану», я в резких выражениях отказался от звания председателя, и собрание скомкалось.

Многие похватали шляпы и быстро разошлись.

Около меня осталось только шестеро друзей, угостивших меня обедом, который был устроен в каком-то глухом саду, в старой беседке, куда собрались поодиночке.

Во время обеда мне сообщили имена десятков арестованных радикалов.

В городе была полная паника, люди боялись говорить друг с другом, ставни всех окон на улицу были закрыты. По пустынным улицам ходили отряды солдат и тихо проезжали под конвоем кареты с завешенными окнами.

На мои вопросы по поводу «аттентатора» все молчали и только махали руками, чуть не зажимая рот.

Один прямо предупредил, что за такие слова расправа коротка — не посмотрят, что русский. Его слова подтверждали расклеенные всюду афиши, гласившие, что объявлено «ванредно станьо» — осадное положение.

Было бесконечно жаль видеть Белград, который так недавно я видел ликующим, в таком терроре. Мне было ясно, что Милан воспользуется обстоятельствами и сосчитается со своими противниками.

Я решил, может быть необдуманно, рискованно и — в первой попытке — неудачно, попробовать помочь в первую очередь арестовываемым радикалам.

В пиварне «Империаль» написал и отнес на телеграф телеграмму в «Россию», написанную по-русски французскими буквами, следующего содержания:

«Милан придумал искусственное покушение с целью погубить радикалов. Лучшие люди Сербии арестованы; ожидаются казни, если не будет вмешательства держав».

Конечно, этим я сделал большую ошибку, о чем узнал уже через час.

Моя телеграмма не была отправлена, и милановские сторонники такого человека, который может пустить по свету правдивое сообщение о событиях в Сербии, должны были ликвидировать.

У Милана расправа с такими людьми была короткая. На паспорте таких людей отмечалось, что владелец его выбыл из Сербии, а чемодан и паспорт бросали на вокзале, например в Вене[1].

Все эти белградские события происходили 27 июня.

Казематы крепости были переполнены «ухапшенными», из коих 37, с Пашичем, Протичем и Николичем, были приговорены («преким») судом Милана к тайной казни.

В ночь на 29 июня, петров день, над Белградом был страшный тропический ливень с грозой. Я сидел у окна гостиничного номера и видел только одно поминутно открывающееся небо, которое бороздили зигзаги молний. Взрывы грома заглушали шум ливня.

Около полуночи ко мне в номер вошли два моих друга в полной военной форме.

— Идем, скорей, скорей! Иначе будет поздно! Сейчас за тобой придут. Скорей!

Подали мне пальто и шапку. Мы вышли, идем по коридору, вдруг я хватился своей табакерки — забыл ее на окне!

— Сейчас вернусь. Я забыл табакерку!

— Идем! Ты с ума сошел!

— Не оставлю табакерки! — крикнул я и побежал назад.

Друзья замерли на месте. Я вскоре вернулся, и мы вышли на улицу. Ливень лил стеной. Мы брели по тротуарам по колено в воде, а с середины улиц неслись бурные потоки.

Друзья только в эти минуты наперерыв, перебивая друг друга, рассказали, что мое счастье было в том, что я забыл табакерку. В те минуты, когда я за ней бе-

---

[1] Это мне, прямо намекая на мое положение, рассказали два моих друга.

гал, по коридору прошел военный обход, который арестовал бы меня, и утром я был бы уже удавлен.

Мы спустились к Дунаю, и друзьям удалось устроить меня на венгерский пароход.

* * *

К утру погода прояснилась. Я лежал в каюте венгерского парохода и притворялся спящим.

Я слышал шаги многих людей на палубе, но тихо лежал в каюте и встал только когда пароход отошел от белградской пристани.

Перед каждой сербской пристанью на правом берегу Дуная я уходил в каюту и запирался, опасаясь сербских сыщиков. Зато, когда пароход остановился на венгерской пристани Оршаве, я дал в газету «Россия» такую телеграмму:

«Оршава. 29 июня. В Белграде полное осадное положение. Установлен военно-полевой суд. Судьи назначаются Миланом Обреновичем. Лучшие, выдающиеся люди Сербии, закованные в кандалы, сидят в подземных темницах. Редакция радикальной газеты «Одъек», находящейся в оппозиции к Милану, закрыта. Все сотрудники и наборщики арестованы. Остальные газеты поют Милану хвалебные гимны. Если не последует постороннее вмешательство, — начнутся казни. В. Гиляровский».

Она была напечатана в «России» 30 июня за моей подписью, потому что в Петербурге имелись слухи о моем аресте. В том же номере газеты была напечатана телеграмма другого сербского корреспондента, сообщавшая о моем аресте.

«Базиас. 28 июня. В Белграде господствует полнейшая паника. Среди лиц, принадлежащих к радикальной партии, произведена масса арестов; в числе арестованных находится один русский корреспондент. Корреспонденция с заграницей становится невозможной, так как письма на почте перехватывают. Выехал из Белграда».

Эта телеграмма не печаталась «Россией» до получения известий от меня.

Моя телеграмма в газету через петербургскую цензуру попала в Министерство иностранных дел, которое совместно с представителями других держав послало своих представителей на организованный Миланом суд. Этот суд должен был приговорить шестьдесят шесть обвиняемых вождей радикалов с Пашичем, Протичем и Николичем во главе к смертной казни.

Благодаря вмешательству держав был казнен только один, стрелявший, Княжевич, сторож при купальне, у которого с Миланом были свои счеты и которого Милан принес в жертву.

Остальные шестьдесят пять были сосланы в Пожаревацкую каторгу, где и были до убийства короля Александра и Драги.

Мои телеграммы с дороги печатались в «России», перепечатывались не только русскими, но и зарубежными газетами, вызывая полное презрение к Милану, которого вскоре изгнали из Сербии.

* * *

В Петербург я возвращался из-за границы через Москву.

Никогда не забыть мне первой встречи по возвращении: соскакиваю с пролетки — багажа у меня никакого, все осталось в пользу Милана в Белграде, равно как и паспорт у коменданта Белграда, — отдаю извозчику деньги. Вдруг передо мной останавливается с выпученными глазами и удивленно раскрытым ртом М. М. Бойович:

— Ты, Гиляй!

— Здравствуй, Милаша! — ответил я, обнимая и целуя его.

Насилу пришел в себя М. М. Бойович. Радовался и плясал на лестнице. Оказывается, что он не считал уже меня в живых.

Утром он получил телеграмму из Землина от своего корреспондента, что я тайно казнен Миланом, и он торопился в Сербское подворье, чтобы заказать обо мне панихиду, перед этим зашел ко мне на дом, чтобы приготовить мою семью к известию о моей гибели.

Вечером я выехал в Петербург, радостно встреченный редакционными друзьями, сообщившими, что мои корреспонденции из Белграда перепечатываются газетами, а «Россия» увеличила свой тираж. Редакция чествовала меня обедом за газетный «бум», свергнувший короля.

* * *

Благодаря положению редактора одного из спортивных журналов тех времен я работал несколько лет в Главном управлении государственного коннозаводства. Работа считалась почетной, и жалованья не полагалось.

При зачислении в Главное управление государственного коннозаводства я избрал себе степное коневодство и выговорил право не являться в канцелярию, а материалы, которые обязан был доставлять для казенного журнала «Коннозаводчество», присылал почтой.

Получив должность и звание «корреспондента Главного управления государственного коннозаводства», я имел право входа на все ипподромы и конские заводы, что мне как редактору «Журнала спорта» было очень полезно.

Во время этой работы я особенно счастливым чувствовал себя на Дону, хотя не забывал Заволжских степей, Кавказа и Крыма.

В Задонье, на зимовниках, я блаженствовал. Обыкновенно приезжал к управляющему казенным пунктом Гавриле Яковлевичу Политковскому, и от него уже уезжал в самые глухие калмыцкие Дербенты, причем брал с собой специально для калмыков корзину с разными лакомствами: булками, бубликами, леденцами и другой снедью.

Уезжал я обычно в зимовники на паре в легком экипаже, ехал не торопясь, имея всегда в тележке кулек бубликов или булок, и раздавал их встречным пешеходам.

Я на личном опыте хорошо знал, как дорого путнику в степи получить такой подарок; не раз я с завистью посматривал на проезжающих по степи, которые что-нибудь жевали.

Во время таких поездок мне приходилось встречать двух-трех человек, знакомых по моей бродяжной жизни. Но никому из них не приходило в голову, что я и есть бывший табунщик Леша!

В разговорах с ними я иногда показывал ловкость в работе арканом или выездке неуков, но все это они относили просто к моей ловкости и знанию конского дела.

* * *

Как-то с Г. Я. Политковским, еще по первым моим поездкам по зимовкам, заехали мы к лучшему коневоду Подкопаеву, которого я встречал, сравнительно еще молодым, у моего хозяина. Подкопаев был дружен с ним.

Тогда это был могучий, сухой богатырь — теперь же я встретил ожиревшего, но все еще могучего старика.

Интересный человек был Подкопаев. Человек романтический!

Зимовник Подкопаева в очень давние времена принадлежал какому-то казачьему генералу, а потом перекуплен был старым коневодом, у которого была единственная дочь, донская красавица.

Явился как-то на зимовник молодой казак, Иван Подкопаев, нанялся в табунщики, оказался прекрасным наездником и вскоре стал первым помощником старика.

Казак влюбился в хозяйскую дочь, а та в него. Мать, видя их взаимность, хотела их поженить, но гордый отец мечтал ее видеть непременно за офицером, и были приезжавшие ремонтеры, которые не прочь бы жениться на богатой коннозаводчице.

Отец раз и навсегда отказал простому казаку и удалил бы его от себя, если бы без него мог управлять зимовником.

Упорен был отец, но и дочь была в него: всем женихам отказывала.

Прошло десять лет терзаний двух влюбленных людей. Умер отец, и зимовник перешел к дочери. Только тогда, перестрадав десять лет, молодые поженились, и в память пережитых страданий Иван Николаевич

Подкопаев, ставший владельцем зимовника, переменил прежнее тавро.

Лошади с выжженным новым подкопаевским тавром очень ценились и на Дону и в кавалерии, и долго еще встречались на Дону лошади прекрасных форм с подкопаевским тавром: сердцем, пронзенным стрелой!

Не один раз заезжал я к Ивану Николаевичу: было что послушать от него, было чему поучиться по конно-заводскому делу. Не одну руководящую статью я написал с его слов!

Любил меня старик и жена его, могучая старуха, сохранившая былую красоту в сединах своих. Таких я видел только среди низового донского казачества, среди гребенцов, на Кубани, на Тереке в старые годы.

Я у него баловался с неуками, но это его не удивляло: так будто и быть должно. Но ни одного слова, ни намека на прошлое я от него не слыхал, хотя, рассказывая о донских коневодах, он не раз упоминал мне имя своего друга, бывшего моего хозяина.

Памятью о старике осталась у меня огромная, тяжелая, плетенная из сыромятного ремня нагайка, которую он мне подарил как любителю охоты «в угон» — этой старинной, давно забытой казачьей и калмыцкой охоты.

— Владай! Еще сам холостым ее сплел, с полсотни волчаков ею захлестал, когда помоложе был! Теперь только сколько годов она без нужды висит, владай!

Той же осенью я обновил ее в нагайских степях. В последний раз я виделся с И. Н. Подкопаевым в Ростове-на-Дону на конской выставке, в 1899 году.

* * *

Во время выставки, на другой день раздачи наград, проездом на Кавказ, от поезда до поезда, остановился, чтобы ее посетить, Владимир Иванович Ковалевский, мой старый знакомый по Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Он в это время занимал пост товарища министра финансов.

В. И. Ковалевский приехал на выставку без предупреждения, совершенно неожиданно, без всякой формы.

Я увидел В. И. Ковалевского уже окруженного толпой начальства, и городской голова Хмельницкий подошел ко мне, чтобы представить меня В. И. Ковалевскому, но этого делать не пришлось, так как, обрадовавшись встрече, мы обнялись и расцеловались. Пока происходил осмотр выставки, в павильоне был сервирован завтрак.

В это время в устьях Дона уже третий год усиленно велись работы по углублению донских гирл, чтобы морские суда могли идти прямо до Ростова, без перегрузки товаров на лодки.

Во время завтрака ростовский городской голова Хмельницкий обратился к В. И. Ковалевскому с просьбой отложить отъезд на сутки, чтобы сделать поездку на пароходе и осмотреть работы по углублению донских гирл, столь важные для развития торговли. В. И. Ковалевский отказался от этого предложения из-за срочной поездки на Кавказ, обещая обязательно заехать на обратном пути.

Забились во мне репортерские жилки! Какая славная корреспонденция для «России»: осмотр и описание донских гирл, о которых я так много слышал!

Я встал и обратился к В. И. Ковалевскому с просьбой не отказать в поездке, рассказав о красоте донских гирл, в которых никогда не бывал, рисуя их по астраханским камышам. В заключение опять попросил В. И. Ковалевского остаться на сутки в Ростове, чтобы повидать очень важные для развития русской торговли работы в гирлах.

В. И. Ковалевский, когда я закончил обращение к нему, улыбнулся и сказал:

— Уговорил меня Владимир Алексеевич! Едем в гирла!

* * *

По окончании завтрака условились, что поездка в гирла состоится на следующий день в десять часов утра, на пароходе «Коцебу».

Владимир Иванович Ковалевский уехал к себе в служебный вагон, а я — в гостиницу, заняться корреспонденцией.

Часу в десятом вечера, окончив писать, я вышел в коридор, чтобы поразмяться, и к великому своему удивлению увидал, что как раз против моего номера отпирал дверь только что вернувшийся домой старик-коневод Василий Степанович, у которого когда-то, в дни скитаний и приключений моей молодости, я работал в зимовнике, заявив ему, что перед этим я служил в цирке при лошадях.

Проверять мои слова, конечно, никому не приходило в голову, а о паспорте в те времена и в тех местах вообще никто и не спрашивал, да он никому и не был нужен. Судили и ценили человека по работе, а не по бумагам. Молнией сверкнули в памяти дни, проведенные мною в зимовнике, и вся обстановка жизни в нем.

Был зимовник Василия Степановича полной чашей, всего в нем было вволю.

Хозяйство по дому зимовника вели жена Василия Степановича и его племянница лет шестнадцати, скромная, малограмотная девушка. Газет и журналов в доме, конечно, не получалось. Табунщики были калмыки, жившие кругом в своих кибитках, и несколько русских наездников из казаков.

Я понравился хозяевам и быстро подружился со всеми, щеголяя цирковыми приемами, и начал объезжать неуков и вести разговоры с приезжавшими офицерами, покупателями лошадей.

Все это ярко мгновенно вспомнилось, пока я следил, как Василий Степанович отпирал ключом свой гостиничный номер.

— Василий Степанович, откуда так поздно? — спросил я.

— У Ивана Николаевича Подкопаева был.

Старик оглянулся и узнал во мне одного из находившихся во время приезда на выставку В. И. Ковалевского людей, который был представлен ему как корреспондент Главного управления государственного коннозаводства.

— Там у него все наши собрались.

— Жаль, что вы не представили свой молодняк на выставку, — сказал я. — Ведь, наверное, у вас еще

сохранилось потомство рыжего Мирзы, что вы у Пловойского купили, из тех четырех, что из Перми привели?

— Да, да, от Мирзы! Он ведь только три года у меня пробыл, а какой богатый приплод оставил! Весь в себя, золотисто-рыжий! Он был настоящий карабах чистых арабских кровей.

— Я таких два косяка у Подкопаева видел!

— Тут, наверное, и от моего Мирзы были, я парочку бурлачков его приплода уступил Ивану Николаевичу, а он меня бурлачком Туриновским наградил.

— Орлово-растопчинский?

— Да, ну и лошадь! Всех детей в себя клеил. Все в гвардию пошли.

Старик, почуяв во мне знающего конские дела человека, пригласил зайти к нему в номер побеседовать на сон грядущий.

— Эх, Мирза, Мирза! Век не забуду! Давно это было, а он и сейчас передо мной, золотой весь, как лимон на солнышке, — сказал, когда мы вошли в номер и уселись в кресла, Василий Степанович.

— Да, давно это было, Василий Степанович, ровно двадцать пять лет! Ровнехонько!

Старик удивленно посмотрел на меня.

— Верно. В семьдесят четвертом я привел его! Знаменитость! Вот и вы слыхали о нем!

— Н-да!

— Стало быть, вам кто-нибудь из ремонтеров-стариков сказывал. Им все любовались. Вы знаете хорошо наше дело! Никогда не думал, что у вас в Питере такие знатоки есть!

Я хлопнул старика по плечу:

— Ну, куме, запирай-ка свой номер, пойдем ко мне, поговорим по охоте!

Через минуту старик сидел у меня за столом, на котором стояло сантуринское и закуски.

Я сбросил надоевший за день коннозаводческий мундир и сидел в одной рубахе.

Разговаривали о выставке, о лошадях.

Я насилу уговорил, чтобы он звал меня по имени и отчеству.

— Вот вы бы ко мне на зимовничек пожаловали.

У Подкопая вы бывали, он сам мне на выставке об этом говорил, а теперь бы`ко мне завернуть. Есть что повидать!

Слушал я старика, а все одна думушка в голове: эх, была не была! Да и давай ему описывать его зимовник тех времен вплоть до обстановки комнат, погреба с вином, и даже о здоровье жены Анны Степановны спросил. С растущим удивлением он смотрел на меня и шевелил беззвучно губами — будто слово не выходило, а сказать что-то очень хотелось.

— Это вам кто-нибудь рассказывал, — вздохнув, сказал он, даже улыбнулся и сообщил, что Анна Степановна стара стала.

— Милый Василий Степанович! Послушай, что я тебе скажу, только дай мне слово, что обо всем, что услышишь, никогда никому не заикнешься. Я тебя люблю, считаю своим другом и буду с тобой откровенен.

Смотрю в его опять растерянное лицо.

— Так даешь слово молчать? Даешь?

— Даю! Вот перед образом божусь, вечно молчать буду!

Старик встал, набожно перекрестился и сел, уставившись на меня.

— Изволь. Это было ровно двадцать пять лет назад. В тот год, когда ты купил у Пловойского Мирзу — одного из четырех жеребцов персидских.

— По-дружески мне, можно сказать, по охоте, генерал мне его уступил, так сказать, любя меня, — вставил старик.

— Купил ты Мирзу, а как вести на зимовник, не знаешь. Тогда ты один верхом на чалом в Великокняжескую приехал. Тебя тогда выручил Гаврило Руфыч! Помнишь?

— Как же, вахмистр... Кобылин, Гаврило Руфыч. Он мне своего малого дал, который с ним лошадь привел с Волги.

— Ну, а дальше что?

— Нанял я его за трояк. Боялся доверить малому, справится ли? А Кобылин говорит: «Ручаюсь за него, как за себя!» Молодчиной малый оказался: то шагом с моим чалым, а то наметом пустит. Я ему кричу, а он

и не слушает. Разговорились дорогой, и малый мне понравился. Без места он в то время был. Я его к себе и принанял. Как родной он мне вскоре стал.

— Алешей его звали?

— Алешей, Алексей Ивановичем!

И старик опять с ошалелым лицом уставился на меня, ничего не соображая.

— Слушай же, Василий Степанович, да помни, что обещал наш разговор в тайне держать!

И я рассказал ему все подробности работы у него, напоминая каждую мелочь, вплоть до того, когда сбежал от него, испугавшись приехавшего за лошадьми жандармского полковника.

Что было с моим стариком, передать трудно: и слезы, и восклицания, и жесты удивления — то руками всплеснет, то по бедрам себя хлопнет, слушает и слова не проронит!

Я рассказал ему мою дальнейшую жизнь до последнего дня.

А что я пережил в это время — ни в сказке сказать ни пером описать.

Наконец старик со слезами опустился на колени, я тоже перед ним встал на колени, обнялись крепко, и оба расплакались.

— А Женя что? — спросил я, когда мы успокоились.

— Убивалась она очень, когда вы ушли! Весь зимовник прямо с ума сошел. Ездили по степи, спрашивали у всех. Полковнику другой же день обо всем рассказали,— а он в ответ: «Поглядите, не обокрал ли! Должно быть, из беглых!» Очень Женя убивалась! Вы ей портмонетик дорогой подарили, так она его на шее носила. Чуть что — в слезы, а потом женихи стали свататься, она всех отгоняла.

Через пять лет, двадцати годков уж вышла замуж. Приехал к нам на Дон сибирский посевщик богатый, производителей покупать для своих табунов, Ермилий Мефодьевич! Степенный, из себя красивый, лицо такое, как на иконах архангелов пишут. У Подкопаева и еще кое у кого лошадей купил, потом ко мне заявился. Поехал с калмыком табуны осматривать, упал, да ногу

и сломал. С месяц пролежал у меня, Женя за ним ухаживала, а потом замуж за него и вышла, в Сибири живут. Только детей у них нет, одна беда. Года три назад гостили у меня по осени. Вот поглядите!

Старик вынул из бумажника фотографию. В кресле сидит мужчина средних лет, гладко причесанный, елейного вида, с правильными чертами лица, окаймленного расчесанной волосок к волоску не широкой и не узкой бородой. Левая рука его покоится на двух книгах, на маленьком столике, правая держится за шейную часовую цепочку, сбегающую по бархатному жилету под черным сюртуком.

Справа стоит стройная красавица, типичная низовая казачка, про которых поют:

Брови черные дугой,
Глаза с поволокой...

Она положила на его правое плечо руку — а в свесившейся кисти ее, на золотой цепочке, надетой на большой палец, маленький перламутровый портмоне, который я ей подарил тогда. На крышке портмоне накладка, рисунок которой слишком мелок, сразу я не рассмотрел, зато обратила мое внимание брошка — сердце, пронзенное стрелой. То же самое было на портмоне.

— Еще до свадьбы, когда я две недели как-то по зиме жил в Ростове, она просила меня сделать его на портмоне. Потом брошку уж жених подарил, сердце из рубинов, а стрела бриллиантовая. Кроме никогда ничего не носит.

— Тавро Подкопаева? — спросил я.

— Может, и Подкопая, а может, и нет!

Расплакался старик.

При расставании Василий Степанович сказал, что если бы я не ушел тогда так внезапно, то зимовник был бы теперь мой, что его и Анны Степановны мечта была выдать Женю за меня замуж.

— Вот отчего она и убивалась и долго замуж не выходила — все ждала, и в последний раз, когда приезжала с Анной Степановной, они всплакнули о вас! Кому я теперь мой зимовник оставлю?

* * *

Утром, когда я после долгой ночной беседы отправился на пароход, номер Василия Степановича был пуст: он в семь утра уехал домой.

К девяти часам утра мы все собрались на пароходе «Коцебу». На обеденном столе кают-компании был разложен план гирл и чертежи построек, и как только двинулся пароход, заведующий гирловыми работами подробно объяснил В. И. Ковалевскому то, что нам надлежало осмотреть.

День был сырой. Туман окутал Дон. Около часу пришлось ждать разводки железнодорожного моста. Наконец пароход двинулся, но через час пути опять встал: туман сгустился до того, что далее следовать было нельзя.

Накрыли завтрак. Это, собственно говоря, был не завтрак, а ряд серьезных бесед присутствующих по всевозможным вопросам об образовании, торговле, промышленности.

В. И. Ковалевский задавал вопрос за вопросом, выслушивал ответы и закончил этот завтрак-конференцию вопросом:

— Почему у вас, в таком богатом торговом городе, нет высшего механического училища?

— Пробовали, хлопотали в Петербурге, но получили такой отказ, что и попечение отложили.

— Здесь все представители города в сборе, — сказал В. И. Ковалевский, — подавайте снова прошение, а я пошлю в Петербург телеграмму о необходимости в Ростове высшего учебного заведения и надеюсь на утвердительный ответ.

Министру финансов С. Ю. Витте была послана с гирл, с лоцмейстерского поста телеграмма, а мы в это время в тучах комаров и мошкары осматривали углубление канала, на котором громадные машины «Петр Великий» и «Донские гирла» черпали грунт, который нагружался в шаланды и отвозился в море.

Потом мы посетили пост, на котором был отличный дом со службами, окруженный прекрасным садом, телеграф и метеорологическая станция, таможня для

осмотра судов, идущих с рейда, отстоящего в четырех верстах от гирл, — и не встретили ни одного здорового человека из живущих на посту, расположенном на низком берегу, в вечном тумане, в самой лихорадочной местности. Здесь все были больны малярией.

Этой поездкой я закончил свою репортерскую работу в последний год столетия.

* * *

В Москве я через некоторое время получил приглашение присутствовать на торжестве закладки высшего технического училища в Ростове-на-Дону и дружеское письмо одного из членов комитета с таким заключением:

«...Непременно приезжайте, ждем Вас как одного, пожалуй, главного виновника предстоящего торжества. Не уговори Вы Владимира Ивановича поехать на гирла, никакого бы высшего училища у нас никогда не было».

* * *

Я был на спектакле в Малом театре. Первая от сцены ложа левого бенуара привлекала бинокли. В ней сидело четыре пожилых, степенного вида, бородатых мужчины в черных сюртуках. Какие-то богатые сибиряки... Но не они привлекали внимание публики, а женщина в соболевом палантине, только что вошедшая и занявшая свое место.

Величественная, стройная фигура, глаза, которые, раз увидав, — не забудешь, и здоровый румянец не знающего косметики, полного жизни, как выточенного, оливково-матового лица остановил на себе мое внимание.

Я сидел в третьем ряду кресел. Что-то незнакомое и вместе с тем знакомое было в ней. Она подняла руку, чтобы взять у соседа афишу. А на ней мой кошелек — перламутровый, на золотой цепочке! А на груди переливает красным блеском рубиновая брошка — сердце, пронзенное бриллиантовой стрелой...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

С гордостью почти полвека носил я звание репортера — звание, которое у нас вообще не было в почете по разным причинам.

— Так, газетный репортеришко! — говорили некоторые чуть не с презрением, забывая, что репортером начинал свою деятельность Диккенс, не хотели думать, что знаменитый Стенли, открывший неизвестную глубь Африки, был репортером и открытие совершил по поручению газеты; репортерствовал В. М. Дорошевич, посетивший Сахалин, дав высокохудожественные, но репортерские описания страшного по тем временам острова.

В. М. Дорошевич разыскал на Сахалине невинно осужденного Тальму, поверил его рассказу и, вернувшись в Москву, первым делом поведал это мне и попросил съездить в Пензу, на место происшествия, и, когда я собрал ему сведения, подтверждающие невиновность Тальмы, он в Петербурге, через печать устроил пересмотр дела.

Это было в 1898 году, когда он работал в газете «Россия».

Когда начался пересмотр, он послал сотрудника «России» Майкова в Пензу, снабдив его добытыми мною сведениями, а Тальма был вызван с Сахалина на новый суд. Майков следил за разбором дела и посылал в «Рос-

сию» из Пензы свои корреспонденции, в результате чего Тальма был оправдан.

Так же В. М. Дорошевич изучил дело осужденных братьев Скитских в Полтаве, добился через печать нового следствия, в результате которого было полное оправдание невиновных. В обоих случаях он был репортером. А В. Г. Короленко? Многие и многие русские писатели отдавали репортажу много сил, внимания и находчивости.

Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска. И никогда ни одно мое сообщение не было опровергнуто. Все было строгой, проверенной, чистой правдой. И если теперь я пишу эти строки, так только потому, что я — репортер — имею честь быть членом Союза советских писателей.

Лето 1934 года. Картино.



ЗАБЫТЫЙ МИР

ПРОКОРМИТЬСЯ БЫ

(Из жизни актеров)

Случилось мне летом 1883 года быть в городе Орле. Я остановился в гостинице, а так как день был свободный, пошел прогуляться по городу. На самой главной улице у подъезда гостиницы толкался народ, окружив какой-то громадный вагон, стоявший на улице.

— Что это там делается? — спросил я одного из лавочников.

— Актеров провожают, ну и глядят, — пояснил он мне.

Я подошел ближе, в самую толпу. Перед нами стоял громадный, старый, вылинявший рыдван, напоминавший не то «Ноев ковчег», не то самый скверный вагон железной дороги. Рыдван был запряжен четверкой заморенных лошадей самого жалкого вида. На широких оборванных козлах сидел не менее оборванный ямщик.

В толпе шли примерно такие разговоры.

— Актеров-то, гляди, как возят, в чем... — обращается мещанин к женщине.

— А рази в другом можно? Сейчас их на две половины: женское сословие в одну, мужчинов в другую...

— С ними вместе и зверье посадят? — любопытствует маленький мальчик.

— Это без зверья, это другие актеры, со зверьем — зверинцы, а это киатральные, сами зверье приставля-

ют... Сейчас удивиль есть: «Медведь и паша», так мой постоялец медведя сам в овечьем тулупе приставлял на киатре...

— Как это им охота? Тоже люди, а такими делами занимаются! Лучше бы работали...

Я невольно задумался над последней фразой.

— Вы какими судьбами здесь? — вдруг услышал я сзади.

Оглянулся — мой старый знакомый, актер Л...

— По делу приехал, — сказал я.

— А вот и мы по делу едем, — сказал Л., указывая на рыдван.

— Куда же?

— В Симбирск, верст полтораста отсюда. Здесь наше дело расстроилось, сборов не было, вот и едем. Бог даст, прокормимся... Вот и наши идут. Знаком?

Из гостиницы вышли пять актеров и две актрисы. Из актеров трое были знакомы. С другими и с актрисами меня познакомил актер К.

— Ну что, все уложено? — спросил Л., одетый в русскую поддевку, подпоясанную кавказским поясом.

Из рыдвана высунулся высокий, худой, как голодный заяц, помощник режиссера:

— Все-с! Только водочки бы на дорожку!

— Да, надо, возьми бутылку, — сказал Л.

— Две бы взять... дорога дальняя, — несмело заговорил актер маленького роста.

— Пожалуй, две, вот восемьдесят копеек, — подал Л. деньги.

— Помилуйте, господин Л., какой расчет, а? Добавить полтинник — четверть целую и возьмем.

— Куда четверть! Две бутылки довольно.

Помощник исчез и через минуту вернулся с водкой.

— Теперь, господа, с богом, садитесь. Вы и вы, mesdames, поезжайте до заставы на извозчиках, а мы в колеснице. Проводишь нас, Владимир Алексеевич? — обратился он ко мне.

Я согласился, и мы вшестером поместились в рыдване.

— Трогай!

Ямщик затопал, зачмокал, засвистал, и рыдван зака-

чался по скверной мостовой, гремя и звеня; каждый винтик в нем ходуном ходил.

Мы сидели шестеро, а места еще оставалось в этом ковчеге, хотя целый угол был завален узелками и картонками.

— А что, господа, в каком мы классе едем? — сострил кто-то.

Все промолчали.

Сидели мы по трое в ряд, причем помощник поместился как-то в висячем положении. Сзади на главном месте сидели Л. и С. Последний стал актером недавно — это был отставной гусар, щеголь, когда-то богатый человек. Несмотря на его поношенный костюм, старый шик еще не покинул его. На руках были шведские сиреневые перчатки, а в глазу монокль. Третий сидел Р. Его бледное лицо, шляпа a la brigand, из-под которой светлыми прядями спускались жидкие прямые волосы, выгоревшее и поношенное пальто и сапоги в заплатах как нельзя более подходили к окружающей обстановке.

— Что будет в Симбирске? — заговорил он.

— Я думаю, что будут дела! Все-таки состав для такого города весьма недурен. Ты как думаешь?

— Я думаю, что выпить надо, — в ответ сказал С-ов.

— Что дело, то дело-с! — заегозил помощник и вынул бутылку.

— Погодите, господа, за заставой выпьем, — уговаривал Л.

— Да вот и застава!

Наш рыдван выкатился за два заставных столба и мягко заколыхался по пыльной дороге.

Влево в тени берез, которыми усажена была дорога, нас уже дожидались актрисы.

Мы сели на траву. Помощник режиссера откупорил обе бутылки.

— Зачем это вы обе?

— Пить-с! Да еще я думаю бутылочку бы взять... Вот и они выпьют, — указал на меня помощник.

Л. достал серебряный стакан, рыбу-воблу и связку кренделей.

— И тут без кренделей не могут. Ну, актерики-с, — сострил С-ов.

— Ну-ка, отвальную, — начал Л. и налил мне водки. Выпили, и через пять минут водки не было...

— Ну, господа, теперь в путь! — вставая, сказал Л. Попрощались. Перецеловались...

— В Москве увидимся! — крикнул из рыдвана Л.

— Увидимся постом! Желаю сотни заработать!

— Куда сотни! Дай бог прокормиться, с голоду не умереть или без платья не вернуться, — как-то печально промычал С-ов.

— До свидания!

— До свидания!

Через несколько минут рыдван скрылся за поворотом, и только долго еще треск и звон винтов и винтиков древней повозки доносились до меня по вечерней заре.

Дай им бог прокормиться!

БЕГЛЫЙ

Стояла весна. Кое-где в глубоких оврагах вековечной тайги белелся снег, осыпанный пожелтелыми хвоями, а на скатах оврагов, меж зеленевшей травы кое-где выскакивали из-под серого хвороста голубоватые подснежники. Верхушки мелких сосенок пустили новые ростки, светло-зеленые, с серыми шишечками на концах, заблистали бриллиантовые слезки на стволах ели, сосны и кедра. Молодая березка зазеленила концы своих коричневых почек, а на окраинах и вся покрылась изумрудным убором, рельефно отделяясь от темной стены старых елей и сосен и еще черневшихся лиственниц.

По утрам окраины тайги оживали: тысячи птиц кричали без умолку на разные голоса. Самый воздух, согретый яркими лучами солнца, был полон весеннего аромата сосны и березовой почки, полон расцветающей жизни, полон могучей силы.

Никогда не бывает так прекрасна тайга, как весной! И чем дальше человеческое жилье, чем тайга глуше, тем она прекраснее, величественнее и тише.

В самой глуши никто не нарушит ее тихой жизни, никто не мешает ее концерту, ее гармонии.

Каждая птичка поет сама по себе, дятел сердито стучит в дерево, ловя червячков, проделавших удивительные ходы в древесине, плачет кукушка, ветер гудит, стонут от него косматые головы седых великанов.

Всякий звук сам по себе, а дирижер — сама тайга — все эти раздельные звуки сливает в одно, и выходит концерт поразительный.

Человек заслушается этого весеннего, дикого и очаровательного таежного концерта, так заслушается, что всю жизнь тайга будет ему мерещиться и живо будет вставать в памяти.

И тем живее встает она, чем безотраднее ему. И скажет тот человек, если он болен лежит или заброшен в душный каземат, скажет одно:

— Послушать бы тайгу денек, как кукушка кукует, как дятел долбит, как ветер гудет по вершинам, послушать бы еще раз, а там хоть и умереть!

И манит тайга человека бывалого, неудержимо манит из душной тюрьмы на вольный простор.

Рискует старый бродяга попасть под плети, под меткую пулю часового, а все-таки рвется хоть денек послушать кукушку в тайге, поплакать с ней, как и он, бездомной, и умереть, отощав с голоду, или опять вернуться в тюрьму, обновленным таежной волей, до следующей весны, до следующих надежд на побег.

Бывалого бродягу зовет кукушка, а молодого удальца тянет родина далекая, дойти до которой редким приходится.

Раза два удалец попробует побороть неизмеримое расстояние тайги, раза два опять неволей вернется в каземат, а на третий он и родину, пожалуй, готов забыть, а все-таки неудержимо бежит поплакать с кукушкой о далекой родине.

И вытягивает весна удалых добрых молодцев из-за решеток железных, из-за каменных стен, из-за острых штыков. И не страшны им в ту пору стены, не грозна смерть — они сами не помнят себя, очарованные притягательною силой благоухающей вольной тайги.

— Воля! Вот она, воля-то, где! А-ах!.. Не надышишься просто! И сосной, и березкой пахнет... А там...

Он вздохнул и задумался.

Это был плотный тридцатилетний человек, в арестантском халате и шапке без козырька.

— А-ах! Хорошо! — вздохнул он еще раз. — А чего стоило добраться сюда. Да! Даже страшно. Впрочем,

страшного — пуля, смерть, и только. Страшно там, в этих подземельях, где, того и гляди, тебя задавят землей, как червя в норе, в темноте. Сгинешь и свету божьего не увидишь! Пуля что! Чик и шабаш! А там всю жизнь под землей, без надежды на солнышко взглянуть! Всю жизнь...

Он задумался.

— А солнышко-то, солнышко!

Бродяга прикрыл глаза сверху, как козырьком, рукой и посмотрел на запад.

А оттуда сквозь чащу дерев прорывались режущие, ярко-красные лучи заходящего солнца. Они играли и бегали на стволах деревьев, соскакивали с них и блестящими «зайками» прыгали дальше на следующих стволах, на чуть зазеленевшейся траве, на сети сучьев.

Лучи все ярче и ярче горели, и наконец меж стволами начал скользить самый диск солнца, переливавшийся, как расплавленный металл, брызгавший сиянием ослепительных лучей.

Бродяга, стоявший на берегу лесного оврага, жмурился, а все продолжал смотреть на солнце, опускавшееся за верхушки леса.

Чем ниже опускалось солнце, тем темнее и темнее становилась пропасть оврага.

Все выше и выше бежали золотые «зайки» по старым великанам, блеснули на их шапках, прошли розовой полоской по беловатым облакам и исчезли.

Как-то сразу почернели овраг и лес, будто задернулись от света черной занавесью. Сразу холодно стало.

Бродяга вздрогнул, нащупал спички в кармане и стал опускаться на дно оврага, захватывая по пути сухой валежник.

Снизу тянуло холодом. Там еще белелся снег. Бродяга взглянул на дно и переменил свое намерение. Он опять поднялся наверх, выбрал чистую полянку, натаскал хворосту, вынул спичку, погрел ее сначала за ухом и зажег.

Чуть заметными, беловатыми полосками побежал огонь по сухому валежнику, зачернелся дым, а потом полосы огня, по мере того как темнело небо, краснели; клубы дыма исчезали в темноте, сверкая по временам

мчавшимися кверху звездочками искр, или прорезывались кровавыми языками пламени, когда бродяга шевелил костер или бросал свежий валежник.

Он вынул из мешка хлеб, воткнул кусок на палочку и стал жарить над угольями. Хлеб дымился, трещал и слегка обгорел.

Бродяга аппетитно понюхал, снял шапку, положил ее на колена, перекрестился и стал есть.

Свежий ветерок подул из-за оврага и гулко зашумел вершинами.

— Наш, расейский ветерок, с заката. Ишь, теплый какой!

Он подкинул еще валежнику в костер, нахлобучил шапку до ушей, устроил постель из еловых ветвей и хворосту и лег, плотно закутавшись в широкий арестантский халат.

— Дом, а не халат... Спасибо смотрителю, будто знал, что понадобится, — новый дал! — улыбнулся он.

И представилось ему, как перетрусил носастый смотритель, придиравшийся за каждую мелочь к арестантам и дрожавший, как осиновый лист, перед начальством. Вспомнился ему и последний побег из деревянной полусгнившей тюрьмы.

Ночь была такая же темная; окно его секретной камеры с заржавленной решеткой выходило в поле, за которым синела бесконечная тайга. Под окном торчали острые концы бревенчатого частокола, заменявшего тюремную стену, и за частоколом постоянно двигалась взад и вперед полоска штыка, — днем синяя и ночью светлая, от красноватого отблеска закоптелого, грязного фонаря.

Он долгое время смотрел на тайгу, на частокол, на штык, мелькавший то вправо, то влево от окна.

По этому штыку можно было знать, где часовой, близко или далеко.

Тогда ночь была темная, туманная, фонарь мигал красноватою точкой среди густого весеннего тумана, как тлеет керосиновая лампа в бане.

Он выставил полугнилую раму, скрутил из белья веревку, связал этой веревкой два прута решетки, всунул в веревку полено, принесенное из коридора под

халатом еще накануне, и начал его повертывать. Веревка скручивалась. Вольный, свежий ветер прорывался в тесную, душную камеру и освежал, ободрял его, уставшего до поту. Веревка скручивалась, связанные ею прутья сжимались.

С другой стороны он также связал два прута и скрутил веревку.

Образовалось отверстие, голова в него проходила свободно.

Вспомнил он, как хлопали по грязи кеньги часового, удалялся влево отблеск штыка, вспомнил он смелый прыжок, крики, выстрелы, шум сзади, свист пули около уха.

Но вспомнилось все это как-то неясно, будто давно это случилось, а не три дня назад.

А ветер все гудел вершинами...

Бродяга сквозь полусон прислушивался к этому шуму, напоминавшему ему ночи — далеко, далеко отсюда...

Яркий огонь близкого костра грел ему лоб, и сквозь закрытые веки бродяга видел, или, лучше сказать, чувствовал, сначала красное, а потом фиолетовое зарево, глазам было больно, но он напрасно напрягал усилия открыть их. При каждой тщетной попытке поднять веки зарево только принимало более яркую окраску и еще крепче сковывало глаза и усталые члены.

Он был как бы в забытьи, голова горела, мозг сжимался, грудь давило, и всевозможные картины, одна другой фантастичнее, мелькали в его воображении...

Он забыл в этот миг все, все...

НА ПЛОТАХ

Лед прошел. Вода на Москве-реке стала сбывать, а площади низин все еще были залиты на далекое пространство. По более высоким берегам синелись на черном иле надвинутые одна на другую и забытые водопольем льдины; по оврагам в виде громадных спящих чудовищ лежал снег, а на обрывах на коричневом фоне старой травы просвечивали зеленоватые пятнышки и оживляли мертвые обрывы. Река ожила. Серые чайки парили над водой, с трудом рассматривая в желтой ряби стальную полоску, камнем бросались за добычей, хлопали по воде крыльями, и трепещущая стальная полоска, извиваясь, блестела в их изогнутых клювах.

Время от времени из-за дальнего мыса выдвигалась темная масса, широкая, длинная, извивающаяся по зеркалу воды, как исполинская змея. На концах ее мерно покачивались взад и вперед высокие фигуры, и когда масса подвигалась ближе, то фигуры росли, росли и, как на волшебной декорации, обращались в мужиков и баб, усиленно поднимавших неуклюжие длинные весла на концах дровяного плота.

Один из таких плотов подходил к Москве.

На середине плота, на куче соломы, с багром в руках стоял мужик, одетый в синюю пестрядинную рубаху, жилет, который был расстегнут, лапти и овчинную шапку, заломленную на затылок. Вся фигура мужика

с грудью колесом, поднятой головой и рукой на багре, которым он направлял оголовок плота, напоминала в общем лихого лоцмана на картинах крушений судов. Его лицо с чуть заметной растительностью, двумя клочками приткнувшейся к углам подбородка, так и горело беззаветной удалью и сознанием своей силы. Рамка волос, выбившихся из-под шапки и прилипших к изрытому морщинами лбу, была уже седовата и показывала, что сгонщику не мало лет.

Плот мчался... Навстречу ему издали бежали главы церквей, красные фабрики, высокие трубы с закопченными верхушками и круглыми черными шарами. Вот белой полосой на темной перспективе замелькал ажурный Бородинский мост, полоса становилась все шире, длиннее и вдруг, освещенная мелькнувшим из-за облака солнышком, представилась плотовщикам гигантским серебряным кружевом, растянутым в воздухе между берегами реки.

— Никита Семенов, мост-от, мост-от, серебряный вроде!.. — сорвалось у кого-то из гребцов, уставившихся на панораму Москвы и лениво поднимавших весла.

А Никита весь погрузился в развернувшуюся перед ним давно знакомую картину и ничего не слышал.

Он смотрел и на кружево моста, и на дымящиеся фабрики, и на золотые главы далекого Новодевичьего монастыря, и на щетину лесистых Воробьевых гор, и на низменный Дорогомиловский берег. Каждое местечко было знакомо Никите.

Невольно всплыла в памяти Никиты первая путина на плотах из-под Можая в Москву, когда за десять рублей ассигнациями он стоял в веслах на дровяном плоту, а потом и каждую весну стал ходить на плотах, как сделали его, удалого да ловкого, сперва канатчиком, а потом сгонщиком. И хозяин сам, бывало, на плоту стоит, а правит все Никита. Сорок одну весну на плотах ходит. А сколько горя насмотрелся он за это время! Сколько народу на его глазах потонуло, померло, без вести пропало, а уж сколько пропилось да в острогах из-за этих сплавов сгнило — и не перечтешь... И вчера один канатчик потонул под Троицей. Стали на ночь канатиться, мужик-от соскочил в воду, думал, мелко,

ан в глубь попал да под плот — только и видели... Может, зацепился за дерево, так до Москвы дойдет да при выгрузке всплывет синий, опухлый. А баба-то его как вчера убивалась, все в воду рвалась, так к плоту самое-то от греха привязали...

С берега неслась звонкая, заунывная песня.

— И отчего это,— взбрело Никите,— сорок годов на погонах хожу, а песен на нашей работе не слыхивал? Сапожник поет, портняга колченогий поет, столяр поет и бурлак, и тот, на что уж каторжный, тоже временем поет, а нам вот песня и на ум нейдет.

И стал Никита добиваться, отчего на плотах песня не спорится. Сообразил он, что как сел на плот, так и греби до поздней ночи,— значит, не до песни; потом на ночь к берегу приставать, канатчик должен первый с приколом в воду соскочить, плотовщики окромя баб тоже канатиться в воду лезут. Приканатились. Холод, мокреть, обсушиться негде, спать некогда — того и гляди, плот водой сорвет. Какая тут песня? А потом опять с пустой кашицы да с черствого хлеба петь-то мало радости. И решил Никита, что в их работе петь нельзя.

Солнышко опять спряталось за тучу, и мост, вместо ласкавшего взгляд серебряного кружева, казался серой громадной массой, утвержденной на серых, мрачных скалах, несшихся навстречу плоту и грозивших разбить его вдребезги. Плотовщикам ясно виделось, что мост несется на их плот, и они боязливо косились на него, усиленнее работая веслами.

— Наляг, братеники, наляг! — зычно покрикивал Никита, и гребцы, ободренные ровным, спокойным голосом первого на реке сгонщика, энергичнее налегали на весла и отводили плот на фарватер.

А мост все надвигался ближе и ближе, грознее и грознее вставал из воды каменный устой.

Плотовщики вскидывали головы время от времени, при передышке между ударами весла, различали живую стену у решетки моста и городового, бессильно старавшегося отогнать публику.

С моста доносились возгласы:

— На бык, ей-богу на бык! Во налетит... Вдребезги...

— Куда правишь-то, черт, пра-а черт!..— Последний эпитет относился к Никите.

А опасность была близка. Плот несло прямо на каменный устой, и публика, охотница до ужасных зрелищ, приготовилась видеть крушение.

— Наляг, братеники, наляг! — громче прежнего донеслось до зрителей, и они видели, как еще крепче мужики налегли на весла, как Никита багром отделил с одной стороны на аршин оголовок плота от длинного туловища, как это туловище дрогнуло, изогнулось змейкой в дугу, как оголовок с шестью низко нагибавшимися в веслах мужиками и двумя бабами исчез под мостом и весь плот, минуя устой, помчался туда же.

— Мама, мы поехали, а плот остановился, — услыхали сверху гребцы детский голос, вскоре заглушенный под мостом отголоском ударов весел, плеском воды о каменные устои и грохотом от перебегавшей на другую сторону моста публики.

Плот вынырнул на другой стороне и прямо как стрела продолжал нестись. Гребцы бросили весла и смотрели назад, на народ.

Никита, весь сияющий, без шапки обернулся лицом к мосту и раскланивался.

— Молодец, счастливо, с прибытием! — кричали ему.

— Наляг, братеники, наляг! — опять загудело по реке и раскатилось под мостом.

Опять закланялись гребцы на концах плота, зрителям плот казался все короче и короче, солома на середине плота представлялась желтым, неясным пятном, а мужики и бабы потеряли человеческие формы и казались нагибавшимися очепами деревенского колодца.

Никита надел шапку и плотнее уперся багром в оголовок. Около плота мелькнули две-три небольших лодочки с гребцом и рулевым. Из лодок торчали багры, поленья дров, доски.

— Никита Семенов, мартышки-то мыряют! — крикнул молодой парень с оголовка плота Никите.

— У нас, Ваня, не разживутся полешком... Вороны проклятые, только и ждут, как бы плот разбило где... Чужим горем кормятся!..

— Дома по Дорогомилову-то понастроили!..

— Наляг, наляг, ребятки, канатиться скоро!

Направо перед плотовщиками раскрылась необозримая равнина Красного луга, на которой, как разбросанные кусочки зеркала, блестели оставшиеся от разлива лужи, и ряд таких же зеркал, прямых и длинных, словно обрезанных по мерке, в бороздах залитых огородов. За огородами тянулся ровный ряд куполообразных ветел, а еще дальше бурый кряж голой Поклонной горы. Вдоль берега стояли вереницы плотов с желтыми пятнами соломы и дымками костров, у которых грелись бабы в желтых, как соломенные кучи, армяках.

По берегу то к городу, то обратно к плотам сновали плотовщики, другие кучками стояли по лугу.

Некоторые кучки, круглые, делали странные движения: то поднимали вверх головы, то опускали их, то все вдруг, как по команде, наклонялись и садились на корточки, а затем опять вставали и опять смотрели в небо.

«Избалован, ах избалован плотами народ, — думал Никита, глядя на берег. — А все из-за чего?.. Деньги, кажись, трудные, а вот не жаль... Вон они в орлянку-то играют. Ишь, головы-те задрали к небу, дождя просят. Круг-то человек тридцать. Кровные денежки проигрывают, проживают. И сам пропьешь... А все хозяева... Сейчас пригнали плот, не успеешь приканатиться хорошенько, ан хозяин с водкой, да нарочно стаканище-то норовит такой, чтобы руками не обхватить... Как не выпьешь? С мокрети да с устатку и хватишь... А как хватил — в глазах круги-круги пойдут, зеленые, желтые, красные, синие... Голова закружится — ну и пошло! Вот этот первый-то стакан отравы все наше горе и есть. А там и пошла и пошла! При расчете пьяного обочтут, в трактире тот хорош, другой лучше того, все тебя угощают, ты всех угощаешь, и деньги все! Мало того, по пьяному делу разуют-разденут люди-то добрые, да еще этапом домой ушлют: не путайся, безобразник, по городам, паши, скажут, свою полосу! А все отрава... И кажинный раз думаешь: ну ее к лысому, отраву-то — а как не выпить с устатку-то... обидится...»

Никита стоял, облокотившись на багор, смотрел на луг и бормотал.

— Дядя Никита, канатиться где будешь? — крикнули ему с оголовка.

Никита вздрогнул и огляделся.

— Вон пониже ветлы-то... Наляг, ребятки, наляг...

Плот извивался и скрипел.

Иван отделился от гребцов и перешел на середину плота. Это был молодой, могучего сложения парень в одной рубахе, с расстегнутым, несмотря на свежую погоду, воротом, без шапки и босой. Он поднял толстую, с заостренным концом жердь, намотал на нее бечеву, остатки которой собрал кольцами на левую руку, и встал на край плота.

Гребцы усердно работали. Никита старательно то отводил багром, то притягивал к себе оголовок.

Плот приближался к берегу.

Еще несколько ударов весел, и он искривился. Его толкнуло снизу с такой силой, что все стоявшие на нем покачнулись.

Плотовщики бросили весла, схватили шесты и отталкивались ими от берега. Канатчик Иван с приколом в руках прыгнул в воду и окунулся до шеи. Двое других прыгнули за ним, и все трое быстро очутились на берегу.

Иван, распуская кольца бечевы по мере того, как от него удалялся плот, уносимый быстрым течением, старался всадить острый конец прикола в землю, но прикол вырывало из рук и тащило вместе с Иваном и мужиками, помогавшими ему.

Наконец удалось-таки всадить прикол и забить его чекмарем[1]. Плот остановился и стал извиваться, как змея, которой наступили на голову.

— Третью бечеву! Подтягивай третью...

— О-от так! Крепи ее! Крайнюю проворней! — командовал Никита.

Веревки закреплены. Плот еще треснул раза три, заскрипели его канаты из березовых прутьев, и он остановился.

---

[1] *Чекмарь* — деревянный молот.

* * *

Плотовщики сошли на берег.

Их встретил толстый, как слон, хозяин и, не разгибая жирных, раздутых, как в водянке, пальцев, подал Никите руку.

— С прибытием! Блаапалушна?

— Слава богу... Без задоринки...

— Спасибо, Никитушка, спасибо... Сейчас с прибытием поздравим, а потом в трактир за расчетом.

— С прибытием-то и опосля, прежде бы рассчитаться, — нерешительно заговорил Никита, посматривая на четвертную водки, стоявшую на земле.

— Опосля! Нешто это водится, что ты, Никита Семеныч, тебе хорошо, а...

— А другим-то плохо нешто? Перво-наперво расчет, а там всяк за свои выпьет...

— Ты сухой, а вон Ивану-то каково... — указал хозяин на дрожащего Ивана, с которого ручьями лила мутная вода.

— Ваня, намок!

— Бог намочил, бог и высушит! — щелкал зубами канатчик.

— А ведь изнутри-то лучше погреться... Мишутка, наливай!

Мишутка, пятнадцатилетний сын дровяника, взял четвертную и налил чайный стакан.

— Кушай, Никита Семеныч...

— Пусть вон Ванька пьет, — аппетитно сплевывая, ответил Никита.

— Пей ты, порядок требует того...

— Пей, не морозь человека-то, — послышалось между плотовщиками.

— Пущай пьет... Нешто я причина... Пей, отравись...

— Какая отрава... Што ты... Сам выпью... — Хозяин взял стакан и отпил половину.

— Кушай ты теперь! — подал он Никите, закусывая густо насоленным хлебом.

— Пей поскореича, дядя Никита... Холодно ведь! — нетерпеливо крикнул Иван.

— Посудина уж больно велика... захмелею, — отнекивался Никита.

— Ничего, с устатку-то!..

— Со свиданием!

Никита залпом проглотил стакан, отломил хлеба и отошел в сторону.

Угощение продолжалось. Сначала выпил канатчик Иван, а за ним и остальные, кроме баб. Их хозяин и упросить не мог.

— Да ты пригубь, сколько можешь, Маланья.

— Не неволь: и рот поганить не буду. О празднике, живы-здоровы будем, выпьем уж.

Никита стоял поодаль и смотрел.

— Отрава проклятая, тьфу, как с голодухи-то забирючило... Вон он, народ-от, от нее, как тараканы, сонные по лугу путаются, а все отрава...

Он опять посмотрел на хозяина.

— Брюхо-то отрастил... вот бы в канатчики его на путинку, на другую, небось стряс бы жир-то, ежели бы по-Ванькиному побегал! — добродушно улыбнулся Никита.

Ему представилось, что хозяин бежит босой за плотом, как вчера Ванька под Старой Рузой бежал: стали канатиться, а прикол-то у него вырвало, и Ванька версты четыре босой по снегу да по заливам плот догонял. И сам Никита так же, как молод был, бегивал. Ловкий был, сильный. Канатчику надо быть сильным, а сгонщику умным, чтобы течение понимать и берег, где приканатиться, разуметь.

Картины прошлого одна за другой воскресали перед Никитой.

Посреди деревни стоит большая светлая изба с огородом, а за ним зеленые луга, желтые полосы ржи, березовая роща. От рощи двигается воз сена, двое ребятишек копошатся на возу, а лошадь ведет под уздцы рослый, краснощекий Васька, сын Никиты, а рядом с ним, в красном сарафане, с граблями на плечах, идет такая же рослая и красивая мать Васьки.

Неделю назад, когда Никита сел на плоты, он видел только одну мать Васькину, старую, сердитую. Березовой рощицы давно уж нет, изба почернела, соломенная крыша до половины за зиму скормлена хромому бурке и комолой буренке.

Скучно теперь в избе! На лавке сидит старуха, прядет и думает: загулял мой запивоха!.. А допреж весело в избе было. Особенно весной. Малыши на проталинке в бабки играют, Васька из города, из извоза приедет на праздник. А теперь одна старуха в избе. Ребяток нет. Маленьких съела деревня, большого — город. Махонькие померли: от горла один, другой от живота летом. А на что уж знахарка Марковна стала отходить, и кирпичиком толченым с наговором поила, и маслицем от чудотворцев мазала — ничто не помогло.

Васька — этот в городе пропал. Сперва почетливый был, покорный. В легковых извозчиках ездил, домой рублей пятнадцать, а то и двадцать на праздники-то подавал, а потом запил, в острог угодил, а там и помер. Долго тогда Никита о Ваське плакал. О том плакал, что город Ваську съел. Жил бы в деревне себе, при земле, оженился бы, а захотел погулять-попить — на то праздник есть... Плоты опять... Нешто дело плоты? Ими сыт не будешь, плоты только хозяевам хлеб, а мужику разоренье одно... Мало кто домой привезет заработок с путины,—все деньги в московских трактирах остаются. Разве бабы только да какой уж каменный мужик супротив соблазна устоит... А прежде все лучше было, народ построже был, да и хозяева не спаивали. Зачем на плоты мужик идет, коли они разоренье одно? — спрашивал себя Никита. — Зачем он сам, знает, что плоты разоренье, а сорок лет ходит? А затем, что издавна заведено было отцами да дедами на плотах ходить, так и тянет. Чуть весна — вся деревня на плоты, как праздника ждешь, натосковавшись за зиму-то. А тут хлеба нет, корму скотине не хватило, а хозяин-дровяник уже объезжает деревню и задатки раздает... Картины одна за другой, пестрой панорамой проходили перед Никитой.

А по реке шли плоты один за другим и канатились у берега.

У одного плота порвалась бечева и стащила в воду бабу, другой пристал к чужому плоту, порвал канаты, и хозяин испорченного плота с рабочими избил до полусмерти неосторожного канатчика, а плот унесло дальше и посадило на мель. Около разбитого плота, как из воды, вынырнули десятки мальчишек на своих лег-

ких душегубках и переловили унесенные течением дрова...

Толпа золоторотцев из «Аржановской крепости» прошла мимо Никиты наниматься выгружать дрова.

Эта толпа резко отделялась от толпы плотовщиков. При взгляде на серые, похожие одна на другую мужицкие фигуры в рваных полушубках и понитках, в шапках с торчавшими клочьями кудели и глубокими, добродушными, слезящимися глазами на серых лицах Никите вспоминались такие же серые, однообразные, с клочками соломы на крышах, с глубокими слезящимися в прорезах соломенных завалинок окнами деревенские избы... Видно было что-то родственное между теми и другими, будто одни родили других.

Толпа оборванных, грязных, зловещих золоторотцев в остатках пальто, пиджаков, опорках напомнила Никите трущобы города, куда он как-то ходил разыскивать запутавшегося в них Ваську. Их мрачные земляные лица, их грязные облезлые фигуры напомнили Никите виденные им дома с разбитыми стеклами, с почерневшей, отвалившейся сырой штукатуркой, зловонные, шумные...

Толпа золоторотцев шла быстро... Впереди шагал с темно-бурым, лоснящимся лицом здоровяк в жилете из когда-то дорогого бархатного ковра, в форменной фуражке и опорках, привязанных веревками к оголенным по колена икрам. Остальная толпа с шумом шла за ним. За толпой, стараясь не отстать, торопился оборванец, высокий, худой, беловолосый, напоминавший всей фигурой тонконогий гриб, растущий в подвалах, и как раз сходство с этим грибом усиливала широкополая серая рваная шляпа.

Галденье толпы вывело Никиту из забытья, он осмотрелся кругом, встал и пошел в Дорогомиловский трактир за расчетом.

* * *

Дорогомилово гудело. По всей набережной, по лужам и грязи шлепали лаптями толпы сплавщиков, с котомками за плечами, пьяные. Двое стариков, обнявшись, возились в луже и, не обращая внимания на это видимое

неудобство положения, обнимали друг друга за шею мокрыми грязными руками и целовались. Над самой водой, на откосе берега, раскинув крестом руки, лежал навзничь пожилой рыжий мужик в одной рубахе и в лаптях; пьяный плотовщик продавал еврею полушубок, против чего сильно восставала баба, со слезами на глазах умолявшая мужа не продавать шубы, и вместо ответа получала на каждое слово толчок наотмашь локтем в грудь и ответ: «Не встревай, дура! Ты кто?! А?» Мимо Никиты продребезжала пролетка с поднятым верхом, из-под которого виднелись лишь четыре ноги в лаптях и синих онучах, и одна из этих ног упиралась в спину извозчика.

Около трактира толпы народа становились гуще, плотовщики перемешивались с золоторотцами. Корявый, с топорным лицом городовой разговаривал с барином в шляпе и, указывая на толпу, презрительно говорил:

— Нешто люди? Необразованность, деревня...

Никита шел и то и дело встречал знакомых, с каждым останавливался, говорил. При входе в трактир ему встретился едва державшийся на ногах канатчик Иван.

— Ваня, жив? — окликнул его Никита.

— Ванька нигде не пропадет! — ответил тот и со всего размаха распластался на мостовой.

В трактире с низкими закопченными сводами пахло прелым полушубком и сивухой. Все столы, стулья, скамьи были заняты всклоченными мужиками в рубахах, пол завален сумками, столы заставлены чайной посудой, бутылками; стоял такой гомон от сотен голосов, стуканья посуды и звона медяков, что отдельных голосов нельзя было разобрать. Направо от входа за столом толстый хозяин раскладывал бумажные рубли, покрытые медяками, на кучки и отодвигал каждую кучку к окружавшим стол плотовщикам.

Никита получил свою долю, и на столе появился чай, баранки и четверть вина...

Вечерело. Над рекой опустилась беловатая дымка тумана, заморосил мелкий, как из сита, скорее похожий на осенний дождь. Половые в белых рубахах, бесцеремонно расталкивая охмелевшие, кудлатые головы, опу-

щенные бессильно на стол посреди зала, становились между этими головами на колена, чиркали серные спички о широкие спины плотовщиков и зажигали лампы. Спичка, случайно, а может быть из шалости брошенная половым, попала в рыжую курчавую голову, вспыхнуло несколько волосков, но обладатель головы провел по волосам заскорузлой рукой, потушил пожар и, как не его дело, продолжал спать.

Никита, согнувшийся, обрюзглый, с затуманенными глазами, колотил кулаком по столу и ораторствовал:

— И ругается... Пущай ругается... Бить нас мало...

— А ежели порядок такой? — возражает ему его толстый хозяин.

— Бить... За порядок и бить... Сорок годов хожу на плотах, ты еще мальчонком эконьким бегал, а теперь и пузо отрастил и...

— Благодать господня...

— Нет, ты ногу покажи...

Хозяин выставил чищеный сапог в высокой калоше.

— А это что? А? Оттого ты и пузо отрастил, от жадности... С того пятак, с того пятак — вот и пузо и нога... Нешто это нога хрестьянина... От жадности полтора сапога надето... — сказал Никита, указывая на сапоги с калошами.

— Кешка, брось! А ты выпей лучше...

Хозяин налил стакан.

— Отравы-то?.. Вот кабы не эта отрава-то, так где бы ты полтора сапога взял? Сорок годов на плотах хожу, чугунки не было, по Можайке мы хаживали еще, ассигнациями получали и домой носили... А потому отравы не было и полтора сапога не видали...

Никита выпил залпом стакан и понюхал кусок кренделя.

— Бить нас надо за отраву-то... Вот бабы — во у кого учиться... Сердешная калачика не купит, все домой несет, а отчего? Потому отравы не знает... Верно я говорю? — говорил Никита коснеющим языком.

— Верно.

Хозяин встал и пошел к буфету.

Никита выбросил на стол четыре рублевые бумажки и немного меди и крикнул:

— Вишь денег колько? Еще полуштоф — живо!

На стул, с которого встал хозяин, сел золоторотец.

— Друг, верно я говорю — бить надо.

— Верно, — соглашается тот, косясь на деньги.

— А коли верно, значит выпьем...

— Угостите, коли милость будет...

— И угощу... Ежели я недели мокнул, ежели я свое дело справил, значит... Покажи ногу!

Золоторотец конфузливо выдвинул из-под стола рваный, грязный лапоть.

— Где полтора сапога... А? — Никита потянулся к ноге золоторотца, стараясь схватить ее руками, и упал под стол. Золоторотец бросил свою рваную шапку на стол, прикрыл ею рублевки, огляделся, взял шапку вместе с деньгами и исчез в дверь...

ВОЛЯ ПОКОЙНОГО

Федот Ильич не был человеком с характером, как это казалось его окружающим, — он просто обладал упорством несокрушимым.

— Что заладил, тому и быть!

А заладил он после смерти своей жены, что духовного завещания никогда составлять не будет и что все его состояние должно перейти только законному наследнику.

— Воля моя непреклонна! — любил он повторять в беседах с друзьями.

С единственным сыном у него были не то лады, а не то нелады. Сын, многосемейный работник, ушел после женитьбы от отца и вел свое небольшое дело.

Между отцом и сыном стояли капиталы первого, но все-таки они взаимно любили друг друга. Как-то, последние дни, отец даже был у сына в гостях на даче и говорил:

— Вот рай истинный! — И ласкал внучат.

Одиноко жил он, видаясь изредка с двумя-тремя стариками, приятелями далекой юности, да окруженный разными бедными родственницами, а иногда проходимцами разных полетов, охотившимися за его капиталами, нажитыми упорным, честным трудом ремесленника и приумноженными старческой скупостью.

Но кремень был старик, деньги держал в бумагах, нисколько не интересовался последним падением курса, а видел только одну наличность: резал купоны и приобре-

тал на них новые и новые бумаги, да еще радовался, что рента стала дешевле, а купоны все то же стоят. О будущем не думал, наличность ощущал, по привычке экономил до скаредности и не понимал, что у человека могут быть иные потребности.

— Квартирка тепленькая, одежа-обужа есть, на рюмочку хватает — чего еще?! Не биться, не колотиться и на поклон к людям не ходить!

Был у него в давние времена приятель — поп старый, его прихода, — да умер. Бессребреник поп!

А на его место поставили молодого, новой формации, сбделистого, из ходовых, отца Евсея. Этот и попечительство, и церковные школы, обо всем старается и всеми способами. Так и мечется по приходу, особенно по богатеньким да по вдовам-старушкам.

Вечером ко вдове, утром ко владыке.

— Ваше преосвященство! Еще жертвовательницу боголюбивую нашел на благоустройство приюта вашего имени, дозвольте вам представить.

— Отрадно, отрадно. Что же, веди!

А от владыки ко вдове едет, и под широкополой шляпой волосы встают в ожидании, что на них скоро камилавка залиловеет...

Долго он и за Федотом Ильичом неотступно ухаживал. Чувствует старик это приставание, а возразить не в силах, будто загипнотизирован.

— Владыка вас, любезнейший Федот Ильич, самолично желает видеть, наслышан, что искра божья теплится у вас в груди, и заглушать ее не следует... Года-то ваши, года-то...

Потом вскидывал руки к небу и начинал описывать прелести рая.

— Сколь прекрасен рай-то, сколь он великолепен! Благорастворение воздухов, блаженство праведных, плоды...

— А рябина растет там, в раю-то? — совершенно серьезно спросил его Федот Ильич как-то, и надолго прекратились разговоры о рае.

Засосал его поп! Чувствует старик, что сил нет избавиться от него, и даже уже не тем голосом начал повторять свое любимое:

— Моя воля непреклонна!..

А поп все пути в царство божье указывает, говорит о верблюде, который скорее пройдет в игольное ушко, чем богатый в царство небесное.

Федот Ильич даже нарочно ходил в зоологический сад смотреть верблюда и попу об этом рассказал, а тот опять свое, и медаль на шею золотую примеривал, и о меню обеда у владыки рассказывал. Замучил старика.

Стал он пропадать из дома с утра, а вечером, если встретит его поп в переулке, прямо в трактир спасался, зная, что духовной особе туда идти не подобает.

Наконец извелся до того, что свой дом, насиженное гнездышко, наскоро продал и на другой конец города из своего прихода переехал.

А поп на другой день поздравить с новосельем препожаловал, пирог принес.

— Матушка испекла!

И рябиновки посудину из-под рясы вынул и на стол:

— Матушка настояла... два года для вас выдерживала! А там еще в запасе в чулане есть!..

Не устоял старик против любимой рябиновки! Сидят за графинчиком и беседуют.

— Семьдесят-то годков есть?

— Восемьдесят, батюшка, восемьдесят сегодня минуло!

— С днем рождения! Вот не знал, вот в какой счастливый день привел господь... Ну, помолимся...

И опять за рябиновку.

— Да, года большие... Все под богом ходим... А завещаньице-то есть?

— Зачем? У меня законный наследник есть... Сын...

— Так оно... Только нонешние, знаете, люди-то... О душе пещись надо... Рай-то, рай-то какой! Блаженство, плоды всякие, рябина-то во-о какая...

Старик сидел, клевал носом и шептал:

— Моя воля непреклонна... Рябина моя... я...

Каждый день то с пирожком, то с рыжичками... Еще четверть принес...

Пришлось послать за доктором. Прописали лекарство, диету, ежедневную прогулку. В это время, отрезвившись, старик к сыну на дачу съездил денька на

два. Приезжает домой, а письмо от попа на столе. Все о том же, да еще с прибавлением, что владыка хочет с ним познакомиться.

Не велел старик попа принимать, а он к нему с просвиркой пришел врасплох и черновичок духовного завещания набело переписанный принес.

Соловьем залетным пел ему священник; всю элоквенцию семинарскую в ход пустил, чокаясь стаканчиками до позднего вечера, и уговорил, наконец, на другой день к нотариусу...

А сам уж и домик подыскал для школы, и процент изрядный за продажу с домовладельца выговорил.

Проснулся старик рано, с головной болью, одышка, глаза не смотрят. Приказал подать парадный сюртук, часы надел золотые, что делал только в самые торжественные дни, и сел за чай.

Налил из стакана в блюдечко, долго дул, сделал глоток, да и встал из-за стола. Вынул из кармана черновик завещания, развернул его, опять положил в карман и крикнул кухарку:

— Дай-ка пальто! Ежели кто спрашивать будет, скажи, к нотариусу пошел.

— Ладно, батюшка Федот Ильич, стало-ть, к... как его?

— К нотари-у-су! — протянул старик.

— К мат... мат...

— Ну да, к мат... мат... молчи уж, скажи, что по делам ушел... Давай-ка новое пальто!

Оделся, стал застегиваться, да и закашлялся. Потом оправился, ощупал карман, посмотрел, тут ли бумага с завещанием, и начал надевать калоши.

Сапоги были новые, и калоши лезли плохо. Старался, кряхтел, топал, — наконец пришлось нагнуться, поправить калошу рукой. Нагнулся. Голова закружилась. В глазах потемнело.

* * *

У владельца дома для поминовений был обычай никогда не топить свои громадные палаты.

— Народом нагреется, ко второму блюду еще жарко будет! — говаривал он гостям.

— Да ведь ноги замерзли!

— А вы валеночки, валеночки надевайте... Эй, свицар, принеси-ка ихные калошки!..

И кто послушался хозяина, чувствовал себя прекрасно.

Еще за молчаливыми блинами со свежей икрой, вместе с постукиванием ножей о тарелки, слышался непрерывный топот, напоминавший, если закрыть глаза, не то бочарное заведение, не то конюшню с деревянным полом.

И наследник, поместившийся на почетном месте, против духовенства, усердно подливавший вино, изредка тоже притопывал.

— Во благовремении и при такой низкой температуре оно на пользу организму послужить должно! — басил, прикрякивая, протодиакон, отправляя чайный стакан водки в свой губастый, огромный рот. Он заметно раскраснелся и весело развязал язык. — А то давеча за закуской хозяин рюмочку с наперсток так наливает и говорит: «Отец протодиакон, пожалуйте с морозцу...» Это мне-то, да наперсток!..

— Это верно-с, отец протодиакон, маловата для вас посудина одноногая.

— Конечно. Я и говорю ему: не протодиаконская эта посудина и не протодиакону из нее пить, а воробья причащать!.. Ну, и, конечно, стаканчик... Пожалуйте-ка сюда вон энту мадерцу.

— А вот покойный рябиновочку обожал... Помянем душу усопшего рябиновочкой... Отец Евсей, пожалуйте по единой! — предложил церковный староста, друг покойного.

— Нет, уж я вот кагорцу... Я не любитель этой настойки. Виноградное — оно легче... — И чокнулся с наследником. А потом потянулся через стол к нему, сделал руки рупором и зашептал: — Воля покойного была насчет постройки церковноприходской школы и приюта для церковнослужителей... Завещаньице уж было готово, и я избран душеприказчиком. Вы изволили ознакомиться с завещаньицем?

— Да, читал... Не угодно ли рябиновочки? Позволите налить?

— Я кагорцу.

— А я вот рябиновочки. Она лучше, натуральнее, и притом наша русская, отец Евсей.

— Не любитель я... Виноградное больше... У владыки всегда виноградное за трапезой, я и приобык...

— А ведь рябиновочку тоже вы, Маланья кухарка мне сказывала, любили с отцом пить...

— Конечно, попивал, но так, для компании... а я виноградное.

— Вот лисабончику пожалуйте.

Когда обносили кисель, топот прекратился, резкое чоканье стаканов прорезало глухой шум трехсот голосов, изредка покрываемых раскатистым хохотом протодиакона, а отец Евсей под шумок старался овладеть вниманием наследника и сладко пел ему о пользе церковноприходских школ и святой обязанности неукоснительного исполнения воли покойного.

Прислушивался незаметно к этим речам церковный староста, и умный старик посматривал на наследника, которого еще ребенком на руках носил и с которым дружил и до последнего времени.

— Так как же-с, что изволите сказать на мои слова, Иван Федотович: благожелательно вам будет исполнить волю вашего батюшки?.. Конечно, можно за это через владыку удостоиться и почетного звания, и даже ордена...

«Тут не пообедаешь!» — улыбнулся про себя церковный староста.

— А вы бы рябиновочки, отец Евсей... Давайте-ка по рюмочке... Помянем отца!..

— Я бы хереску...

— Нет, уж сделайте одолжение, рябиновочки со мной выпьем.

— Ежели уж такова ваша воля, — наливайте!

Выпили.

И опять ладони рупором, и опять разговор. Отец Евсей раскраснелся от выпитого, глаза его горели, голос звучал требовательно.

Наследник молчал и крутил ус.

— Ну-с, так позвольте узнать решительный ответ: угодно вам исполнить волю...

Но он не договорил.

Задвигались стулья. Протодиакон провозглашал вечную память.

— Ве-е-е-чная па-а-мять... Ве-е-еч-на-я па-а...

— Еще раз и последний беспокою вас, благоволите ответить, — нагнулся через стол отец Евсей.

— Извольте... Мы с моим покойным отцом относительно церковноприходских школ совершенно разных воззрений, и полученное мною по закону наследство я употреблю по своему усмотрению.

— Позвольте, — а воля покойного? Ведь ваш батюшка имел уже в кармане черновик духовного завещания и скончался, как вам известно, скоропостижно, надевая уже калоши, от разрыва сердца...

— Да... да... К сожалению, я знаю...

— И конечно, исполните волю вашего батюшки для успокоения его души?

— Я вам говорил уже, что на этот предмет я совершенно другого взгляда и на церковноприходские школы не дам ни копейки.

— То есть, как же это?..

— Да так, ни ко-пей-ки! Считаю наш разговор оконченным. А теперь помолимся.

— Ве-ечная память... ве-ечная память... — гремело по зале.

Отец Евсей сверкнул глазами и, сделав молитвенное лицо, начал подтягивать протодиакону.

— Однако! — сорвалось у него на половине недопетой им ноты.

И еще раз повторил он:

— Однако!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Это было в излюбленной дачной местности близ столицы. Я приехал суток на двое пожить к моим хорошим знакомым, давно уже обитающим в этой прекрасной местности.

Семья эта состояла из пожилого чиновника, его жены, добродушнейшей Анфисы Ивановны, двух сыновей, служивших на телеграфе, и трех дочерей, из которых старшая, Анна Васильевна, недавно овдовела, а остальные кончили гимназию и мечтали о «совместной работе, рука об руку с любимым человеком».

Все три были хороши собой, а лучше всех вдова, впрочем, довольно скучноватая, нервная и слишком уж преданная памяти мужа.

Я всех помнил еще детьми и прежде частенько бывал у них, живя в одном городе. Но последние годы моя жизнь сложилась так, что я редко заглядывал в северную столицу и редко видал симпатичную мне семью Раевых. Но я всегда и всюду помнил о них, в силу многих незабвенных минут, проведенных в дни самой первой юности в этой семье, и знал, что и они все интересуются мной, следя по газетам, где я и что я делаю.

Их дача стояла в густом липовом парке, шагах в тридцати от дороги, так что с террасы можно было видеть проезжающих, а с дороги — всю семью, обыкновенно заседавшую на террасе.

Случай, о котором я говорю, был на второй день моего приезда. Вечер мы провели, катаясь на пруде, и все возвращались веселой гурьбой домой ужинать.

Старики тоже плелись сзади, поотстав от молодежи. Ночь была темная, и с трудом глаза различали белую полоску липовой аллеи, по которой мы шли. Направо, вдали показался огонек нашей дачи.

Терраса ярко освещена, накрыт стол, освещенный большой висячей лампой.

Вдруг перед террасой мелькнула тень и обрисовалась на белой скатерти стола и стене. Какой-то человек вскочил, схватил что-то со стола и бросился бежать.

Шедшая со мной под руку вдова, единственная из всего общества, увидала это, прижалась ко мне и испуганно шепнула:

— Видели? Кто это?

— Идите и молчите, я узнаю!

И, вырвавшись от ее руки, я бросился в калитку сада, пересек дорогу, белевшую между деревьями, и настиг фигуру. Я рассмотрел человека высокого роста, в пиджаке, картузе и высоких сапогах. В тот момент, когда он, не видя меня, подбежал ко мне, я схватил его за грудь и прижал к забору.

— Стой, что украл?

Он совершенно растерялся, опустив руки.

Я чувствовал, как несчастный весь дрожит под моей рукой. В это время остальные уже подошли и окружили нас.

— Вор! Вор! Вора поймали... — заговорили все.

— Что ты украл? — продолжал я допрос.

— Ради бога, извините, я проездом между поездами... Буфет закрыт. Вижу стол на террасе накрыт... Стоят бутылки... Никого нет, а я с похмелья. Подбегаю, схватил бутылку и больше ничего. Ничего!.. Помилуйте, там серебро лежало. Я ремесленник, имел заработок. Наконец, есть деньги, билет. Вот бутылка. Простите, Христа ради!

Он вынул из бокового кармана бутылку красного вина и передал мне.

Я осмотрел карманы.

Ничего больше не оказалось.

— На, возьми бутылку и ступай! — сказал я ему.

Он повалился в ноги со слезами на глазах и стал благодарить бормоча:

— Я — не вор... С похмелья только бутылку... Выпить захотелось.

— Так отпустить?! Покровительствовать ворам! В полицию! В стан! Эй, сторож, сторож! — закричали все в один голос.

Несмотря на то, что все эти собравшиеся вокруг «преступника» люди сами по себе были людьми добрыми, способными проникнуться глубоким состраданием к мухе, которую душит паук, — теперь в голосе каждого из них слышалось какое-то озлобление. Все словно ослеплены были животной боязнью за свой покой, за свою собственность и не хотели видеть жалкой фигуры пойманного, его приниженной забитости.

Несчастного передали подоспевшим сторожам, которые и повели его. Я вышел на террасу. Сели за стол. Разговор не вязался. Дамы были на стороне вдовы. Только одна гимназистка, сестренка, перепуганная происшествием, мило смотрела на меня влажными глазами.

— И вы, Анна Васильевна, спокойно кушаете, отправив человека в полицию, отдав его ни за что под суд? — сорвалось у меня с языка.

— Значит, по-вашему, прощать воров?! Разводить этих разбойников, чтобы нас перерезали!

— Ничего подобного! Я вовсе не говорю о прощении воров и преступников; я говорю, что в данном случае человека несчастного не следует губить.

— Вы либеральничаете на чужой счет...

Я улыбнулся.

— Простите, именно на свой собственный. Едва ли кто-нибудь из вас всех бросился бы в темный парк ловить вора; ведь он мог быть вооружен. Я имел несчастие это сделать. Теперь раскаиваюсь. Вы меня, Анна Васильевна, хотели оскорбить, но я не оскорбился. Я сам раз в жизни в таком положении был. Позволите рассказать?

Глаза всех обратились на меня.

— Пожалуй, рассказывайте, — лениво сказала Анна Васильевна, но в глазах загорелось любопытство.

— Дело было так. Как вам известно, я был несколько лет рабочим и жил, как все рабочие-зимогоры. — Что такое зимогоры? — Самое слово показывает: зимой горюют. И действительно, летом работы для нас вдоволь, а зимой или на белильный завод идти себя отравлять, или сидеть в трактире впроголодь, раздетому, разутому, ждать одиннадцати часов, когда выгонят, иногда в тридцать градусов мороза, в одних опорках и рваном зипуне на голом теле. Хорошо, если есть пятак на ночлег, — заплатишь, ляжешь на грязный пол, вытянешься и уснешь. А утром опять в трактир, ждать, пока вечером выгонят. Иногда работа набегала — дрова выкладывать из вагонов, а великим постом лед на Волге колоть. Я раз провалился сквозь лед и пешню упустил. Насилу вытащили меня, а пешня так и пропала. Три дня отработал за нее. Ну вот и сижу я раз в трактире. Дело было после рождества. На улице больше тридцати градусов, а на мне опорки на босу ногу. Вот и одиннадцать часов. Вытолкали нас. Холод, на ночлег денег нет, должен за неделю, и приходить съемщик не велел. Товарищи ушли. Стою я один у дверей, дрожу, не знаю, куда идти. Трактир на углу переулка.

Вдруг мимо меня промчался человек с каким-то узлом и исчез во тьме, а вслед за ним городовой и еще двое, которые сразу схватили меня с криками и повалили. Я ударился головой о камень и потерял сознание. Очнулся на полу в грязном квартале, рядом с пьяным человеком. Тускло горел ночник. На столе лежал кусок хлеба. Голова болела, совершенно пустой желудок. Решетка не доходила до потолка, я перелез и взял хлеб и стоя, с жадностью начал есть. Тут только и сообразил, что произошло со мной, как меня поймали, понял, что я, благодаря ошибке, могу пропасть, погибнуть. Я осмотрелся. Городовой на скамье и пьяный за решеткой удивительно в тон храпели.

Я приотворил дверь на улицу — храп продолжался. Я вышел, тихо затворив за собой дверь, и пошел по пустой улице.

Ударили к заутрени. Я вошел в слабо освещенную церковь и простоял до утра, молясь от всей души. Я был спасен, как оказалось потом, от каторги. В рыночном

трактире только и было разговора о побеге арестанта из квартала, что арестант этот был пойман за ограбление женщины, которая на извозчике везла узел с платьем. Впоследствии, дня через два, весь трактир знал грабителя, беглого сибиряка, который пропивал деньги, вырученные от продажи на базаре двух женских шуб. Знали об этом все, кроме полиции.

Вскоре после этого случая я написал отцу, чтобы он мне выслал денег, и, получив сто рублей, оделся и уехал домой, бросив изучать трущобный мир, который чуть меня не погубил.

Едва я успел окончить свой рассказ, как послышались быстрые шаги в саду. Кто-то бежал к нам. Дамы испугались. К террасе подбежал сторож.

— Господин, помогите... выручите. Человек-то, которого вы отправили, убег от нас и зубы мне разбил.

— Убежал... Не поймали?

— Нет, как есть убег!

— Ну, слава богу, — вырвалось у Анны Васильевны.

Сторожу дали на чай, пообещали не жаловаться, что он упустил арестанта.

Впоследствии другой сторож сознался, что сторожа отпустили пойманного, не находя его виновным и выпив вместе бутылку лафита.

— Уж и кислятина, чего только пьют господа. И воровать-то не стоило, — оправдывался перед дворником сторож.

В ОГНЕ

Эх, да и времечко же было, вспомнить любо! Охотой, братцы вы мои, на войну я пошел. На Кавказ нас погнали. Шли мы горами да ущельями, недели две шли. Казбек гору видели с вековечными снегами и в духанах водку фруктовую пили... С песнями больше шли.

Жара стояла смертельная, горы, пыль, кремнем раскаленным пахнет, люди измучились, растянулись, а чуть команда: «песенники вперед» — и ожило все, подтянулось. Загремит по горам раскатистая, лихая песня, хоть и не особенно складная, а себя другим видишь... Вот здесь, в России, на ученьях солдатских, песни все про бой да про походы поются, а там, в бою-то, в чужой стороне, в горах диких, про наши поля, да луга, про березку кудрявую, да про милых сердцу поется:

Ой, не ласково приняла,
Ой, огорчила ты меня!

Хватит было запевало, весь в поту и в пыли, заломит шапку на затылок, и сердце захолонет, и слеза по пыльной щеке сбежит и грязной каплей скатится на пропотевший насквозь ремень ранца.

Да забывчивость-то не надолго...

Запевало уж другую выводит:

Поле чистое ту-уре-е-ецкое,
Да ты раздо-ольице широ-окое!

Подхватишь — и печаль-тоска вон из сердца.

Пришли наконец в отряд.

И места же! Направо море, налево и впереди — горы, и леса по тем горам дремучие. Не такие леса, как у нас, не сосны, не ели, а все граб, пальма, грецкие орехи, инжир, на котором винные ягоды растут, и все это виноградником да колючкой переплетено. Проклятая эта колючка, сколько народу в ней погибло!

Запутался раз и шабаш, не выйдешь, как когтями зацепит; и чем больше ты вертишься, тем больше цепляет она тебя... Фруктов там разных — чего хочешь, того просишь. Цветы опять: магнолий — цветок в лесу растет, и всякий другой. Хорошо! Только насчет лихорадки да змей страшно...

Опять скорпиёны с тарантулом, вроде как не то пауки, не то раки, народ насмерть жалят... Ночь придет — чекалки (шакалы по-нашему) песню свою затянут. Таково жалобно, будто хоронят кого...

Стоим это ночью в цепи. Темь — зги не видно... Тихо... Только справа где-то, внизу, море рокочет. И чем шибче бьются волны, тем спокойнее на душе. Знаешь: когда бурный прибой, то и неприятель с судов на берег не высадится, значит — со стороны моря не бойся, только вперед гляди — поглядывай.

А впереди темь... Такая темь, будто у тебя глаза закрыты... На слух больше неприятеля ловили.

Жутко первое время было в цепи стоять. Чего-чего не придумаешь... И убьют-то тебя, и в плен возьмут, и шкуру с живого драть будут, и на кол посадят... А потом в привычку вошло, и думушки нет: стоишь да послушиваешь, да житье-бытье российское вспоминаешь...

Привык я малость в цепи стоять, а там в охотники выбрали, стали посылать в секреты да на разведку.

Умирать буду, не забуду, как нас в охотники выбирали.

Выстроили весь отряд четырехугольником, а в отряде-то тысяч десять народу. Стали, ждем — стоим. Отрядный генерал на середину выехал, поздоровался:

— Здорово, братцы!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! —

гаркнули. Объехал нас и выслал адъютанта. Красавец офицер, на вороном коне, с Егорьем на груди.

Выехал адъютант и скомандовал: «Смиррно!» Потом такую речь повел, — каждое слово по гроб не забуду!

— Братцы-товарищи! Все мы пришли сюда на смертный бой с неприятелем и готовы жертвовать жизнью своей. Здесь десять тысяч храбрецов, готовых в бой. Из вас надо выбрать шестьсот охотников. Помните, братцы-товарищи, что охотники идут на верную смерть, и мало того на смерть — на муку, на пытки. Если охотника пошлют в турецкий лагерь, где с него с живого сдерут кожу, где его посадят на кол, — он должен идти. Если охотнику прикажут стать под выстрел—он должен стать и умереть. Никто из охотников не увидит своих родных, своей родной России: он должен умереть здесь, под пулей и кинжалом неумолимого врага. У охотника нет надежды на спасение; еще раз повторяю — никто из охотников не увидит России, не увидит семьи... Итак, друзья, нам нужно шестьсот человек, обрекающих себя на смерть, шестьсот охотников.

Адъютант смолк.

Оглянулся я: у солдат лица как-то разгорелись, глаза заблестели.

Направо от меня, рядом, стояли пешие казаки в длинных черкесках и высоких папахах, заломленных на затылок. Как вкопанные, будто не им говорят, стояли они.

Адъютант еще раз скомандовал «смирно» и громким голосом крикнул:

— Желающие в охотники — шаг вперед...

Я взглянул на казаков. Как один человек все они сделали шаг вперед и остановились так же спокойно, как и были.

И наши зашевелились, многие вышли вперед.

Не помню, как и что, но я тоже очутился впереди.

Много лишних в охотники вышло. Вместо шестисот — тысячи впереди очутились. По жеребью выбрали шестьсот, а остальных в запас записали, на случай, если тех убьют.

Стали мы жить отдельно, по-охотницки.

Сняли сапоги, поршни — вроде как башмаки — из буйловой кожи надели, кошки на пояс повесили: когти

Вот музыка замолкла — только один уцелевший горнист, неистово покрывая выстрелы, как перед смертью, наяривал отчаянное та-да-та-да-та-да-та-да...

А вот и команда: «Ура!» Мы ждали «ура!»

Лучше умереть в рукопашном бою, чем быть расстреливаемым, как расстреливал нас, на высоте, неприятель.

— Урра!.. — загремели мы в ответ и бросились на молнию выстрелов, на гребне высокого вала...

Я перепрыгнул ров, не помня себя. Перед самыми глазами ослепил и оглушил меня выстрел, блеснул ятаган над головой и — фигура в красной феске... Я всадил штык в эту фигуру; сзади, вместе с ней, нас столкнули наступавшие, и мы оба полетели в ров...

«Урра!..» «Алла!..» Стоны раненых, выстрелы ружей глухо слышались мне; я лежал, придавленный человеком в красной феске, тем самым, которого я ударил штыком. Он был мертв.

Кругом выстрелы, ура, стоны, сущий ад. Ров был наполнен умирающими и убитыми. Всюду лужи крови...

«И смоют ли слезы матерей и сирот всю эту кровь?» — думал я и окровавленной рукой утирал свои слезы.

ПРАВОЕ ДЕЛО

Великолепны Балканы! Чудно хороши их заоблачные выси! Верхом на малорослом горном коне, цепляющемся своими выработанными на кремнистых кручах копытами, молча поднимаешься вверх, созерцая чудные картины богатой горной природы...

Никто не мешает восторгаться поразительными видами даже в тот момент, когда, балансируя на узком карнизе отвесной кручи, чувствуешь одной ногой каменную скалу, к которой осторожно жмется лошадь, а другая нога висит над черной бездонной пропастью, откуда едва-едва доносится прерывающийся шум каскадов горного потока.

А там, под тобой, громадный орел, сорвавшийся со скалы, кажет тебе свою бурую спину, могучие распластанные крылья и старается подняться...

Вот он пропал в кусочке облака и через него выплыл из белого тумана, могучий, величественный, сравнялся с тобой и пошел кверху, к небу...

А ты поднимаешься еще выше, прорезаешь облако, дрожа от сырости, и, наконец, облако под тобой.

Горизонт открылся. Там, внизу, чудная необъятная долина с разбросанными селами и садами, а с другой стороны — цепь гор.

Те самые горы, которые казались великанами, когда поднимался на них, теперь кажутся где-то далеко-далеко внизу, как и те долины, — только все будто изрыто,

будто железные сделаны, — если в дождик в гору идти, так под подошвы подвязывали, — ну, и не склизко: идем по мокрой глине, как по лестнице.

Жара началась особенная; чуть вечер, весь отряд спать собирается, а мы вперед до утра, за турецким лагерем следить, своих беречь, да если что у неприятеля плохо лежит — скот ли распущен, лошади ли в недосмотре, часовые ли зазевались, все нам, охотничкам, годилось.

И якши, и яман — все клади в карман! И скоту, и часовому — всем настоящее место нахаживали.

Каждую-то ночь таким манером...

Больших дел все не было. Ждали мы ждали, да дождались же!

Часов так около четырех утра...

Дежурным я при балаганах в эту ночь оставался. Вдруг, слышу, тревогу вызывают, а со стороны турецкого лагеря мелкой дробью ружейные выстрелы: та-даа-та-та, та-та та-та та-та тррр...

Наша команда уже выстроилась и бегом помчалась вниз, к цепи.

Сзади, в лагерях, суматоха: войска выбегали из балаганов...

С гор неприятель... Вот первая пуля просвистала над головою... Потом другая, третья, как шмели. Одна из черных полосок впереди вдруг остановилась на полугоре. Что-то задвигалось, ярко блеснуло на солнце, и четыре больших белых клуба поднялись к облакам.

Бау-бу-бу... бау — загромыхали орудия, зашуршали и завыли гранаты над головой. Одна около нас хлопнулась, бац! Как молонька сверкнула из нее, а потом завизжали осколки, дым нас окутал... юнкер со мной шел, гляжу, вскрикнул и упал... Лежит, разбросал руки... Я было наклонился поднять, да уж поздно: грудь вся изуродована, кровь, клочки мяса да сукна...

— Носилки... носилки! — слышно кругом, а там команда: «Бегом марш», и снова мы помчались... Около раненых оставили четверых.

Еще пуще завыли, зашипели над нами гранаты и засвистали пули... А мы все бежали, все бежали вперед...

Вот и цепь.

Нас рассыпали. Залегли мы в кусты — и началась лихая перестрелка.

Неприятель стрелял через нас. Сущий ад кругом! Солнышка от дыму не видать... Ружейные выстрелы кругом — как хлопушки: та-та-та-та-та... Пули визжат да посвистывают на все голоса, — как в пчельнике сидишь... Орудия и с той и с другой стороны: бо-у, бу-бу-боу-бу-бу-боу!.. Гранаты рвутся: тах-тах, только осколки от них воют.

Еще из команды двоих убили...

А бой все сильней разгорался. То и дело подносили к нам патронные ящики. Ствол моей берданки совсем горячим стал.

Долго продолжалась перестрелка и наконец перешла в наступление.

Сначала один горнист, где-то далеко, затрубил, чуть слышно, меж гулов выстрелов: та-ти, та-та, та-ти та-та, та-ти та-ти, та-ти та-та, потом все ближе и ближе, на разные голоса, и другие горнисты заиграли наступление... Выстрелы сделались еще чаще... Среди нас громыхала артиллерия, и как на ученье в ногу шли колонны. Когда они поравнялись с нами, раздалась команда: «Пальба батальонами!» Присоединились мы, кучками, к надвинувшимся войскам...

Дым как-то реже стал, ветерок с моря потянул, и перед нами открылась неприятельская твердыня, — замелькали красные фески, заблистали ружья. «Батальон, пли!» — раздалась команда, и грянул залп. Вместе с тем грянули и наши орудия. Опять залп, опять орудия, опять залп... Неприятельские выстрелы стихли. Наши горнисты заиграли атаку... Раздалась команда: «Шагом, марш!» Та-да-та-да-та-да-та-да-та-та-а-та-ди-та-ди, та-ди-та-да та-та-а, — все чаще и чаще гремела музыка, все быстрее и быстрее шли мы, и все чаще и чаще падали в наших рядах люди... А мы шли. Что со мной было, не знаю. Но сердце трепетало, каждая жилка дрожала, — я ничего, ровно ничего не боялся... Шел на смерть, и хотел умереть! Вот уже несколько сажень до неприятельской батареи, исчезающей в дыму, сквозь который только и мелькают красные молнии; а нас все меньше и меньше...

будто под тобой необъятная рельефная карта с белыми пятнами облаков, заснувших в ущельях.

И гонит ветер облака из ущелья в ущелье, прижимает их к отвесам, поднимает кверху...

И летят они, белые, дальше, дальше, до тех пор летят, пока не растают в горном воздухе под лучами солнца или не соберутся в грозную, темную тучу...

Хороши Балканы! Земной рай балканские долины! Они — вечная причина войн и раздоров. С незапамятных времен переходили они от народов к народам. Их виноградники и розы выращены на крови человеческой, на грудах костей. И долго из-за этих красавиц еще будет литься кровь, до тех пор, пока любовь не победит злобы и зависти...

И теперь в очаровательной и многострадальной Македонии христианская кровь смешивается с кровью мусульманской...

Крест и полумесяц враждуют между собой... А рядом, на севере, в Болгарии, где любовь победила злобу мусульман, там счастье и свобода!

Северные богатыри спасли своих южных братьев, и южные македонцы ждут своих спасителей с севера, и рвутся северные братья на защиту своих соплеменников. Но еще время не пришло...

Пограничные горы, разделяющие счастье и несчастье, свободу и рабство, строго охраняются...

И видят горные заоблачные орлы зоркими очами на своих излюбленных гранитных скалах вооруженных людей, и знают орлы, что им будет добыча.

Недаром стоят часовые... Недаром блестит оружие...

Петко сменил часового и остался один посредине горной дорожки, извивавшейся по ущелью. Он стоял как раз на высшей точке дорожки на границе: вниз, к северу, — Болгария, вниз, к югу, — Македония. Он стоял, опершись на дуло ружья обеими руками, и думал. Ночь была темная, тихая, каждый шорох слышен. Упал камешек сверху и запрыгал в пропасть. Часовой вздрогнул, но сразу успокоил себя. «Черепаха, должно быть, столкнула... или змея... А может быть, и скатился...»

И опять тишина.

Далеко-далеко внизу едва слышно журчал ручеек, и Петко к нему прислушивался, как к единственному живому звуку, и думал о своем доме.

Там, на севере, его родина... Милая, теплая долина роз. Что-то поделывает его жена Еленка? Прядет, должно быть... А дед, столетовский дружинник, рассказывает про былое. И сколько дед знал да видел! Еще маленький Петко заслушивался его рассказов... Бабушка всегда плакала, слушая его, а иногда и сама рассказывала. Говорила, как турки пришли к ним в хату, как убили ее мать, изрубили отца и голову его на кол перед окнами воткнули, а маленького братишку и сестренку, которую она нянчила, в колодце утопили... «А там и не знаю, что было в эту ночь... Помню только, что утром нашла меня соседка в винограднике. Я долго-долго не могла поправиться... Вся избитая, измученная лежала в хате, а потом дед пришел, вернулся с резни с турками...»

И тут начал рассказывать дед, как он на Дунае был, как в Враце в Ботевской дружине дрался с турками, как его ранили и в плен взяли. Видел он в плену, как товарищей юнаков мучили, языки вырезывали, глаза выкалывали, уши отрубали, из кожи тела ремни выкраивали... Сотни раз видел он эти муки... И ему было бы то же, да случай спас.

Рассказывал дед, как он ушел.

— И между турками тоже добрые люди были.

Давно, давно это было. Дед еще женат не был. Тогда тоже напали на деревню турки, но только их юнаки прогнали. А на другой день пошел дед с горы и слышит — кто-то стонет в пропасти. Спустился. Лежит молодой турок. На лице кровь запеклась. Один глаз вытек, а другой смотрит злобно.

— Убей меня скорей, гяур собака! — хрипит турок.

— Убить просит себя! — рассказывает дед. — Да жалко мне его стало. Тоже человек ведь, да еще от ран мучается. Может, у него отец, мать, а то и детки малые есть. И так-то мне его жаль стало. Лежит — не шевелится, на губах кровь запеклась, а сам ругается:

— Болгар собака!

Оружие на нем дорогое, одежда тоже. Ну, спустил-

ся я к ручью, набрал воды в баклагу, подошел к раненому, напоил его и давай лицо отмывать. Ожил он. И глаз добрее смотрит. Слеза блеснула... А другой глаз не глядит — вытек весь...

Закурит дед и продолжает:

— Раздел я его. Изорвал свою рубаху, промыл и перевязал раны. Опасных не было. Только камни изорвали да оглушило падение. Успокоился мой турок.

— Алла ак бар, э-валла! — молится по-своему и благодарит.

И всегда в это время у деда слеза блеснет.

— Пошел я наверх, позвал своих болгар, рассказал им всю историю. Взяли мы носилки и перенесли раненого в мою хату. Двадцать дней он пролежал у нас. Потом, когда совсем выздоровел, всех благодарил и ушел. Красивый такой, сильный, только глаза не было, да на лбу поперек шрам кровавый остался. И подарил он мне при прощании вот этот нож и ятаган.

— Ты спас Осман-Бея! — сказал, прощаясь, турок.

И дед всегда в это время показывал нож с серебряной отделкой. А ятаган у него в плену отняли.

— Так и пропал ятаганище! Ну да вот этот, другой, получше.

И рассказывал дальше:

— В плену, когда я поправился, повели и меня на казнь. Еще со мной было двое наших. Поставили среди войска. А командует войском турок в золоте и орденах. Подъехал он к нам и смотрит. На гнедом коне, высокий, стройный, правого глаза нет, а на лбу шрам. Знакомое лицо. Смотрю на него да как крикну:

— Осман-Бей!

Посмотрел он мне в лицо своим одним глазом и приказал солдатам провести меня к себе, а сам повернул коня и поскакал. Привели меня к палатке, втолкнули в нее, а сами ушли.

Посреди палатки Осман-Бей стоит.

— Здравствуй, друг! Не забуду никогда, как ты спас меня! Помню я твою хату, твою семью, как ходили за мной, лечили меня. Много я за вашу ласку ко мне спас болгар от смерти...

Долго мы говорили.

А тем временем он приказал привести к палатке моих двух товарищей.

— Где мой ятаган? — спросил меня Осман-Бей.

— Твои отняли, когда в плен брали.

— Ну вот тебе другой! Этот получше будет. Береги его на память обо мне. А теперь бери своих товарищей и ступай домой. Аллах велик. Он велит платить добром за добро.

Обнял меня Осман-Бей, дал мне кошелек с золотом и велел проводить своей страже до границы.

И помнил Петко этот огромный ятаган с серебром и бирюзой. С этим ятаганом дед на Шипке у Столетова дрался, и сказал он, указывая на ятаган, отцу:

— Стоян! Это твой ятаган, а отдам тебе его, когда будет это надо.

По росту и по руке был отцу этот ятаган! Отец высокий, сухой, мускулистый, ловкий и смелый, как тигр. Еще одного только такого человека знал Петко — это дядю из Македонии, которого раз в жизни видел и не забудет никогда: одно лицо, одна фигура с отцом, только еще сильнее и суровее.

Дядя еще после войны исчез из дома и жил то в Македонии, то в Софии; звали его Михалю.

Знает Петко, что оба еще почти детьми, и отец и дядя, дрались с турками и добывали, рискуя каждую минуту, воду для солдат на шипкинских позициях.

Матери у Петко не было — она умерла вскоре после его рождения.

Отец очень редко бывал дома. Воспитывали Петко дед и бабка. Женился он два года назад, и год назад его взяли в солдаты.

Оставалось служить только восемь месяцев.

Он побывал уже на больших маневрах на Шипке, отстреливался с грозных заоблачных скал самого Орлиного гнезда, о котором столько слыхал от своего деда.

Петко стрелял, окутанный холодными облаками, холостыми патронами, а воображал себя таким же героем, как отец и дед его, отбивавшие здесь двадцать пять лет тому назад отчаянные атаки сулеймановских заклятников.

И в тот миг он, готовый идти на штурм, лезть под

пули, в простоте души был уверен, что их сейчас поведут в Македонию — воевать с туркой, и был полон радужной мечты защищать своих братьев.

И не он один так думал.

По вечерам, после маневров, так думали и старики, а отец прямо говорил дружинникам:

— Пойти бы теперь постоять за несчастных братьев... А тут вот напрасно порох тратят... И все это политика да дипломатия...

И усачи-дружинники слушали его со сверкающими глазами.

Потом кончились маневры, и полк их прямо отправили на границу.

Не то что домой отпустили, повидать семью, а и с отцом проститься не пришлось! Ночью двинули и форсированным маршем через дикие горы повели. А за горами-то и есть эта самая Македония, о которой отец так часто говорил, особенно, когда возвращался из своих долгих отлучек.

Где отец иногда проводил целые месяцы, никто не знал. А приходил всегда измученным, оборванным, но всегда приносил с собой дорогое турецкое оружие. А два года назад пришел больной — все рану на ноге перевязывал. С месяц хворал...

Так никто и не знал, где бывал отец. А к нему иногда ездили важные люди, ученые. Тогда всех выгоняли из хаты, оставался только один дед с ними. Про что говорили, тоже никто не знал. А когда уходили гости, и отец уходил с ними.

Бабушка плакала, а дедушка успокаивал ее, говоря:

— Правое дело Стоян делает, правое дело...

А какое правое дело, Петко так и не знал.

Дядю он только раз и видел. Весь в серебре да золоте приходил к ним, когда еще Петко маленьким был, а потом больше и не видались.

Раз только отец рассказывал — мастер был отец рассказывать, только редко разговорчив был... Рассказывал отец, вернувшись из долгой отлучки в прошлом году, как где-то с дядей ходил и натерпелся страху...

— Да, — говорил отец, — ничего никогда не боялся, а тут — старость, что ли, приходит, — кручи испу-

гался... Боялся идти! Я, выросший на заоблачных скалах, перетрусил, как баба... Нас только было двое — я и дядя...

И помнил Петко весь рассказ отцовский почти что от слова до слова.

— Быстро мы шли. Горы становились все выше. Наконец и подъем. Перед нами бурая стена, верхняя часть которой обвита облаком.

Стена, облако и с обеих сторон узкого гребня, на который мы вошли, бездонные пропасти.

Дядя Михалю усилил еще шаг, махнул мне рукой, прося не отставать, и начал подниматься кверху, шагая и подпрыгивая с нечеловеческой быстротой с камня на камень.

Внизу, под нами, по той дороге, где шли, послышался топот лошадей.

То скакали, то ехали рысью. Оглянулся я на ходу вниз и увидал вдали всадника на вороной лошади. На нем был надет башлык, и за плечами блеснуло дуло ружья...

А дядя лез. Камни и земля из-под ног сыпались на меня, попадали под ноги.

Он поднимался вверх, как кошка, и не оглядывался. Только кое-где махал мне рукой.

Чувствую, что задыхаюсь. Ноги отказываются служить, особенно болит правая, раненая.

А дядя все шагает, все лезет.

Вот уж обрывки облаков белеют над нами. Белые кусочки дыма затягивают ущелья... Гора отсырела... Нога скользит. Сердце колотится усиленно... Чувствую, что вишу над пропастью, и боюсь в нее взглянуть, а глаза невольно опускаются вниз.

Впереди голая скала стены, на верху которой шагает дядя.

«Нет, не могу дальше! Брошу дядю... Ночую где-нибудь внизу, а на другой день пойду долинами. И зачем, — думаю, — я пошел за ним? Зачем?» А Михалю уже вверху, скрывается в облаках... Его быстро убегающая фигура белеет в тумане, все гуще окутываясь им. А внизу — там смерть...

Повис над пропастью, прижавшись правым боком

к скале, и чувствую, в первый раз в жизни чувствую, что тянет в бездну, в эту черную, бездонную, зияющую пропасть.

Молчаливая, мертвая, темная могила.

Тянет против желания, но тянет неудержимо.

Страшная усталость, дышать нечем, тошнит... В этом висячем положении дальше быть невозможно. Не хватает сил ухватиться за торчащий каменный выступ и через него пробраться на узкий желтый карнизик-тропку, образовавшийся в скале.

А дядя Михалю бегом пробежал по этой полуаршинной дорожке.

— Э-эй, сюда! — слышится из-за облаков его голос...

Открыл запекшиеся губы, хотел крикнуть ему в ответ, а звуков нет...

И в то же время слышится топот копыт внизу и резкий голос.

— Собака гяур!

И грохот выстрела, и свист пули над головой, и воет эта пуля дальше в облаках. Эхо ущелья повторяет десятки раз грохот выстрела. Будто горы рушатся!

Опять новый выстрел, другой, третий... Ущелье грохочет, и одна пуля тычется в землю у самого лица, рикошетирует и свистит в облаках...

— Эге-гей! — весело кричит в облаках дядя.

— Эге-гей! — кричу я в ответ и, забыв все, и усталость, и зиящую бездну, смело прыгаю на каменный уступ, момент балансирую на нем и вишу половиной тела над пропастью и снова шагаю по козьей тропинке, конец которой скрывается в облаках. Еще несколько шагов — и облако скрыло черноту бездны, а холод, сырой холод заставляет дрожать вспотевшее во время бега тело...

А дядя сидит на выступе скалы, свесивши в пропасть ноги в знак полного к ней презрения, и заряжает винтовку. Я сел рядом с ним... Кругом свистели пули и грохотали выстрелы...

Петко теперь также стоял на краю пропасти, но ему уже не было страшно. Он больше боялся дороги, по которой могли идти люди, а он должен был не пропускать их.

Он помнил приказание капитана. А капитан сердитый. Все, даже офицеры, не любят его еще за то, что он учился и жил в Вене, воспитывался на немецкий манер и хоть носил имя болгарское, а болгар и за людей не считал.

А наказ он давал такой:

— Ни туда, ни сюда — никого не пропускать, кто бы ни шел. Гнать назад или представлять ко мне, а не будут слушаться, — стрелять в ослушников.

А вчера на этом же самом месте из Македонии шли беглецы — старик и женщина с двумя детьми... Оборванные, голодные... Они жаловались, что их селение сожгли турки, всех жителей перерезали и только они успели скрыться в лесу, избежали смерти и пробирались к нам, в Болгарию. Часовой пожалел и пропустил их. А капитан увидел, приказал сменить часового и бросить в подземную тюрьму, которую нарочно приказал вырыть. Говорят, часового расстреляют завтра... Семью беглецов переловили, и капитан прогнал их назад... Как плакали, несчастные!.. Офицеры просили капитана пропустить, но он был неумолим и закричал на офицеров...

Несчастные ушли в слезах обратно.

«Если сейчас они вернутся, что делать?» — задал себе вопрос Петко и вспомнил рассказы бабушки о турецких зверствах. И решил, что пропустил бы несчастных, а там пусть расстреливают. Женщин и детей с македонской стороны пропустил бы: от смерти и муки бегут. А вот с своей стороны мужчин, особенно же вооруженных, не пустил бы. И если бы стали идти насильно, выстрелил бы в них, потому куда не приказано, не ходи, на то дисциплина!

А почему не приказано, он не знал. Стало быть, начальство про то знает...

«Политика... дипломатия, — блеснули в памяти слова отца. — Да еще дисциплина». И думал он:

«Какие такие эти политика и дипломатия, которые придумали дисциплину, чтобы за своих родных не позволять заступаться, а турки пусть неповинных людей режут?»

И решил: «Швабы придумали это».

Он напрягал весь свой ум, чтобы разобраться в этих вопросах.

«Отца бы спросить, он ученый, все он знает. А этих несчастных я пропустил бы».

— Приказано не пускать.

— А не пустить, — турки их замучают.

— Приказано — значит нельзя.

— А дети малые за что погибают? Чем младенцы виноваты?

— Приказано — нельзя! Приказано — не рассуждать!

— А если несчастные не послушают, пойдут спасать свою жизнь, — приказано стрелять... убивать? И это приказал начальник, капитан, и я должен слушаться, потому — дисциплина.

Политика... дипломатия... дисциплина... Вот оно все откуда! Недаром отец не любил этих слов.

Турки вот тоже убивают... Им тоже приказано... Им муллы приказывают, сам слышал: «Чем больше убьешь гяуров, тем блаженнее в раю Магомета будешь... Аллах велит гяуров бить...»

И сам же говорит: «Аллах создал всех людей...» Создал и велит бить свое создание...

— Муллы велят, творя его волю: и бить и мучить.

— А мой дед и отец били турок за то, что они мучили наших. А командир приказывает убивать наших, которые переходят границу. Оттуда идут — от смерти спасаться. Туда идут — спасать от смерти братьев, драться с турками за них.

Когда дед и отец дрались с турками, им дали кресты и медали. У дедушки — комитская медаль. Отец ее целовал — вот какая медаль! А получил ее дедушка за то, что еще до войны с турками дрался, когда сам комитом был... А теперь в комитов стрелять велят...

Ум Петко положительно разметался...

Вдали на юге показалось зарево.

«Турки палят», — подумал Петко и долго смотрел на зарево, пока оно не погасло. Потом он смотрел на звездное синее-синее небо и слушал внизу отдаленное журчанье ручья...

Холодно было. Близко утро. Можно уже слегка различать предметы... Небо белеет, и звезды меркнут и сливаются с небом. Только одна Утренняя звезда поразительно ярко блестит и как-то в один миг делается совсем маленькой и блестит еще ярче. Вдали к юго-востоку облака начали краснеть, переходя вверху сначала в темно-багровый, а потом в свинцовый цвет, и, наконец, слились с небом.

Все меньше и меньше Утренняя звезда. Она как-то прячется. Будто стыдно ей... Будто стыдно и облакам за эту ночь, стыдно, что они скрывали от неба то, что творится там, за горами, где сейчас было зарево, красивое, как кровь невинных, пропитавшая там землю.

И покраснели облака, чувствуя издали появление солнца, которое все увидит и в наказание растопит облака.

А звезда, молчаливая звезда, чувствуя приближение солнца, побледнела...

А луны в эту ночь не было. Ее умирающий серп показался над горами и бессильно спрятался...

Кругом белело.

Вдруг из-за хребта вырвался и блеснул солнечный луч, сначала один, а потом целый золотой сноп, и заиграл на порозовевших вершинах и сразу засеребрил и озолотил их до самого темного подножия, черневшего там, глубоко, под часовым.

Потянул по ущелью свежий ветерок... Сразу, быстро поднялось солнце, и засиял бриллиантами весь хребет с цепью вершин самых причудливых форм... Сразу ожили горы.

Снизу послышались шаги... Петко обернулся к северу и стал прислушиваться...

А ветер, рвавшийся вдоль ущелья, с силой урагана свистал в расщелинах и шелестел деревьями... Шаги все слышнее. Петко волновался и осмотрел винтовку...

Все, что передумал он ночью, опять с быстротой молнии промелькнуло в голове...

— Кто же это? С нашей стороны... Комиты, должно быть...

И вдруг из-за каменной скалы, на узкой тропинке, еще окутанной облаком, заснувшим в ущелье, появились

одна за другой человеческие фигуры... Сквозь туман облака трудно было рассмотреть их.

— Стой, кой иде? — торопливо окликнул Петко.

— Свой! — получился энергичный ответ.

Голос показался часовому знакомым.

— Вернись назад!

Молчат. Идут.

Он рассмотрел вооруженных людей.

— Щте стрелям! — кричит Петко.

— Б'лгарин си? —спросил Петка тот же энергичный голос.

— Б'лгарин сме!

— А если болгарин, так знай, что идут свои комиты, борцы за свободу наших братьев...

По тропинке один за другим шло много людей. Впереди шел, весь в золоте и оружии, высокий усач-македонец. С ним рядом шел...

— Отец! Дядя Михалю!.. — крикнул часовой и остолбенел.

— Петко, здравствуй! — в один голос крикнули дядя и отец; последний подошел и поцеловал его.

— Ну вот и хорошо, что ты здесь: еще комита у нас есть! — сказал дядя, стискивая руку Петка.

Петко стоял и ничего не понимал...

— Стой... Нельзя идти... Дисциплина... Стрелять буду... — бормотал он как во сне.

Дядя тем временем взял у него ружье, схватил его под руку и повлек за собой по тропинке, по той самой тропинке, по которой вчера пришли старик и женщина с детьми...

Петко ничего не сознавал и не понимал, что ему говорили отец и дядя.

На отце он увидал дорогой дедушкин ятаган, и на сердце у него стало хорошо: он верил отцу и дяде, и только теперь понял, что он идет на правое дело — спасать братьев.

В ВИХРЕ

(Из воспоминаний репортера)

Вот уже второй день, как я мирно лежу в сторожке лесника, а все чувствую, что мчусь на этом чудовище, вокруг которого бессильно воет разрезаемый им ветер.

Стоит закрыть глаза — и сквозь шум векового бора мне ясно слышится грохот орудий, взрывы, трескотня винтовок и громыханье этого громады-паровоза, предназначенного для поездов-молний и так лихо вынесшего меня от верной смерти.

Сейчас, лежа на лавке, я ощущаю, как он мечется, прыгает и клокочет подо мною, как визжат рельсы, как громыхают стрелки.

Нас было трое: я, машинист и кочегар с завязанной красным кумачом головой; ему пуля пробила ухо, и он, сорвав с трубы флаг, перевязал им рану.

Войска уже ворвались в окутанную дымом станцию, а товарищи, отстреливаясь, отступали к лесу. Некоторые падали на снег, сраженные пулями. Я остался на путях и нырял под вагонами, пока не очутился перед начавшим двигаться паровозом.

— Садись! — крикнул мне машинист, помогая влезть на высокую подножку.

Загремел по стрелкам паровоз, заревел свисток, совершенно некстати данный в этот раз привычной рукой, и покрыл грохот выстрелов.

Нас заметили; застучали пули по железу и, визжа, гулко прорезывали трубу. Стоны, крики, выстрелы еще были слышны минуту...

Ужасы ада оставались позади, дальше и дальше с каждой секундой.

Мы бешено неслись, не думая о том, свободен ли путь. Сзади нас была полная безнадежность, и мы уходили от смерти, от пуль, может быть на вернейшую гибель от крушения. Но впереди все-таки жизнь и воля! Да об этом и не думалось...

Бешено кружились деревья леса, неуловимо мелькали телеграфные столбы, будки... Вот совершенно пустой полустанок... Опять лес, опять поля, будки... Машинист то и дело высовывает голову и дает свистки. Мы пролетаем станцию... Толпа восторженно приветствует нас и машет папахами и красным флагом... На следующей станции стояли солдаты с удивленными лицами и метался офицер.

Потом, когда мы были уж далеко, свистнули вслед нам пули. Одна разбила стекло и визгнула по перилу.

— Дьяволы! — прошипел машинист и дал тревожный свисток — оглушительно захохотал паровоз в ответ на выстрелы.

Мы неслись с быстротой невероятной; регулятор открыт вовсю. Летим! Машинист, этот равнодушный к жизни и смерти человек, горел жизнью. Лицо его жило каждым мускулом. Глаза сверкали. Мы неслись под уклон, и под нами визжали рельсы, сыпались искры... В подъем паровоз стал останавливаться.

Впереди высились фабричные трубы.

Машинист поцеловал паровоз, смахнув слезу, спрыгнул на полотно и снял шапку.

— Прощай, товарищ!

Мы пошли в лес. Было тихо-тихо в лесу... только снег хрустел под ногами. С веток сыпался иней...

ПЕСНЯ

Жил-был на свете
Добрый человек.

Песня лирника

Неоглядна степь. Конца-краю нет.

И гладка, и ровна, и, как блюдо зеленое, круглая...

Только кой-где по ней могилки степные высятся.

Да шлях прямой и широкий полосой витиеватой прорезал ее.

И около шляха могилка стоит.

Как выточенная, ровная да круглая, вся в зелени яркой.

И сидит у могилки старичок слепенький и поет заунывно тихим голосом:

Жил-был на свете
До-брый человек...

А сам незрячими глазами в небо смотрит. И такая благодать по лицу его разливается, будто он в небе невидимом светлый рай созерцает...

И кто бы ни шел, ни ехал шляхом утоптанным, всяк у старичка остановится, всяк песню его заунывную послушает и с собой ее унесет...

Купец ли проезжий, калмык ли широколицый, богомолка ли, что киевским угодникам грех свой с макову росинку несет, утешенья в жизни беспросветной

ищет, солдат ли беглый, немец ли колонист, барин ли на четверне —все у могилки остановятся. Кто серебрушку, кто медяшку, кто хлебца кусочек старичку положит...

А старичок и сам с бездомовым бродяжкой голодным поделится и ему, на весь мир обозленному, в небо глядючи, свою песенку споет:

Жил-был на свете
До-брый человек...

И пойдет бродяжка, удал добрый молодец придорожный, и старичкову песню мурлыкает...

И поднимется в ночь туманную рука его, привычная на дело недоброе, и сверкнет в ней нож, кровью ржавленный, — а в памяти-то шлях широкий, старичок у могилки слепенький...

И опустится рука его нещадная, куда нож полетит, кровью ржавленный, из дрожащих губ песня просится:

Жил-был на свете
До-брый человек...

И уйдет он от зла, успокоенный песней старческой заунывною...

А в ночь темную лучами ясными от могилки свет разносится...

В степи могил — конца-краю нет.

И в могилах тех победители.

Все вожди лежат знаменитые, все в доспехах златокованых...

Шли с Востока орды дикие... Табуны коней несметные... Где пройдут они, — там былинки нет; где раскинут стан, — там гора стоит... Как умрет их вождь, — яму выроют... Дно ее уложат камнями, а на камни те и вождя кладут, с ним оружие и добычу всю — груды золота...

И везут-несут землю с камнями, до тех пор несут, пока вырастет над покойником гора круглая...

Чтоб потомки знали-видели, сколь велик герой под холмом лежит...

А потомки-то — как прошли века — холмы срезали, кости вырыли и оружие вместе с золотом в даль безвестную из могил несут...

И пришла пора, степь распахана, на могилах тех скирды выросли...

А у шляха могилка все цела стоит...

Все поет слепец песню старую:

Жил-был на свете
До-брый человек...

И хранит та песня могилку придорожную.

И никто ее не коснется, никто в ее нутро не заглянет.

Да и взять-то что с человека доброго! Ни оружия нет старинного, нет ни золота раздобытого.

И стоит себе могилка целехонька...

Да и кто погребен в ней — неведомо.

Да и был ли кто там? Ну, не все ли равно?!

Ведь уж где-нибудь да когда-нибудь ведь уж жил такой, про кого поют!

А где жил он, где помер, где кости его, — что и спрашивать!

А что был он такой — это ведомо.

И костей его нет — слава носится...

Над могилкой степной зорькой светится...

Тихой песенкой заунывною в вышине плывет к небу синему...

И поет слепец, в небо глядючи, — значит, видит он, где той песни путь.

И звучит она по земле кругом. Все, кто слышал на степи ее, в города несут, в села дальние и поют ее в дни тяжелые, в дни счастливые...

А слепец сидит, в небо глядючи, и народ к нему все идет, идет, и для всех слепец все одно поет над могилкою:

Жил-был на свете
До-брый человек...

ВАНЯ КУЗНЕЦ

— Ваня Кузнец в добровольцы просится, — доложил становому письмоводитель.

— Ну и прекрасно, отправить его к воинскому начальнику. Я вдвойне рад — первое потому, что избавляюсь от скандалиста и пьяницы, а второе потому, что он, наверно, с десяток врагов передушит голыми руками.

— Да он уж второй месяц не пьет. Как водку запретили, другим человеком стал.

— Где он?

— В канцелярии.

Становой из отставных офицеров, полный и добродушный, вышел в канцелярию. У двери стоял весь в саже красавец юноша. Сквозь разорванный рукав рубахи сквозили великолепно отделанные мускулы.

— На войну, Ваня? Что ж, доброе дело. А это помнишь? — улыбнулся становой, указывая на дверь с решеткой.

— Было, да прошло. Это мой праздничный номер. Связанный валялся тут на полу.

— Не покоен ты был во хмелю.

— Быльем поросло. Как проклятую запретили, — век бы ее не было, — человеком стал. Пожалуйте мне свидетельство для воинского начальника.

— Ступай с богом. Федор Федорович, напишите ему самое лучшее свидетельство. А ты, Ваня, иди ко мне,

я тебя хоть стойке да поворотам выучу, объясню, как начальству отвечать, — сразу солдатом будешь.

Старый капитан увел Кузнеца в сад и преподал ему военную выправку. На другой день Иван был уж у воинского начальника, а через два месяца на передовых позициях в одном из славных полков, куда он попал совершенно случайно, понадобился кузнец, а он тут и подвернулся. В первом сражении ему посчастливилось отбить у немцев раненного во время атаки полковника, которого он и принес на руках к своим, за что и получил Георгиевский крест.

* * *

Наши войска отступали перед сильным напором врага. Последний полк арьергарда с саперами и казаками должен был разрушить мост на пути наступления неприятеля.

Полк охранял саперов, минировавших каждый устой огромного моста, а казачьи разъезды рыскали на неприятельской стороне и не допускали к мосту разведчиков врага, который двигался огромной массой с тяжелой артиллерией.

Во время саперной работы прапорщик, ротный командир, доложил командиру полка:

— Господин полковник, унтер-офицер Федоров предлагает...

— Какой Федоров? Который спас меня?

— Так точно. Он предлагает интересную вещь, а именно: взорвать минированный мост тогда, когда через него пойдет неприятельская артиллерия.

— Это нелепость. Вы подумайте: сначала пойдут разведчики, потом кавалерия, затем пехота и артиллерия. Кто же будет взрывать? Мы отойдем, а если и решится на это какой-нибудь смельчак, так его разъезды найдут ранее, чем он это сделает.

— У него очень смелый план. Благоволите его выслушать.

Призвали Федорова.

— Изволите видеть, ваше высокоблагородие, вот этот глиняный обрыв берега, вот на нем все дыры, это гнезда стрижей. Они-то меня и надоумили. С обрыва весь

мост как на ладони... Я бы думал так: мост минирован, а взорвать его, когда по нем пойдет войско и, главное, орудия. Для этого провода от мин провести под землей к обрыву, а оттуда и взорвать врага.

— Кто же взорвет?

— Я, ваше высокоблагородие.

— Каким образом?

— Это можно наверняка. Сверху этого обрыва выкопайте землянку, чтобы одному человеку залечь в ней, проведите к ней — ведь всего сто шагов от моста — концы проводов, заройте меня в эту землянку, сверху заровняйте землю, чтобы и следов не было, а между стрижиными гнездами сделайте из землянки такую же дверку, в которую я и дышать буду и наблюдать за мостом. Как он с артиллерией пойдет, так я и взорву, и конец ему.

— Да ведь и тебе тоже. Ведь это значит тебя заживо похоронить.

— Точно так. Меня закопаете одного, а я уж, должно быть, побольше...

Полковник задумался.

* * *

Становой справлял свои именины. В числе гостей был воинский начальник, священник и прапорщик с двумя Георгиями—серебряным 4-й степени и золотым с бантом 1-й степени.

Он был герой дня и украшением скромного праздника.

В окна заглядывали обыватели и шептались:

— Ишь, Ваня-то Кузнец наш чего добился... С полковником и батюшкой рядышком...

— Ай да Ваня!.. И матери своей сорок рублей вечную пенсию выслужил... А кто думал?

— А всего полгода и на войне пробыл.

За чаем прапорщик рассказывал откровенно и просто о том, за что ему дали офицерские погоны и золотой крестик.

— Приладили все ловко. Могилу саперы вырыли хоть куда. Сверху и с боков досками и брусьями обложили, кровать на козлах поставили — хошь сиди, хошь

лежи. Прямо от изголовья провели четыре толстых газовых трубы — в две дышать, в две глядеть. Весь мост на виду мне, а им только видны стрижиные гнезда и ничего больше. Ни за что не догадаешься, потому что из этих гнезд будто снаружи на них глаза человеческие глядят. Сверху, должно быть, тоже так заровняли надо мной землю, что и не узнаешь...

Приготовили мне землянку эту, поставили воды, хлеба и стали со мной прощаться... Полковник, ротный, офицеры... все прощались, много хорошего говорили, чуть до слез не довели. Батюшка пришел, исповедал и приобщил... Ну, просто хоронили как будто покойника...

Пришло время лезть. Поклонился всем, перекрестился и полез. Потом лесенку убрали, а я лег на кровать — лицом книзу, чтобы не смущаться, и только крикнул: «Закрывай, ребята, скорей! Неприятель совсем близко».

Э-эх! Жутко стало. А молчу... Застучали доски. Скоро-скоро саперы закрыли... Потом покрыли шинелью, чтобы земля не сыпалась сквозь щели. Сразу темно стало. Я поднял голову, а передо мной четыре дыры и сквозь них и мост, и река, и дорога видны. Как застучала земля по доскам! Да ведь так гремела, будто из пушек палят... Все тише... тише... Все страшнее мне становится... и вспомнил я первым делом кутузку... Проснешься, бывало, ночью, темь кругом, пить захочется. Кости от побоев болят да еще руки связаны... И думаю: хуже бывало. Тут хоть дело могу большое сделать, а там за что мучился? За винище. И сразу повеселел... А сверху гремит все... Только глуше... А потом смолкло. Ушли, значит... Смотрю я на мост — никого. Тихо. Дышать немного тяжело — сырой землей пахнет... И захотелось мне спать... Вот как захотелось... Я лег, а дышать нечем... И ко сну клонит... И зачем это я согласился на такое дело? Каюсь, значит... А глаза закрываются. Думаю, впрочем: засну — не проснусь. Я опять подышал в трубу. Да сразу и ожил. Из-за моста скачет взвод казаков... Вот как несутся. И по мосту во весь мах... Ну, думаю, значит враг близко. Проскакали казаки, а так минут через десять неприятельская кавалерия.

Проскакали и остановились у моста. С коней послезали и четверых отправили к мосту. А провода у меня и справа и слева. Только соедини — и мост взорван... Мучило меня только одно: вдруг неприятель раздумает идти по мосту, пропал я, малый, зря... Потом еще четверо сели на коней и поехали по мосту... Те стоят по ту сторону реки. Потом стучат по мосту, и все восьмеро разведчиков вернулись. Весь эскадрон сел на коней, и поехали шагом по мосту, а трое отделились и поскакали назад.

Стихло все. Опять никого. Потом вижу пыль за мостом... Кавалерийский полк идет. За ним полк пехоты и там артиллерия, и еще пехота, и еще артиллерия... А у меня грудь спирает, никак в трубу вполне надышаться не могу... В виски кровь колотит... Загремела по мосту кавалерия. Двинулась пехота... А мост сажень семьдесят, широкий... Идут отделениями... Заполнили мост... Так меня и тянет провода соединить... Больше ни о чем и не думаю... Жду все-таки... Двинулись орудия... Два посереди моста, а два въезжают... Торопятся... Мост тесно набит народом... Руки у меня дрожат, зубы стучат, задыхаюсь. Ну, думаю, пора, а то еще задохнусь, зря заряд пропадет. Отодвинулся от трубы, поднял к свету проводы и соединил их... Как шандарахнет! Будто вся земля взорвалась... Чем-то меня ударило, и я куда-то полетел...

С бледными лицами, боясь дохнуть, слушали все рассказ Кузнеца.

Он смолк.

— Ну а как же вы спаслись? — наконец осторожно и тихо спросил воинский начальник.

— Ничего не знаю. Очнулся я в госпитале. Сестра милосердия передо мной... Я открыл глаза и ничего не говорю и ничего не понимаю. Все думаю: а где же труба? Ищу, чтобы подышать... Потом уж начал приходить в себя... Прибежали доктора... Потом генералы пришли... Все чужие — своих из полка никого... На другой день сам командующий армией пришел, поздравил меня прапорщиком, надел золотой крест и сказал:

«Молодец Федоров, твоя заслуга великая никогда не забудется».

И приказал отпустить меня на месяц домой и сто рублей подарил на дорогу.

— А как же все-таки вы спаслись?

— Ничего не знаю. Доктор и сестра говорили, что меня замертво привезли с позиции, сказали, что я взорвал неприятельское войско, и приказали меня вылечить. Да сказали, что я был зарыт в землю и взрывом выбросило меня из земли... Как это случилось — не знаю... Должно быть, и берег отвалило взрывом... И стрижиные гнезда все пропали.

СУСЛИК

Я возвращался из поездки по табунам и зимовникам Задонских степей, но, имея свободное время, решил прокатиться по Волге от Царицына до Саратова, а там уж по железной дороге — в Москву.

Мой друг, Гаврило Яковлевич Политковский, управляющий конским пунктом в Великокняжеской станице, у которого я провел суток двое, наградил меня, по донскому обычаю, корзиной съестного на дорогу, что и составляло весь мой багаж, если не считать пальто в ремнях, где завернут был маленький саквояжик и портфель.

От Великокняжеской до Царицына я почти не уснул от страшной духоты и жары в крошечном купе тряского и дребезжавшего вагона.

В шесть часов утра я был уже на Волге, на Самолетской пристани. Ожидался первый пароход снизу в двенадцать часов дня, как сказано в расписании, висевшем на совершенно пустой пристани, где единственный сторож-матрос подметал пол.

Одет я был, как всегда в моих поездках по степям, в тужурку, высокие козловые сапоги и форменную фуражку с черным бархатным околышем. Высокие сапоги необходимы для объезда верхом конских табунов, а форменная фуражка для почета, особенно среди калмыков, боявшихся всякого начальства и ни в грош не ставившего человека в неформенной одежде, как бы шикарен

ни был его костюм. Это я испытал на себе, когда в первый раз явился в табуны в штатском пальто и шляпе. Разговаривать не хотят! Политковский тогда мне посоветовал непременно обзавестись формой, особенно фуражкой.

Я в это время редактировал спортивный журнал и состоял корреспондентом Государственного коннозаводства, что давало мне право носить коннозаводскую форму, чем я и воспользовался для моих степных поездок.

Форменная фуражка подействовала и на сторожа на пристани, когда я его спросил:

— А раньше не будет снизу парохода?

— Никак нет... Наш придет первым.

— Опоздает еще, может быть?

— Нет, сегодня почтовый, может, и не опоздает.

И предложил мне занять комнату на корме пристани, для классных пассажиров. Вынув из кармана ключ, взял мои вещи и отнес их в казенку, где был стол, стулья и большой деревянный диван.

Я ему — полтинник, а потом запер дверь и отдаю ему ключ:

— Пойду пока погуляю, зайду в трактир, выпью чаю...

— Ключик возьмите с собой, часов до одиннадцати никого не будет... А насчет чаю, ежели что, так у меня и чайник и посуда здесь почище, чем в трактире.

— Ладно, погуляю и приду чай пить, а потом спать.

Около нашей пристани было пусто, а у соседних шла обычная погрузочная суета...

Я пошел на берег и почти у самых сходней заметил одинокого старичка в сермяге и в лаптях, который сидел на бревне и колотил об якорь воблу. Рядом с ним лежал картуз, из которого торчала краюха хлеба.

Удивительно знакомым показалось загорелое дочерна лицо его... Эта косматая впроседь голова и особенно огромные брови, как-то с краев загнутые вверх, изменили мой маршрут; я узнал его. Да, это он! Он — и никто больше!

Вспомнилось мне далекое прошлое, грозные дни юности, о которых я совершенно позабыл, — настолько

они рознились с настоящим, насколько моя темно-синяя тужурка и щегольские сапоги рознились от сермяги и лаптей старика.

И вспомнилось мне то время, когда наши костюмы были одинаковы. Это не значит, что у старика была тужурка и форменная фуражка, а значит, что я был одет тогда в такую же, как и у него, сермягу и в такие же, как у него, лапти или опорки на босу ногу. Вспомнилась мне бурлацкая ватага на Волге в холерный 1871 год, где от товарищей по лямке я услышал впервые о знаменитом разбойничьем атамане Репке, вспомнился мне Сорокинский белильный завод в Ярославле, где я года через три после лямки видел и самого Репку и этого самого старичка вместе с ним. Я видел атамана Репку, но ни я и никто из сотни заводской рвани, стабуненной в нашей грязной казарме, не знал, что этот огромный, бородатый старичище Иван Иванович и есть знаменитый Репка, когда-то гроза судовладельцев и обожаемый атаман низовой вольницы.

На заводе вообще никто не знал ни про кого, кто он да откуда. Никому до этого дела не было, а хозяину выгодно — беспаспортным меньше жалованья платили.

Кто не сказал своего имени-фамилии, прозвищем величали, как сам скажет. А то больше все по видимым приметам:

«Эй ты, рыжий! Эй ты, конопатый!» — у кого лицо шадровитое после оспы. А то был один безносый — так его звали «Нос», и он нисколько в обиду не вдавался. А одного пропойцу из отставных чиновников звали «Енотовые штаны». Он года за два до меня появился на заводе и кличку получил за то, что пришел в каких-то невиданных мохнатых штанах. И штанов тех давно не было, а все его звали «Енотовые штаны», до самой смерти. Он уже при мне заболел свинцовым отравлением и умер в больнице — судьба всех рабочих этого завода, кто вовремя не ушел...

А никому неведомый Репка — что это был Репка, я узнал, уже уйдя с завода, — назвал себя Иваном Ивановичем. Так его все и величали с уважением Иванычем — уж очень фигура была величественная. А вот этого самого старичка, что теперь воблу о якорь колотит,

чтобы шкура с нее слезла, звали «Суслик». Без малого двадцать лет прошло, а он все такой же, только побелее стал.

Так он и в конторе был записан: «Суслик».

«Суслик! — бывало, управляющий конторой Юханцев вызывает при даче жалованья. — Суслик! Получи три с полтиной, ты рублевку вперед забрал».

«Ладно, забрал».

«Тимофей Сергеев!»

И Тимошка, крестьянин села Красного, Костромской губернии, получает четыре с полтиной, потому что у него паспорт настоящий есть, а у Суслика никакого.

Вперед же, надо сказать, на Сорокинском заводе никому копейки не давали.

* * *

Удивительный рассказчик был Суслик. Когда через неделю после получки все проживутся до рубахи, — Суслик на сцену. И после ужина около него на нарах и на полу громоздятся опухлые от пьянства зимогоры и слушают молодой, звонкий голос сказыря.

Ровно и плавно льется рассказ. Ни одного жеста рукой, лицо неподвижно, только огромные брови иногда шевелятся и досказывают недосказанное. А глаза в какую-нибудь одну точку смотрят и будто никого не видят. Чаще всего в седую бородищу Иваныча. А тот первый его слушатель. Или сидит на своих нарах, свесив босые ноги, или лежит на брюхе, лицом к сказырю, подперши голову исхудалой ручищей, которой у обыкновенного человека можно все лицо закрыть. Сидит и смотрит на грудь Суслика, и лицо его также неподвижно. Только иногда в серых, совсем не старческих глазах отражается то улыбка, то грусть, то они на секунду сверкнут, и опять — порыв сдержат, без участия глядят на грудь рассказчика. Я всегда слушал сказку, смотрел то на Иваныча, то на Суслика и не раз замечал, что, когда взоры их встретятся, у Суслика тоже сверкнет какая-то зарница — только на момент, — и снова у того и другого смолкнут глаза. И думалось мне не раз, что Суслик главным образом для Иваныча и

рассказ ведет и что Иваныч знает-перезнает все его сказки-бывальщины... Даже больше, может быть, знает...

А так меж собой они и не разговаривали в другое время.

* * *

И вот сидит передо мной Суслик. Отбил воблу о железную лапу якоря и начинает с нее шкуру драть; а лицо все то же, закаменелое, как тогда на заводе во время сказок, только огромные брови пошевеливаются.

Да, это он, Суслик!

И страстно потянуло меня поговорить с ним. Поговорить о том, о чем я два десятка лет молчал да и всю жизнь, думал, молчать придется.

Так и тянет меня к старику, товарищу моей бродяжной юности.

Да и чем, думаю, я рискую? Почему мне не сказаться?

Если даже вздумает он кому-нибудь сказать, что мы зимогорили вместе, — кто ему поверит? Но эту глупую мысль я отогнал. Вспомнилось, что на другой день, как Репку отвезли, почти умирающего, в больницу, и Суслик оказался больным. Признаки болезни всегда найдутся: заявил, что колики замучили, и ложись.

Так с того часа до сего дня я не видал Суслика. И теперь только мелькнуло у меня, что они знали друг друга и раньше. Ведь в связи с болезнью Репки исчез в больницу и Суслик, который до того дня ни разу не жаловался на нездоровье.

Чем я рискую! Перепрыгиваю через перила сходней, чтобы не обходить целой горы хлама, подхожу и присаживаюсь на якорь, как раз против старика.

— Хлеб да соль!

— Хлеба кушать!

Жует хлеб, раздирает воблу — даже головы не поднял.

— Не узнаешь меня, Суслик?

— А?..

Даже вздрогнул весь. Правая бровь зашевелилась. Поднял голову, в глазах мелькнула молния испуга, но в тот же миг лицо стало маской.

— Все может быть. А я, васкобродь, вас прямо так

и не помню... А память хорошая. Раз взгляну — не забуду. Да мне что... Я ведь не боюсь.

Говорит не торопясь, глядит как-то в сторону, а я чувствую, что на меня глядит.

— И бояться нечего — ведь я не полицейский.

— Мне что! Одно диву подобно... Что был я Суслик, это верно, что и говорить. Да-авно это было... А Сусликом я был. Диву подобно.

И тоже опять глаза и лицо без всякого выражения — только бровь подергивается... Посмотрел мне прямо в глаза вопросительно.

— Диву подобно!

— Диво больше будет! Мне ведь тоже тебя бояться нечего... Было время, на одном полозу ездили. Значит, друг на друга зря болтать не станем.

— Коли так, — так так! А диво!

— Ну, Суслик, слушай! Твоих сказок да бывальщин я наслушался, теперь мои за это послушай.

— Гляжу вот и в толк не возьму... Память отшибло.

— Ну так слушай, и память вернется! В Ярославле через два года после холеры на белильном заводе Сорокина ты кубовщиком был?

В первый раз я увидал, что глаза у него засияли каким-то добрым блеском.

— У Сорокина? Ну как же! Был.

— Ну и я там был, вместе кубики резали.

— Вот, провалиться, не узнаю!

— Да и узнать трудно после опорков в этой шкуре.

— Чудесам подобно!

— А помнишь, кто больному Иванычу кубики помогал резать? Ты ведь от нас через два стола работал. А помнишь, когда на него с ножом бросился Сашка, кто спас старика?

Воззрился на меня Суслик.

— Чудесам подобно! Таперча узнал!

Он снял с колен картуз с хлебом и воблой, положил его на землю, встал и поклонился мне, согнув до половины свою широкую спину и касаясь правой рукой земли, и опять сел.

— Так, стало-ть, первым делом получи от Иваныча земной поклон по его завету. Уж как он тебя, умираючи,

поминая! И велел он мне, ежели когда тебя разыщу, передать тебе его грешное благословение и поклон до сырой земли. Много он говорил о тебе со мной. Говорил, что ты из ходовых ходовой и что ты неспроста на заводе околачивался. Вспоминал он, как ты Пашку вроде кутенка паршивого шваркнул.

— Сашку?

— Пашку, а не Сашку! Кому Сашка, а нам Пашка... Диву старик дался. Пашку вся каторга боялась, а ты, на-ко, как кутенка!

Заходила бровь у старика, глаза смеются.

— Вот теперь тебя узнал... Ухватка все та же. Я видел, как ты через перила сходни пересигнул... как зверь. Недаром старик о тебе говорил... Ну да уж...

Он сунул в рот кусок воблы и стал жевать.

— Что сказал он?

— Ну да что уж. Кажись, тебя Лексеем звали? В остроге он таких видывал. Из господских детей там двое были... Ученые... Супротив царя шли и народ бунтовать хотели... После Пашки разговор был.

— Там звали Алексеем, а тебя — Сусликом.

— Да я ведь к слову. Я ведь не пытаю, как теперь тебя кличут. Ведь что было — все сплыло... Вот и ты меня Сусликом спомянул — на том и стал. Кому надо, сам скажет. А молчит, так тому и быть, стало-ть так надо.

— Спрашивай, все-все по чистой правде отвечу, мне скрывать нечего теперь.

— И кто и что, и где и как — зовут, мол, зовуткой, а величают уткой. Одно тебя спрошу и дальше — во, запечатано. — И положил на губы четыре пальца. — Запечатано. Только одно спрошу... Я тебе тоже послужить готов, хошь мне и под семьдесят, а я еще по полсотни верст в сутки бегаю... Бери меня — не раскаешься.

— Не понимаю что-то...

— Да я только одно это слово и хотел спросить, а там запечатано... — И опять четыре пальца на губы.

— Спрашивай, что хошь.

— Ну, скажи прямо: атаманишь где?

— Забирай выше. Это мелко. Какие теперь атаманы? Где станицу наберешь?.. Да атаманов больше, после Репки, не будет.

— Ре-епки? — И обе брови заходили, и глаза засверкали.

— Ну да! Я уж после узнал, что Иваныч-то, твой друг, Репка и был.

— Чудесам подобно!

Он схватился обеими руками за волосы, закрыл глаза и замотал головой.

— Ну да. Когда я с завода ушел, встретил на пристани в Ярославле одного, с которым в холерный год в лямке до Рыбны шел, бурлачка, он и сказал мне по старой дружбе. Костыча сказал!

— И Федотку Костыча знаешь! Шабры мы с ним были... Из-под Банновки...

— Костыча... Улан... Петля... Балабурда, — начал я перечислять общих знакомых. После каждого имени он только свое все:

— Чудовина! Чудесам подобно... Ну теперь, кто ты ни на есть, — бери меня голыми руками. Я весь с потрохами твой!

— Ну вот что, Суслик, чем на солнышке печься, пойдем на пристань в казенку чай пить.

— Да меня не пустят!

— Со мной пойдем — вот и ключ от нее.

— Ладно, пойдем, куда хошь, — после Репки теперь ты мой атаман.

Старик завернул остатки воблы и хлеба в тряпицу, сунул за пазуху, вынул берестяную тавлинку, потянул за ременный хвостик, открыл крышку, смачно понюхал и снова закрыл.

— Чего же меня не потчуешь?

— Табачишко-то плох, подмочен!

Опять открыл табакерку, пригласительно хлопнул два раза и подсунул мне.

— Да, суховат малость и с гнильцой. Ну уж я тебя своим пугну.

Вынул мою неразлучную маленькую табакерку, тоже стукнул два раза по крышке, что на языке старых нюхальщиков означает: «подходи, кто хочет».

— Серебряная никак? Поди, целковых пять стоит, — любовался он на мою табакерку.

— Отцовский подарок.

— У меня тоже была, поболе этой, тоже серебряная, с Петром Великим на коне[1]. После проезжего барина на Казанском тракту мне пришлась.

Забрал большую щепоть, поднес к носу и остановился:

— Духовита-ай!

Торопливо зарядил за два приема обе ноздри. Открыл рот, что-то хотел сказать, да не успел — зверски чихнул.

Потом перевел дух:

— Вот так табак. Во... — и опять, остановившись на полслове, еще громче чихнул.

— Эк ты, дьявола, разорвало! — крикнул проходивший мимо крючник.

— Ну табачок, что надо! Ну-у!

Я понюхал сам и опять подношу ему.

Берет, нюхает, зло чихает.

— Прямо зверь, а не табак! Отродясь такого не нюхивал!

— Этот табак мне делает по моему заказу отставной пономарь церкви Троицы Листы в Москве.

— Стало-ть, ты в Москве бывывал?

— Живу в Москве.

— В самой Москве? Ну чудовина! — И глаза удивленные. — И... не трогают тебя?

— Нет, не трогают. Дай-ка твою тавлинку, я тебе своего сыпану.

Я выбросил его табак и высыпал ему свой.

— Да что ты? Себя обидел!

— У меня есть с собой запас табаку.

— Ну? Вот спасибо-то!

Открыл он свою тавлинку и меня потчует, хлопнув два раза. Потом сам зарядил — и расчихался.

— Ну и табачок — вырви глаз!

* * *

Захватил старик свою полупустую сумку и идет за мной по сходням на пристань.

— Тебя куда, дьяволище, черт несет! Пошел вон! —

---

[1] Лет через двадцать я осматривал коллекцию табакерок у известного московского купца Н. К. Голофтеева и, увидев серебряную табакерку с Петром на коне, вспомнил Суслика.

крикнул на него сторож, но я сказал ему, что это мой знакомый и чтобы он поскорей схлопотал нам чай. Дал ему рубль, велел купить фунта три калача и баранок.

Через четверть часа за столом сидели я и распоясавшийся, в одной рубахе, Суслик и пили чай из огромного медного чайника, прямо в котором и был заварен в трактире чай.

Я развязал корзинку с донскими гостинцами. Чего-чего тут не было! И пирожки с мясом и с яйцами, и с вареньем. Были домашние колбаски, ветчина, сало с розовой прорезью и три бутылки домашних старых на спирту наливок: вишневка, терновка и сливянка, густая, как сливки, то, что называется спотыкач: голова от нее свежая, а ноги спотыкаются. Мы молча, деловито пили чай, молча закусывали, только Суслик, со смаком долго пережевывая каждый кусок, то и дело повторял:

— Ну, Алексей Иваныч, и угостил! Отродясь такого не едывал!

Поели досыта. Закончив чаепитие, Суслик повернул вверх дном стакан на блюдечке и положил на дно огрызочек сахара. А я опять стакан перевернул:

— Погоди, у нас еще на верхосытку кое-что есть!

Откупорил сливянку и налил себе и ему, а на закуску положил сдобные пирожки с вишнями.

— Не пью ведь я его, винища-то.

— А ты попробуй, не заставляй меня одного пить!

— Ну, коли так, со свиданьицем!—Осторожно сделал глоток, покачал головой.—Ну и чудовина!—Еще отпил. — Гожо, ой гожо... — Я налил еще по полстакана. Пили и разговоры разговаривали. Разоткровенничался старик и все еще принимал меня за атамана какой-нибудь шайки, переодетого «для делов» в форму.

Трудно мне было объяснять ему те вещи и положения, о которых он никакого понятия не имел.

Я рассказал ему всю мою жизнь, и все он потом понял, но одно непонятно было ему: зачем я от семьи, от хорошей жизни бедовать в бурлаки да на белильный завод пошел?

— Диви бы ты пьяница был либо запутался в чем-нибудь, то кинул отца с матерью, ученье и житье барское...

Объяснил я ему о хождении в народ, объяснил, наконец, что я писатель, а чтобы писать, надо нужду народную узнать — вот для чего я бросил семью и стал писателем, и что описал уже жизнь бурлацкую и нашу работу на белильном заводе, что это прочитают, обратят внимание. Он согласился, что надо всю правду писать...

— Так вот покойный Репка тогда еще тебя раскумекал, что неспроста ты на заводе... и я согласился с ним, только по-своему, я прямо подумал, что ты станицу собираешься составить и подходящий народ подыскиваешь. Так вот и сейчас думал, что ты атаманишь... А вот Репка-то говорил, что в старину такие люди, как ты, бывывали... Давно это было, еще до воли—при Николае Павловиче, рассказывал он мне уж в больнице, когда тебя и Пашку вспоминали. В скиту он жил, и жена его там была, а потом приехали полиция и войска забирать их, а они заперлись в сборной избе и все сами себя сожгли. И жена Репкина сгорела... Это еще до меня было, я уж после с ним познался... Самого его не было в те поры в скиту, а когда он пришел, на него солдатня навалилась — много он их пошвырял, а все-таки осилили и отправили в Сибирь в каторжный острог. Ну вот, рассказывал он, что там был такой писатель, который за народ стоял и супротив царя за правду стоял. Уж крепко они подружились, и Репка его звал бежать, но тот был человек слабый — отказался. И был там один жиган, три раза обратник, из себя зверь, вроде Пашки, он этого писателя все травил за что-то, а Репка за него заступался, жигана изувечил и сам потом убежал. «Так вот и Алеша за меня заступился... Он неспроста на заводе», — говорил атаман. Вот тогда я понял, что такое писатель, а потом забыл, да вот ты напомнил.

Бутылку мы усидели всю, а он все говорит:

— Ты, значит, про завод всю правду описал в книгах?

— Всю. Только не назвал города и фамилии хозяина — этого начальство не позволило бы.

— Так. Значит, писатели-то, как и мы, сказыри... Рассказываем сказки да бывальщины, а имя-то настоящее переменим, ежели про живого говорим либо про какого-нибудь важного... В некотором, мол, царстве, да в некотором государстве жил-был... А имени-то не скажешь. И без имени овца — баран! А кому надо — догадается. Вот, ежели помнишь, я на заводе рассказывал, как атаман Дятел на нашу бурлацкую ватагу напал и как Репка в честном бою один на один этого Дятла зашиб насмерть и мы, бурлаки, у разбойной станицы Дятловой всю их добычу отобрали? Для тебя и для других заводских все это сказка была, а для нас с Репкой — бывальщина. Ну вот я тебе говорю: разве можно правду говорить, ежели бы знали, что сам Репка про себя слушает, что Иваныч-то он и есть!

— Ну вот, друг ты мой, и я той же дорожкой иду. Ну как в моем положении в Москве, примерно, где с разными богатыми и знатными мне возжаться приходится, как мне рассказать по правде о том, что я бурлачил, крючничал, зимогорил, — да мало что было! Ведь мне бы одни не поверили, а другие просто-напросто знаться со мной за позор сочли.

— Праведно... Значит, помалкивай.

И опять четыре пальца на губы...

К этому разговору мы снова вернулись за трое суток, которые нежданно-негаданно мне пришлось провести с ним...

Слушал я его, слушал, да и самому захотелось поговорить. Прочел я ему свою поэму «Степан Разин». Каких уж я похвал от него наслышался, — говорить не приходится, а после своей поэмы я прочел ему «Утес» А. А. Навроцкого.

Есть на Волге утес, диким мохом оброс
От вершины до самого края...

Как вскипел старик — глаза засверкали.

— Эту песню я слышал. Года три назад на пароходе, на корме сидели пятеро. Они сели в Самаре. Пели эту песню... Говорили, что студенты они... Потом явились капитан пароходный, жандармский полковник, и их разогнали, петь эту песню запретили... Уж как мне хотелось добиться эту песню...

— Изволь, я тебе прочитаю всю.

Особое впечатление произвели последние строки:

...Если есть на Руси хоть один,
Кто с корыстью людскою не знался,
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорогую, любил
И во имя ее подвизался,—
Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет,
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

Слезы на глазах старика, выражение восторженное. Маска слетела прочь.

— Знаешь, Владимир Алексеевич (я ему открыл свое настоящее имя), ведь я сам оттуда, бывал на этом утесе, по-нашему Разин бугор, и сейчас туда еду... Ведь я сам из-под Нижней Банновки родом, а мать моя родом из Данилихи, что у самого бугра...

— Суслик... Уж извини, я тебя так по-старому зову...

— Так и зови.

— Знаешь что, свези меня на Разин бугор. Издали с Волги я его видал, а хотелось бы на нем побывать. Поедем вместе, билет я тебе возьму.

— Ладно, сведу. Тебе надо побывать, ты еще лучше напишешь что... Трудно туда забраться, и никто там не бывал, кроме тех, которые клады ищут... А мужики наши в жисть туда не пойдут. Там, говорят, сам Степан на цепи в пещере прикован.

В это время отворилась дверь, и ввалились два пассажира из местного купечества.

* * *

Я и Суслик в час дня выехали на «Самолете» до Нижней Банновки. Пароход пришел в Нижнюю Банновку в шестом часу утра. Я нанял лодку отвезти нас под бугор и к вечернему пароходу обратно в Банновку.

Не раз мне приходилось пробегать этот плес, и каждый раз с парохода смотрел я на этот знаменитый утес. Но по наружному виду он впечатления не производил— скала и скала отвесная среди целого ряда подобных

утесов сажен около ста вышиной, прорезанных глубокими оврагами. Утес Степана Разина голее и отвеснее остальных. А над всеми ними рядом с утесом поднимается Дурман-Гора.

Не напиши А. А. Навроцкий своего стихотворения, не пой его студенчество, может быть, и не говорили бы о нем. Уж очень много более красивых и ярких мест в этой реке легенд, Волге-матушке.

— Приткнись туточка, — ткнул пальцем Суслик к поросшему лесом оврагу рядом с голой стремниной Разина бугра. — Есть еще там ход через Данилиху, ну да ладно, ихней дорогой я проведу тебя. А вы, ребятки, доставайте казанок да кашу варите, а мы к закату смотаемся.

Это были единственные слова Суслика за всю дорогу гребцам. Да и со мной он ничего не говорил. Гребцы тоже молчали. Значит, люди бывалые — рот запечатан.

Суслик — яркий представитель бывалых людей. Все у него по старинному правилу: во время еды молчит, дорогой молчит. И я, зная эти правила, подчинялся им.

«Нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи».

Оставив багаж в лодке, мы взяли с собой только донскую корзинку, уже значительно облегченную, и зашагали по берегу Волги, постепенно поднимаясь по узкому известковому карнизу, где и следа тропинки нет. Из-под ног сыплется выветрившаяся порода, полная окаменелостей. Чего-чего тут нет! И «чертовы пальцы», и раковины, и куски окаменелой хвощи, и дерево, нередко самых причудливых форм. Я никогда и нигде не видал ничего подобного. Вот где можно составить сотни коллекций! Я иногда наклонялся и поднимал что-нибудь уж очень интересное и обращался к Суслику, шмыгавшему молча впереди меня в своих удобных для такой дороги лаптях, чего я не мог бы сказать о моих сапогах с каблуками.

— Суслик, нет, ты погляди какая!

— Ну ее, кинь. То ли там есть еще.

Идем. Вот уже рядом Разин бугор — ан овраг на пути, отвесные скалы, а внизу их кусты и деревья скрывают дно пропасти. По отвесу кое-где висят отдельные дубы — корни их в каменных трещинах, а сами на весу.

А там, глубоко под нами, по дну журчит, сбегает ручеек в Волгу. Кругом наверху все голо. Из стены каменной ключики-роднички живыми хрусталиками сбегают в ручеек... Они то там, то тут, то над нами, то под нами... А солнце палит, и где возможно, рискуя загреметь в пропасть, вися над стремниной, подставляешь шапку под струйку и набираешь холодной водицы... Ни следа, ни признака тропинки. А над нами Дурман-Гора.

— Сюда вали.

Суслик тычет пальцем в густой кустарник, скрывающий бегущее вниз подобие тропинки нехоженой, на которой и признака человеческих следов нет. Она, иногда круто, иногда полого, спускается вниз карнизом по стремнине среди мелкого кустарника, таящего свои корни в расселинах. Из-под ног сыплется... То вдруг пропадет она — приходится держаться за утлые кустики, то снова вынырнет перед глазами, усеянная мелкими осколками... Иногда куча этого мелкого щебня, как живая, ползет из-под ног и тебя тащит. Того гляди, и сам сползешь в преисподнюю. А Суслик молчит, сопит и шмыгает легко и под ноги не глядит.

Вот и переход через пропасть по естественному мосту: будто ломоть хлеба, поставленный в чашке стоймя, упираясь концами в края, перерезает широкий овраг узкий гребень гладкокаменный на пятидесятисаженной высоте со дна оврага и поросший на другой стороне и на хребте кустарником и серой полынью. Местами он не более аршина ширины — и пропасть с обеих сторон. Из-под лаптей Суслика тарахтит и сыплется щебенка, а под моими сапогами она визжит и еще больше летит вниз. Того и гляди, загремишь, и ухватиться не за что. Перевалили овраг. Ползем почти по отвесу на голую скалу утеса, сплошь покрытую полынью. Перед нами глубина оврага, стены голые кругом, и нам, кроме полосы неба над головой, ничего не видно. Выворачиваем за острый угол скалы — справа сверкнула Волга, сияет даль неоглядная в полуденном солнце, а над нами висят дубки, старые дубки, но корявые, коренастые, и верхушки их со стороны степного заволжья ветрами обиты, отвернулись и склонились в одну сторону и к горе глядят. Мы повернули влево, стали огибать утес, на котором дубки растут,

и дорога к ним была ровная и легкая. Я после остановки у ключика, спадавшего из скалы каскадиком, из которого мы оба напились, шагнул было вперед Суслика по полынку прямо к дубкам.

— Ликсеич, не туды!

Указал рукой в другую сторону, на откос и сам начал сползать вниз опять по кустарнику.

Я хотел спросить его — разве эти дубки не на вершине горы, — но смолчал: старик не любил пустых разговоров. Через несколько шагов я убедился, что спрашивать не стоило: дубки оказались на отдельном кургане, и перед нами открылась за новым оврагом Высокая гора, на которую мы лезли полчаса.

С каждым шагом вверх горизонт расширялся кругом. Только с одной стороны был загорожен единственной вершиной Дурман-Горы.

Вот еще купа дубков, и, наконец, Суслик поставил корзинку на землю и, садясь в тень от дуба, широко махнул рукой.

— Гляди, вот мы и дома!

Я стою сам не свой.

Почти из-под ног сорвался огромный беркут и закружил в высоте.

«Один в вышине стою я у края стремнины...» — выплыли передо мной слова поэта, хотя я еще не отдышался.

— Седай, Ликсеич, давай пополуднуем! Ужо поглядишь.

Мы на утесе Степана Разина, и действительно:

На вершине его не растет ничего,
Там лишь ветер свободный гуляет...

Отсюда он понятен. Снизу, с парохода, он не производит впечатления.

Когда я поднимался на него, видел, кроме кусочков дали горизонта, только камни под ногами и кругом камень голый. И думалось мне: «Чего такой атаман здесь нашел? Да хуже места и не придумаешь! Мало ли их по Волге притонов? И Костычи с пещерами, и Столбичи с обрывами, и дикие, лесные Жигули... А то, на-ко, один плешивый камень да полынь-трава горькая!»

И вот только поднявшись сюда, понял я, что лучшего разбойного притона для атамана волжского не придумаешь.

Да, там был притон! Там он жил, никакой силе недоступный, со своей огромной ватагой, в лесах диких, о которых теперь только преданья остались.

Струга его разбойные внизу, в зарослях оврагов скрывались.

С утеса видна даль реки.

А ведь не легкое дело огромной ватаге спуститься по стремнинам по той самой дороге, известной теперь только Суслику! Нелегко перетащить струга из тайников на воду... Время и время на это нужно!

И здесь, на каменной площадке, где мы теперь, стоят, бывало, дозоры. Один глядит вдаль, на Волгу, на широкий горизонт, а другой — кверху, на Дурман-Гору, где тоже дозоры стоят.

Вот на этой самой лысине мы теперь с Сусликом выше всякого живого существа, кроме разве беркутов, что кругами выплывают из тумана и кружат над нами. В те времена там, где мы теперь после головоломной прогулки по неведомым никому стремнинам опустошаем корзину с донскими лакомствами, стоял главный атаманов дозор, которому во все стороны даль беспредельная открыта.

Идут караваны по нескольку судов — поодиночке тогда боялись ходить. И видны эти караваны отсюда за много верст. Есть время спуститься и струга приготовить к спуску на воду. И кроме дали, видна отсюда между отвесом утеса и водой реки узкая твердая полоса берега, сама дорога бурлацкая... Гладкая, всегда сухая, каменная...

И представляется картина.

Идут караваны под утесом... Бурлаки песню плачут... А сверху утеса громовой окрик:

— Сар-рынь на кичку!

А струга уже на воду спущены — атаманова слова ждут.

И видят бурлаки на самом верху отвеса грозную фигуру в красном.

— Сар-рынь на кичку! — гремит с утеса.

И падают сотни бурлаков лицом на песок.

А десятки легких стругов летят на громоздкие расшивы, и несут по горным тропинкам, где мы только прошли, добычу богатую удалы добры молодцы к ногам атамана.

— На золотом кресле сидел на этом самом месте Степан Тимофеич. И много золота-серебра зарыл он и заклял в этих местах, — рассказывает мне Суслик. — Вот гляди, гляди: все расковыряно, все ямы... ямы... Еще когда я мальчиком сюда бегал, так уже ямы были... Все поклажу атаманову искали. Сколько народу с ума посходило, и никто никогда ни копья не нашел! Потому заклятие...

— Почему ни копья? — спросил я.

— Ни копейки значит... Бывали в старину серебряные монетинки, махонькие, вроде рыбьей чешуйки, а на них Егорий на коне, а в руках его копье. Потом уже медные копейки пошли и тоже Егорий с копьем... Ну вот, значит, ни копья нет — значит, ни копейки. Понял?

Понюхали табачку, и дальше он речь повел:

— Сказывают, что сам атаман их бережет, что он смерти лишен и осужден век-веченский, сколько ему положено, мучиться здесь в подземной каменной пещере, со своими золотыми. И нечистая сила в полночь выводит его сюда, обедом кормит — щи ему из горячей смолы варят, и пироги каменные грызет он... Вот я давеча тебя окликнул, когда ты камень поднял... А почему? Да потому, что ты поднял каменный пирог, наполовину откушенный... Может, тот самый...

— Суслик, ты умный... Неужели ты веришь этому?

— Допреж не верил, а стал постарше — всему верю! И разум одно говорит, а ум-то другое... под старость разум-то уму на смену приходит. Разумом-то как пораскинешь — ну как можно человеку тысячу лет жить и мучиться, смолу хлебать да каменные пироги жевать? И что человек этот за грехи свои кровавые живет века в подземной пещере и когда-нибудь во всей силе встанет... И что встанет он тогда, когда весь народ такой же грешный будет, как он, и поведет он опять народ за собой... Вот, пожалуй, как не поверить, что он встанет... Мало ли чудес на свете... Вот, верю, что он встанет!

Сколько переговорено было за этот день на грозном каменном утесе, носящем имя грозного атамана!

Рассказывал он мне свою жизнь, и я ему много из своей. Прочел я ему еще отрывки из своей поэмы «Степан Разин», чем окончательно поразил его.

— Чудовина! Премудрость! Слушаю я тебя, и будто сказку сказываешь отроду неслыханную! Сказка, да и все тут! А ведь на деле-то выходит бывальщина... Расскажи мне кто другой про себя это, — в жисть не поверил бы... Ежели я сам расскажу про тебя, как встретил таперича, как ты из зимогоров, да еще из каких, в такие люди прызошел, — скажут: сказку сказываешь, этого не могить быть! Можно сказку сплести, как зимогор в цари вышел, — и найдутся, поверят которые. А которые и бывальщине не поверят. Я с измальства сказок наслушался да бывальщин. Да было от кого и послушать! Ведь мы, банновцы, коренные, здешние. Наши деды-прадеды этого бугра не минули. Оттого у нас и доселе, видел на пристани, народ-то какой — богатыри на подбор, урвать да уехать! Хлеба сеют мало, для себя только, а Волгой-матушкой кормятся... Так и лепится к ней полсела, в Волгу вдвинуто...

Эх, матушка Волга,
Широка и долга, —

замурлыкал старик.

Встряхнувшись, он продолжал. — Мой дед, матерin отец, есаулом у Пугача был... Ой да и богатырь! До самой смерти избы не знал, только обедать и ужинать приходил, а спал всегда на дворе, и зимой. Язык у него вырезали... А где и кто вырезал, мы не знали. Пришел он, после того как Пугача на Москве казнили, домой, так и жил молча, рыбачил, а по зимам лапти да корзины плел... Отец в лямке ходил сызмала — на приокшане от холеры помер. Дядя один без вести пропал, тоже бурлачил, а другой, отцов брат, годов десять пропадал. Весь в него был, а отец в деда, а дядя повыше отца. Раз вернулся он домой клейменый и ноздри рваные. В баню я с ним еще мальчиком хаживал... Как слезет с полка, — глядеть страшно, как тигра полосатая, живого места на спине нет после сибирских плетей каторжных. Ноздри рваные, а табак нюхал.

Вспомнил про табачок Суслик, рванул тавлинку и мне поднес.

— И я от него занялся нюхать еще мальчиком. От него сказки и бывальщины перенял. Впрочем, он редко сказки, больше бывальщины рассказывал да про свои дела, про жизнь острожную, про побеги там... Бывало, всю ночь его слушаем. А сказки я от бабки. Та больше про богатырей, про нечистую силу, про царство подводное, где во дворцах у водяного царя живые люди живут, которые на кораблях утонули. Про Змея-Горыныча... Уж вот как ладно у нее все выходило... И сказывает и поет сама... Про Ягу-бабу и что с Иван-царевичем в ступе на Лысу гору летала — она сама помелом облака разгоняет, а он на гуслях играет... А бабка и говорит и поет, а на губах трень-трень, как на гуслях... Слушаешь, закроешь глаза — и все как живое видишь. Про змия огненного, который к колдунье по ночам в трубу летал и со всего света вести ей собирал для колдовства, рассказывала... Помнишь, Ликсеич, я на заводе все их рассказывал.

Остановился старик, глядя на меня.

* * *

Понюхал он табачку, меня угостил и спрашивает:

— Ликсеич! Скажи ты, напожалуста, как по-твоему? Откуда сказки родились, вот вроде Иванушко-дурачка и ковра-самолета? Ведь их не придумаешь... Так смекаю, что в старину старинную все это было, а потом у кого-нибудь — уж у внуков-правнуков — отрыгнулось? — А, ну-ка...

Не успел я ему слова ответить, как с поднявшейся левой бровью и сверкнувшими глазами ухватил меня за руку и шепнул:

— Слышишь?

— Что? Ничего не слышу...

— Нет, ты послухай... Быдто кипит... Слухай сюда.

Я приложил ухо и слышу, что под землей булькает и журчит, о чем сказал старику.

— Тот-то вот и оно-то. Смола кипит. Пойдем-ка на другое место... А ты говоришь...

Скажет слово и губами пожует. Должно быть, слово подыскивает.

— Это вот среди бела дня... А ночью... Годов тридцать, а то и поболе, может сорок, мы с одним бурлачком, тоже дурак, явились сюда клада искать. Ну рыли, рыли — целый день промучились и заночевали... Так насилу до утра дожили — и бежать. Вот гудело под нами!.. А потом треск — будто камень кто-то грызет... Пирог-то каменный ты нашел? А то кости вот каменные валяются... Вот видишь, ведь прямо-таки мосол перегрызанный — ан он каменный. Вот я тогда и поверил. Может, Степан-то его грыз...

Я не хотел его опровергать и читать лекцию об окаменелостях и подземных ручьях, а для перебоя разговора прочел к его великой радости опять «Утес» Навроцкого. Когда я закончил словами:

И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет...

— Это правда, — сказал Суслик. — Может, он и говорит что, да не всякому дано понимать... Аль еще время ему не пришло... Такой человек не народился. Ведь все сюда приходили только с корыстью — клады искать... Ишь расковыряли... Вот ты, Ликсеич, пришел сюда... Так пришел, из любопытства, потому что вон как про него песню написал. Тебе это и надо... Другого бы я ни за какие деньги не повел сюда... Ну скажи еще, как его казнили-то...

Я читал ему стихи. Потом перевел разговор на его прошлое, и опять он начал речь о сказках и бывальщинах, как они родились.

— Ты думаешь, я так везде все одно и то же сказываю?.. Как выйдет. В другорядь приплетешь к сказке и чего нового... И бывальщины тоже. У бурлаков одно сказываешь, у мужиков другое, а у раскольников свое надо говорить. Они охочи слушать, только не все, сказок не любят, да и бывальщину им надо про скиты да про то, как бедному человеку от начальства страдать приходится... Еще про острожное житье каторжное любят... А видел-то я, старый бурлак, много чего... И Волгу от

низов до Рыбны раз десяток смерял и в острогах сиживал — прямо тебе, Ликсеич, говорю, только тебе, и у раскольников не раз зимовал... И на Черемтане, и на Иргизе, и в вологодских лесах бывал у поморлы благочестивых, что чашкой-ложкой отпихиваются от мирского греха... А зато как нашему брату вольно и отдохновенно у них! Сами они от начальства скрываются и нашу нужду потому понимают. Вольно у них! Придешь — не спросят, кто ты да откуда, — садись да обедай! Только табаќу не кури в скиту, а нюхать так норови, чтобы не видали. Под носом чисто держи, а то заметят — беда! А тихо да мирно — живи да спасайся на покое да весны дожидайся! Ведь знают они, что только перезимовать пришел вольный человек, а весной утечет за первой водой по ручьям да по речке вилять до Волги-матушки, навстречу птице, туда норовишь, откуда на свое гнездовье птица летит. Никто не спросит. Скажут отцы седые-бородатые в ответ на поклон: «Иди в сборную! Живи. Там ваших, что от начальства-антихриста спасаются, не мало...» И никто тебе в душу не заглянет. Понимают они по себе, что правду сказать тебе не гоже, а тутошние люди все по правде живут и других вопросом неладным в грех не вводят. И на что им чужую душу ворошить, в чужой колодец заглядывать? Ведь все равно ничегошеньки в темноте глубокой не увидишь, а ежели солнышко осветит глубь водицы сверху, то еще как выйдешь!

* * *

Придешь в сборную — на отлете, в самом лесу изба большая для нашего брата постановлена — как домой в нее идешь. А там уж свои люди знакомые, свои ребята, кто с борку, кто с сосенки. И живешь зиму-зимскую долгую, студеную, никто с нас ровнехонько ничего не спрашивает, отпускают хлеб и приварок невпроед, а кашевар из своих. Охотой своей идем мы в лес — работаем, дрова рубим, либо стройку какую, что покажут. День работаем, а ночи наши. Так и спасаемся до вешней воды. В ночи бессонные, когда лучина в светце погаснет, самые тут бывальщины и польются! Народ все такой, что каждому есть что порассказать. И кто что ви-

дел и кто что слышал, цел ли такой-то, сгорел ли такой-то, вернулся ли этот из-за бугров. С бывальщины на сказку, со сказки на бывальщину...

* * *

А то раз зимовал сторожем в женском скиту, где кружевницы и вышивальщицы жили... И все присматривался, как они на своих подушках с кружевами мастерили. Где нитки, где дырки, а выходит то, что век не забуду: то это на кружеве избушка, около нее елочка, и дымок из трубы курится... А то келейка, на келейке, на князьке петушок... Гляжу через ее плечо в окошко, а напротив стоит точь-в-точь такая келейка и петушок живой на князьке... То монашек в лодке плывет. А ежели это кружево положить на синюю нанку, так по морю синему он плывет... А ведь этот петушок да монашек в душе у той кружевницы жили! Вот она свою душу для других и выложила.

Так и бывальщина вроде петушка на кровле, а сказка — монашек в лодке...

Так и сказки и бывальщины! Льются-вьются они в ночи темно-бессонные и ложатся в памяти у тех, кто их слушает. Да не всякому дано кружево плести! Другая так сплетет, что заместо петушка-то Змей-Горыныч, чудище объявится, а вместо монашка в лодке не то кит-рыба, не то еще что страшнее. И выйдет тогда сказка из бывальщины! А который знаемый, в ней бывальщину увидит... Ведь видели же кружевницы петуха на кровле? Живой кукарекал, на солнышке крылышком хлопал! А у другой он чудовищем выходит!

Так-то из бывальщины сказки родятся. А другой от себя чудовинное приплетет, что в голову взбредет.

* * *

Ходили и лазили мы на вершине утеса, показывал мне Суслик и ту яму, которую сам копал за кладом.

— Во, гляди, я ее махонькую оставил, а на место ее какая прорва — другие старались! А эта прорва уже дубком заросла...

Свежих ям не было — все позаросшие... А их много, много... Останавливались, опять сидели, и опять все

о Стеньке Разине легенды он рассказывал... Теперь их повторять нечего — почти все они напечатаны в разных путеводителях и поездках по Волге, только не совсем так, как это у Суслика выходило, — всякий свое кружево плел. Никаких сказок он не рассказывал, только что о Разине да о разбойнике Рукше, который еще до Разина был и на этом самом утесе держал свой стан разбойный. О Рукше я помнил его длинный сказ еще на белильном заводе — это смесь Разина и Ермака. Рукша и в Персии был, и царицу персидскую увез, и ушел со своей ватагой Китай завоевывать. И во всех сказках о Разине говорилось только одно, что он живет то в том, то в другом подземелье, где нечистая сила терзает его, и когда он отмучится, грехи свои перестрадает, то опять встанет прежним и народ на царей и на бар поведет и уж на этот раз изведет всю неправду.

— А все-таки, что ни толкуй, а у нас его ждут... И дождемся, много греха пошло!

* * *

Вспоминали прошлую жизнь.

— Никого, думаю я, Суслик, из наших общих знакомых не осталось?

— Не говори... Балабурда жив, Пашка жив... Рука-то у него с тех пор отсохла... Все на тебя серчает, ежели, говорит, найду этого дьявола, я ему кишки выпущу и на локоть намотаю.

— Где ты его видел?

— Да у Балабурды годов семь назад я гнал плоты из-под Перми по Каме в Царицыно, как вот и теперь, да меж Осой и Оханской нас буря вдребезги разбила... Уж и буря была! Леса с кореньями выворачивала, избы поснесло в деревнях... Меня выкинуло на берег около деревни Беляевки замертво. Очухался я, гляжу — в избе лежу, а около меня сидят Балабурда и Пашка. Они меня подняли на берегу и перевезли на лодке в свой лесной хутор, верст десять от Беляевки... С год я у них валандался, да сбежал, смертоубийств много. Выезжали на лошадях, грабили и убивали по дорогам, потом заманивали беглых из Сибири — здесь им путь

был, обратникам, а кои с деньгами — убивали да с камнем в воду... Убежал я... Балабурда-то еще торговал в Беляевке, его за купца там почитали. Ну да вспоминать неохота... И то чуть сегодя не попался.

— Как сегодня?

— Да на пароходе признал было меня один из Оханска: «Торговец, говорит, ты в Беляевке, кажется, жил?» Насилу отшился. Притворился глухим, а потом все за грудой лежал рылом вниз, пока не слез в Банновке...

Это он мне рассказывал уж на обратном пути, когда мы спускались вниз к реке.

— Глянь, Ликсеич, вот камень-то, кой ты кинул, пирог как есть.

— Так, думаешь, его Стенька глодал?

— А ты не смейся. — И вдруг остановился, прислушивается, бровь поднялась. — Слышишь?

— Чего?

— А в горе кто-то стонет.

И наклонился ухом к скале. Я тоже.

— Ничего нет.

— Нет? Значит, мне поблазнило.

Я взял камень и сунул его в карман.

— Бросил бы ты его, Ликсеич, ни к чему. Глянь — чистый пирог и угрызен. Кинь.

Я незаметно поднял другой камень и швырнул его в пропасть.

— Так-то лучше.

И успокоился.

А камень я так и привез — пирог и угрызен. Вспоминаю...

Солнце было низко, когда мы подходили к нашей лодке. Издали был виден костер, а около него наши гребцы кашу варили. Мы присели в кустах и еще поговорили.

— Жаль мне расставаться с тобой.

— И мне жаль, Ликсеич!

— Мне бы хотелось твои сказки записать все.

— Их в месяц не запишешь, а я что же, я бы для тебя рад послужить.

— Так вот что, приезжай ко мне в Москву, погости у меня подольше, а то я тебе и местечко схлопочу. Приез-

жай как домой. Меня не будет ежели, все равно я дома распоряжусь. Ты только скажи, что Суслик, примут как моего друга. А я твои сказки напечатаю, и нам за них заплатят большие деньги. Навек обеспечен будешь...

— Ладно, коли так.

— Буду ждать. Вот тебе мой адрес, пиши, что, мол, приеду, а я тебе на дорогу тридцать рублей вышлю, на чье хошь имя, на какого-нибудь твоего знакомого, если на свое не захочешь. Да я, кстати, и не знаю твоего имени, да мне и не к чему. Суслик для меня дороже...

Мы сговорились. Я дал ему двадцать рублей — насилу уговорил, не берет, — и мы расстались у лодки.

— Ну, прощевай, Ликсеич... Я опять в гору пойду, в Данилиху.

Оказалось, Данилиха была почти рядом с вершиной утеса, но он проводил меня, во-первых, потому, что я бы дороги не нашел, а главное:

— Чтобы сумления не было. А ребята мало ли что подумать могут, привезли двоих, а назад один едет... Все можно подумать.

* * *

Шли года, а о Суслике ни слуху ни духу.

И вот теперь, через десятки лет я заканчиваю эти мои воспоминания о нем у себя в Картине́. Передо мной лежит тот самый «угрызенный пирог» Стеньки Разина. Надо мной шумит аэроплан — через нас путь воздушной почты с заграницей—и вспоминаю слова Суслика: «То, что было сказкой, — стало бывальщиной, что бывальщиной было, чего люди не помнят, — станет сказкой...»

Если бы Суслик видел аэроплан — этот ковер-самолет!

Если бы он слышал радио и антенну, от трубы к сухой березе протянутую, а ночью в приемнике огоньки мелькают?..

А Репка, Балабурда, Пашка, сам Суслик, бурлаки, шагавшие тысячи верст в лямке и усеявшие своими костями прибрежные пески Волги-матушки, — эта моя пережитая бывальщина сказкой кажется.

ПО СЛЕДАМ ГОГОЛЯ

От отца, свято чтившего книги Гоголя, с раннего детства проникся я любовью и уважением к этому писателю, а прочитавши «Тараса Бульбу», а позднее и другие его произведения, на всю жизнь остался верным почитателем каждой его художественной строки.

Родство с запорожским казачеством, неостывающая любовь к степям и просторам питали это чувство, и я постоянно тянулся к Гоголю, к его книгам и ко всему, что было связано с его родными местами.

Понятен мой восторг, когда в конце 1898 года я смог поехать на Украину, чтобы повидать гоголевское окружение, а может быть, и современников, знавших его лично.

По делам коннозаводства, которым я издавна увлекался, в январе 1899 года я приехал на Дубровский конный завод близ Миргорода и остановился у заведующего Ф. И. Измайлова, который, узнав о моих увлечениях Гоголем, предложил мне поехать в Миргород и Сорочинцы, дал лошадей и посоветовал, к кому там обратиться за интересующими меня сведениями.

Лошади были готовы, и чудная дубровская тройка быстро, несмотря на занесенную снегом дорогу, домчала меня до Миргорода, до того самого Миргорода, где целиком, с натуры были списаны действующие лица «Ревизора».

При въезде почти во всякий русский уездный город обыкновенно наткнешься на острог. Миргород являлся исключением: это мир-город, где даже острога не существовало, а в предполагавшемся для острога здании едва ли не помещалась школа.

Но впечатление при въезде в город все-таки неприятное: слева от дороги — кладбище, а справа — казенная торговля водкой (монополия).

Пей — и умирай!

Зато далее глаз отдыхал на роскошных зданиях Гоголевского училища, расположенного в молодом саду.

— Гоголевское! — с гордостью говорили миргородцы и сорочинцы. Здесь Гоголем гордились и все бы, кажется, готовы назвать гоголевским.

— Наш Гоголь! — говорили здесь.

Только разве некоторые потомки героев «Мертвых душ» как-то неохотно вспоминали о великом писателе: так метко были описаны их деды и отцы.

Въехав в город, я направился в уездную земскую управу, к председателю С. И. Смагину, с которым еще давно познакомился у Ан. П. Чехова и не раз встречался в Москве. В управе я встретился с местным судебным следователем, старожилом Миргорода, М. В. Домбровским, и тотчас же разговорились о Гоголе. Между прочим, М. В. Домбровский показал мне только что полученное им объявление об издании «Истории русской словесности», составленной П. Н. Полевым, и обратил внимание на прекрасно исполненный рисунок с подписью: «Дом, где родился Гоголь, в сельце Васильевке».

— Прекрасный рисунок, и дом очень похож, — сказал М. В. Домбровский, — только одно неверно, а именно: Гоголь в этом доме только жил, а родился он в Сорочинцах, в доме Трахимовского; домик этот цел и теперь и принадлежит становому приставу Ересько. Да не хотите ли проехаться в Сорочинцы? У меня, кстати, там есть дело; а вас познакомлю кой с кем из современников Гоголя. Итак, через час я к вашим услугам, а пока посмотрите Гоголевское училище.

С. И. Смагин провел меня в училище, директор которого С. И. Масленников показал классы, мастерские и музей.

М. В. Домбровский был аккуратен, и через два часа, сделав 24 версты по пустынной снежной степи, мы были в Сорочинцах и остановились перед хорошеньким одноэтажным домом, принадлежавшим О. З. Королевой, современнице Гоголя.

Поднявшись на резное крыльцо с колоннами и пройдя сени, мы вошли в прихожую, где босая дивчина помогла нам раздеться, и затем очутились в большом светлом зале — установленной цветами и украшенной картинами гостиной.

Нас встретила невысокая старушка в чепце и темном платье. Это и была Ольга Захаровна, небольшого роста, еще очень бодрая, несмотря на свои 75 лет, типичная украинка с добрыми серыми глазами.

Как родного приняла она моего спутника, друга ее покойного мужа, и ласково заговорила со мной, узнав о цели поездки.

Едва мы сели на диван, как в соседней комнате зазвенела посуда, и мы по предложению хозяйки встали и очутились в столовой, за накрытым столом, уставленным всевозможными наливками.

— Это что! — глубоко вздохнула хозяйка. — Разве теперь у нас в Малороссии живут? Да разве так было прежде? А вы удивляетесь на наливки? Чего-чего, бывало, на стол-то не наставят! Да и водки-то какие были, все перегонные: и на анисе, и на тмине, и на мяте, и на зверобое, и зорные от семидесяти болезней, и на ягодах, и на фруктах, и на цветах разных. Да и пили-то разве так? Пили и никаких катаров не знали!

— А вы, Ольга Захаровна, хорошо помните Гоголя? — спросил я.

— Эге ж! Часто и я у них в Яновщине бывала, и он к нам с матушкой своей и сестрицами в гости ездил. Моложавая была Марья Ивановна, матушка его! Бывало, принарядится — так моложе дочерей своих выглядывает. Она пережила своего сына знаменитого. Да, Николай Васильевич большую память о себе оставил, большую! А кто тогда думал! Смирный, тихий был. Сядет за стол, бывало, опустит голову, слушает, что говорят, да изредка нет-нет да и взглянет. А если кому что скажет—

как ножом обрежет! Вот с парубками да с дивчатами — другой совсем: веселый, песни поет.

Ольга Захаровна оживилась и, по-видимому, с удовольствием вспоминала далекое былое.

— Бабушка у меня была, — продолжала она,—Софья Матвеевна Аксюкова. Та хорошо по-украински говорила, а Николай-то Васильевич хуже говорил, так он к ней часто ездил поговорить. Кроме того, бабушка знала множество рассказов и преданий из старины, из гетманщины, и сколько она рассказывала Гоголю! Подолгу беседовали, бывало, они. Все это я помню, хорошо помню: молода была тогда и всем интересовалась. Боялись его многие! Ужинать с ним боялись. Вот какой случай был. Собрались раз у одного помещика гости. Приехал сосед, помещик. Этот сосед, большой гастроном, любил больше всего голову коропа-рыбы. Никому, бывало, ее не уступит. Сказал хозяин гостю, что у него за ужином будет короп. Гость весь вечер только и думает, скоро ли ужин, скоро ли коропа подадут! Сели все за стол — вдруг дверь отворяется, и входит Николай Васильевич. Уж он тогда многое написал, все его знали у нас. Пришел, а некоторым ужин не в ужин! Мне уже много после сам гость рассказывал так:

«Вошел, поздоровался, да и сел, да на грех рядом со мной. Пошевелиться боюсь — вдруг опишет! Кусок в рот не идет. Подают коропа: жирный, зарумянился, головастый. А я дотронуться боюсь, как на иголках сижу. Так ведь и не ел я, и голова осталась. Дождался конца ужина, да и бежать. Приезжаю домой и спрашиваю у жены ужинать, а та удивляется, как это из гостей да голодный приехал. Ну, и объяснил я ей, что Гоголя испугался». Вот какой был Николай Васильевич.

— А где родился Гоголь? — спрашиваю я.

— Здесь, в Сорочинцах, в доме Трахимовского, близ Преображенской церкви. Там его и окрестили. А Трахимовский был знаменитый на всю округу доктор, к нему много даже из других губерний больных съезжалось. При доме был у него флигелек для приезжих больных, где они останавливались. Вот в этом-то самом флигеле в две комнаты я много раз бывала, и Марья Ивановна остановилась да тут и разрешилась благополучно сын-

ком. В этой же церкви его и крестили. Это мне и сама Марья Ивановна рассказывала, да и все знают.

— Не помните, не говорили вам, какого числа он родился?

— Нет, не упомню.

— Это мы справимся в церковном архиве, если его здесь крестили, — сказал М. В. Домбровский.

И мы решили отсюда отправиться в церковь, но снова заговорились.

— Скажите, Ольга Захаровна, любили здесь Гоголя, после того как его произведения появились в печати?

— Далеко не все. Кто попал к нему под перо, те не любили, вот как не любили! Особенно миргородские чиновники ненавидели: ведь весь «Ревизор» с них списан.

— А вы помните тех лиц, с кого он писал?

— Двоих лично знала: городничий списан с миргородского городничего Носенка, а почтмейстер — с почтмейстера Мамчича. Умерли оба. Смешной этот Носенко был: худой, длинный, чудак такой. А Мамчич — стариком уж я его помню — бритый, седой, на клиросе пел. Все тогда себя узнали: портреты верные были.

— А какой самый лучший портрет Гоголя?

— Изменчивый он был лицом, и все портреты похожи. А самый лучший, самый похожий все-таки в Яновщине, у Н. В. Быкова. Вы помните, — обратилась хозяйка к Домбровскому, — в гостиной висел, в черном, с золотой цепью на шее? Да, это — лучший портрет, все говорят. Он работы Моллера, и снимков с него нет, ни одного напечатано не было. Там, рядом с портретом, есть еще гравюра с Рафаэля «Преображение господне», подаренная Гоголю в Риме профессором Иорданом. Интересна судьба этой гравюры. В Яновщине никто не знал о ее существовании. Она валялась в хламе, на чердаке. Вдруг пришло письмо из Москвы, кажется, от покойного П. М. Третьякова — наверно не помню, с просьбой продать эту гравюру, а о ней никто и не знает! Стали искать, искать и нашли на чердаке, подмоченную, попорченную.

Я посмотрел на Ольгу Захаровну. Она, видимо, утомилась, и мы, поблагодарив гостеприимную хозяйку, до-

рогую современницу Гоголя, откланялись и направились в дом, где родился Гоголь.

В гоголевские времена дом принадлежал доктору Трахимовскому, потом был продан помещику Чарнышу, а потом Александренку, и от него уже приобрел его настоящий владелец, становой пристав П. М. Ересько.

Шагая по глубокому снегу, мы добрались до Преображенской улицы, и М. В. Домбровский указал мне на маленькую, крытую железом мазанку, белевшую сквозь деревья садика.

— А вот и дом, где родился Гоголь. Зимой он заперт: владелец в нем живет только летом, а теперь П. М. Ересько обитает вот в этом большом, куда мы с вами и направимся, — сказал М. В. Домбровский.

Домовладелец, пожилой, небольшого роста господин, одетый в форменную тужурку, живой, энергичный, несмотря на изрядную седину. Он встретил с распростертыми объятиями М. В. Домбровского, который что-то ему сказал на ухо, после чего хозяин весьма любезно попросил нас в гостиную, где на столе моментально появились всевозможные наливки, которыми Павел Моисеевич славился на все Сорочинцы.

П. М. Ересько двадцать лет служил в Сорочинцах. Дом он приобрел уже несколько лет, и гоголевский флигель сохранил в том же виде, каким он был девяносто лет назад. Только крыша железная, а остальное все осталось по-старому, если не считать небольшой пристройки, сделанной к флигелю сзади.

Флигель был обыкновенная, чисто побеленная мазанка с дверью посередине. Дверь вела в большую комнату с глинобитным полом, в правом углу которой стояла большая печка, а рядом с ней — дверь, ведущая в пристройку. Налево — дверь в комнату, где когда-то доктор Трахимовский располагал своих пациентов и где родился Николай Васильевич Гоголь.

Нет ни Трахимовского, нет ни Гоголя, ни лиц, с которых он рисовал свои незабвенные типы, а стены домика, слышавшие первый крик великого писателя, были целы.

Особое, совершенно особое чувство благоговения ис-

пытывал я в этой чисто выбеленной комнате с четырьмя окнами, два — по одной, два — по другой стене.

Пробыв несколько минут, мы вышли на большой двор, где осмотрели, между прочим, замечательно прочный подвал, сухой, чистый, оставшийся со времен гетманщины. Подвал этот принадлежал гетману Малороссии Даниилу Апостолу, а из подвала существовал подземный ход, ведущий до церкви, которая была выстроена Даниилом Апостолом. А когда она строилась, Апостол, по преданию, по ночам собирал рады в строящемся здании и сам являлся на эти рады через этот ход.

Поблагодарив любезных хозяина и хозяйку за гостеприимство, мы направились к священнику Преображенской церкви отцу Севастиану Павловичу. Было совершенно темно, когда мы подошли к его дому.

Отец Севастиан более десяти лет тому назад разыскал запись рождения Гоголя, прочел ее и опять положил книгу в архив, и с той поры, по его словам, книги никто не видал и не спрашивал.

— Кроме меня, знал об этом наш старый священник, отец Роман, но ему уже на девятый десяток, и он слаб: сегодня я его соборовал. Плох уж стал старичок, а еще помнит все!

Я обратился к священнику за разрешением посмотреть метрические книги за 1809 год, на что получил согласие, и мы отправились в церковь.

Это одна из древнейших церквей Украины, сооруженная Даниилом Апостолом. Церковь была о пяти главах, отделанная лепною работой и освященная вскоре после его смерти, 6 апреля 1732 года. Здесь было много старинных икон. В церкви обращал на себя внимание старинный резной из дерева иконостас замечательно тонкой, художественной работы.

Священник открыл архивный шкаф и вынул старую, но хорошо сохранившуюся метрическую книгу о родившихся за 1809 год. И здесь, в середине книги, на правой странице, внизу, старинным твердым почерком было написано: «20-го марта у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22-го марта. Восприемником был... господин полковник Михаил Трахимовский... молитвовал и крестил священнонаместник Иоанн

Белопольский». Отец Севастиан выдал мне по моей просьбе форменную, с церковной печатью, выпись из метрической книги.

На другой день, рано утром, я гулял по Миргороду и глубоко сожалел, что теперь зима и все занесено снегом, и не видно даже знаменитой лужи, про которую у Гоголя сказано: «Удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Домы и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее!»

Мне тогда сказали миргородцы, что лужи этой больше не существует и что на месте ее разбит городской сквер, а что луж есть несколько и есть такие же большие, к великой радости гусей и свиней, может быть идущих по прямой линии от той супоросной бурой свиньи, которая стащила и съела очень важную казенную бумагу из суда.

Видел я еще то, чего не было в доброе старое время: видел я казенную винную лавку, около которой стояла толпа миргородцев и пила из горлышка водку, закусывая снегом, а то и ничем, и запах от этой толпы напомнил мне тот момент в поветовом суде, когда Иван Никифорович со своей просьбой застрял в двери, и «тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей, причем канцелярский чиновник и его помощник — инвалид от дружных усилий дыханьем уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом». Такой же запах был от толпы близ винной лавки, находившейся в переулке, напоминавшем тот «переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они не могли уже разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, покамест, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону, на улицу».

Таковым был Миргород зимой, Миргород, прославленный Гоголем, и весь этот край, где каждое место напоминало Гоголя, — край, который смело можно назвать «Гоголевщиной».

Каждое правдивое слово о великом писателе, харак-

теризующее и его и ту обстановку, которая послужила для его творчества, всякое подобное сведение есть уже ценность, которая должна принадлежать всем.

Это обстоятельство заставило меня сделать еще целый ряд поездок в Гоголевщину, тогда я старался главным образом обращаться к тем современникам поэта, которых никогда и никто не расспрашивал и которые без всякого желания рисовки правдиво поведывали мне то, что сохранилось в их памяти, нередко даже выказывая удивление, зачем у них спрашивают такие неинтересные, по их мнению, вещи.

* * *

Поведаю, о чем могу, в том порядке, как это видел я во время пути, который был хорошо известен Гоголю. Собрав материал по воспоминаниям о Гоголе, мне пришлось волей-неволей остановиться и на настоящем этих мест, сохранивших те черты, которые известны читателям Гоголя.

Все эти места поэтому и назвал я одним словом: Гоголевщина.

Не будь Гоголя, разве говорили бы о них? Разве говорили бы об Украине?

Конечно, говорили бы... А Полтавский бой? Разве он не прославил страну?..

Да, были герои-победители... Об этом свидетельствуют могилы, дела рук героев...

А после них прошли два мирных человека с записными книжками в руках, один обессмертил Полтаву в чудных стихах, а другой заставил весь мир полюбить милую, симпатичную Украину...

Ни Полтавы, ни Украины без них не знали бы...

От героев меча остались могилы, от людей — слова, правда и любовь.

Выехал я из Полтавы по диканьской дороге и, проехав почти с версту, невольно оглянулся назад.

Украинская красавица, утонувшая в садах и тополевых аллеях, изменилась. Впереди раскинулись широко-широко поля, ярко-зеленые озими с желтыми оазисами, хуторскими садочками, золотом отливающими при ярком блеске сентябрьского солнца.

Резкой полосой прорезает изумрудную зелень черная дорога, по которой когда-то ездил Гоголь...

А ранее, еще ранее на этих полях, спокойных, изумрудных полях

Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча,
Бросая груды тел на груды;
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят...

. . . .

Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть, и ад со всех сторон.

Ужасное было время, и напоминают о нем эти зеленые курганы по сторонам дороги.

И воздвигла эти курганы прихоть и жажда славы одного человека...

Мне представлялось: вон там, в балочке, двое бледных, испуганных всадников боязливо скачут по очеретам...

Нет уж давно-давно их сначала молниеносных, потом испуганных взглядов, полных отчаяния, нет уж их грозного воинства — ничего не оставалось на этих полях, кроме поросших травою могил, а поля все неизменны, свежи, зелены...

Да осталось еще народное название местности по дороге, характеризующее то время; а название это — Побиванка.

А за Побиванкой — Петрова долина, а дальше — Переруб, а там — и Диканька.

Вот при въезде — аллея из дубов, таких пятиобхватных да угрюмых, каких на свете, пожалуй, не увидишь. Это те самые дубы, о которых Пушкин сказал:

Цветет в Диканье древний ряд
Дубов, друзьями насажденных.
Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят.

А за дубами — Диканька с ее великолепным дворцом, окруженным парком, сливающимся с дубовыми лесами, в которых водились даже стада диких коз.

Я целый день провел в этом лесу, октябрьский солнечный день.

Тишина поразительная. Ни лист, ни веточка не шелохнутся. Если только смотреть на солнце — переливается в воздухе прозрачная, блестящая паутина между тонкой порослью, да если прислушаться — зашелестит на миг упавший с дерева дубовый лист. Земля была устлана плотно прибитыми накануне дождем желтыми листьями, над которыми стоят еще зеленые, не успевшие пожелтеть и опасть листья молодой поросли. Ни звука, ни движения. Только лапчатый кленовый лист, прозрачно-желтый на солнце, стоит боком к стеблю и упорно правильным движением качается в стороны, как маятник: то вправо, то влево. Долго он качался и успокоился только тогда, когда оторвался, зигзагами полетел вниз и слился с желтым ковром... Да еще тишина нарушилась двумя красавицами—дикими козами, которые быстро пронеслись мимо меня и скрылись в лесной балке... И конца-края нет этому лесу. А посреди него — поляны, где пасутся табуны... Вот Волчий Яр, откуда открывается внизу далеко-далеко необъятный горизонт, прорезанный голубой лентой Ворсклы, то с гладким степным, то с лесистым обрывистым берегом...

Великолепны окрестности Диканьки и великолепен дворец, в котором между драгоценностями хранилась в дорогом шкафу рубаха Василия Кочубея. Простая белая рубаха с пятном крови. После казни в Белой Церкви рубаха Кочубея досталась его родственникам и до последнего времени хранилась в церкви в селе Жуках. Несколько лет тому назад в Жуках ожидали архиерея, объезжавшего епархию, и попадья, решившая, что не подобает владыке видеть окровавленную рубаху, вымыла ее, но все-таки кровь отмыть не могла. Тогда владелец Диканьки, В. С. Кочубей, взял эту реликвию к себе и устроил ей помещение в своем дворце.

Сзади дворца — сад, а еще дальше, за прудом, и село Диканька, где кузнец Вакула так расписал свою хату, что приезжавший блаженной памяти архиерей даже спросил:

— А чья это такая размалеванная хата?

Та самая Диканька, где жил дьяк Фома Григорье-

вич, «кажется, и незнатный человек, а посмотреть на него — в лице какая-то важность сияет; даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение; в церкви, когда запоет на клиросе, — умиление неизобразимое».

Прошел я из дворца и парка в Диканьку, для скорости пути едва пролезши в какую-то дверь в заборе, перешел мостик и стал подниматься в гору, к Троицкой церкви, которую расписывал Вакула и в которой Фома Григорьевич дьяком был.

Остановился против церковной ограды у хаты, а на воротах написано: «Петр Андреевич Зеленский».

— Чья хата? — спросил я подошедшего человека, не молодого и не старого.

— Хата была Петра Андреевича, дьяка, а как он умер, так перешла к новому дьяку, его преемнику. То был дьяк!

— Вроде Фомы Григорьевича?

— Вроде Фомы Григорьевича, да еще почище. Почтенный был, все молчал, да слушал, да табак с такой важностью нюхал, что шапку — увидишь—скинешь. А как на клиросе пел! По-старинному и даже невольно умилительно. А выпить мог — уму невообразимо. Бывало, праздником пьет, пьет — и не узнаешь. А как запоет «Волною морскою», да вскочит, тряхнет плечами, да гикнет, и пойдет, и пойдет!.. Вот это был дьяк. Больше пятидесяти лет здесь прослужил.

Шли мы по диканьским улицам, и все мне мой спутник рассказывал, и видно, что читал всего Гоголя.

— А вот и Вакуленко, — указал он мне кузницу.

Я поинтересовался:

— А что, все у вас так же, как вы, Гоголя знают?

— Да, Диканька должна знать и знает Гоголя, у нас неграмотных, кажется, совсем нет. Диканька — это Голевщина... Как же нам не знать его.

* * *

В тот же день я выехал из Диканьки в Яновщину. Вот балка Пустовидка. Здесь когда-то сидел разбойник Пустовид. Вот Зозулина балка. Вот Дьячково. Вот хутор Задорожный. Владельцем его был казак Григорий Ефи-

мович Задорожный, старейший в округе. Еще во времена Гоголя он был церковным старостой в Яновщине, и после каждой церковной службы Мария Ивановна Гоголь приглашала его в дом.

— Добрая была. Бывало, у меня в церкви разменяет десять рублей и все раздаст бедным. А паныч (Гоголь) еще добрее был. Помню, раз при мне он говорил Марье Ивановне: «Смотрите, чтобы не обижали людей». Приедет, бывало, поговорит с народом ласково-ласково. Добрый паныч был.

От Задорожного я заехал в Невенчанную балку; балка эта на десяток верст по странной случайности искони была вся населена холостяками-помещиками, записывавшими своих многочисленных детей к себе же в крепостные. Приехал на хутор, которым владели братья Мироненки.

Мироненки были уже пожилые люди, родные братья. Жили они прежде бедно, а потом умер их богач-дядя Шафранов и оставил им имение и деньги. Стали они делить такое богатство. Крупное поделили, а на мелком поссорились. Не поделили старую молотилку. И стоит она, гниет на дворе у обоих на глазах, чтобы никто пользоваться ею не мог. Старший брат Иван Иванович соглашался продать молотилку и деньги поделить и даже пожертвовать на школу, а младший Петр Иванович уперся и говорит:

— Нехай она сгние! Або моя, або хай сгние!

И поссорились из-за молотилки и друг друга видеть не желали и знать не хотели. Живут, будто и знакомы не были.

Великий Гоголь провидел этих двух братьев, которых так живо изобразил в Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче.

Я заехал в дом к Ивану Ивановичу, который жил вдвоем с сыном своим Спиридоном Ивановичем; оба хорошие хозяева и аккуратные люди. Иван Иванович очень интересовался стариной, много помнил и прекрасно рассказывал. Даже стихи на украинский язык переписывал. Я предполагал найти у него что-нибудь о Гоголе, но нашел только кипу старинных, еще блаженной памяти поветового миргородского суда, дел да несколько купчих

крепостей на продажу людей. Живых людей... Ужасные документы, по которым живые люди переходили от одного владельца к другому, дети отнимались от родителей.

— Интересное имя в одной купчей упоминается, — сказал мне хозяин, — это Гришко-Горишевский. Он из села Устивиц, из-под Сорочинец, и я сам оттуда. Так этот самый Гришко-Горишевский — его уж я не помню, дед мне про него рассказывал — был сотником и принимал к себе всех разбойников и майданщиков.

— А что такое майданщики?

— А которых закуция на майдан посылала.

— Не понимаю.

— Закуция? Да это экзекуция, власти. Закуция состояла из головы, сотского, десятского, писаря и добросовестного.

Идут они всей партией выколачивать подушное. Если не платит кто подушного в первый раз — арестуют. Если не заплатит во второй раз, а уже в тюрьме сидел, достанут сажи, натолкут ее, помешают с водой — да и давай ляпать по стенам и по одежде, по чем попало. И водят за собой тех, кого измажут. В третий раз берут недоимщика и ведут на большую дорогу, на перекресток. А на перекрестке лежат сваленные длинные дубы, и надолблены в тех дубах дыры. И вот в дыру на дубе вставляют ногу неплательщика и прибивают ее бруском: вынуть нельзя. Много народу насадят и держат троечетверо суток, даже зимой. Это называлось «на дубу».

В четвертый раз неплательщика забирают и ведут к дубу. А у дуба — ямы глубокие, над ямами перекинуты жердочки, а через жердочки перекинуты прутяные плетни. И вот в эту яму насадят битком недоимщиков, а затем навезут воды, и ходит «закуция» по плетням и поливает холодной водой тех, которые сидят в ямах. И продолжалось это от трех до пяти дней.

А уж если это не помогало, пороли жестоко и отправляли, пока не заработают подушного, на селитренные заводы на майданщину.

Так поступали и с казаками.

Майданы были повсюду вокруг. Работа каторжная, каторжные порядки. Майданщик — было ругательным

словом, уцелевшим и до меня. Единственный исход для майданщиков был побег в Таврию, или в донские и днепровские гирла, или к Гришко-Горишевскому.

В то время в Устивицах, близ села Сорочинец, Миргородского уезда, у него было большое имение. И стоял на сорочинской дороге столб, а в столбу проверчено шесть дырок. Это были условные знаки, которые понимали только те же майданщики.

Означали эти шесть дырок, что беглые, явившиеся в Устивицы, получают шесть лет панщины, если запишутся к Гришке в «пидсусидки», а через шесть лет переходят с потомством в крепостные; а бежать от Гришки было нельзя: у него были злющие-презлющие собаки, которые разрывали каждого прохожего. А ударить ни одной собаки нельзя: кто ударил — сам пропал.

Передававший это со слов своего деда родился в тех же Устивицах.

О себе Иван Иванович рассказывал так:

— Боялись мы школы. Учились мы в конюшне у попа. Учился со мной рядом же и теперешний кременчугский врач В. Сидим мы в конюшне на бревнах, да и выглядываем из оконца — кто идет, а сами читаем: «Един бог во святой троице». Вдруг поп выхватит у кого-нибудь из рук книжку да велит продолжать наизусть. А чуть ошибся — линейкой по щеке. Во, с какими мордами ходили. А то раз спрашивает меня:

— Скилки було Ноев?

— Один, — говорю я, — праведный Ной.

— А як же Америка взялась? — Да по морде линейкой.

От И. И. Мироненка я выехал в Яновщину, чтобы повидать гоголевские места, сестру Гоголя, О. В. Головню, и старшего в роде Гоголей — Н. В. Быкова.

Не могу не сознаться, что в Яновщину ехал я с сердечным трепетом. Даже решил, что и заходить к владельцам не буду, постараюсь их не беспокоить, так как я слышал уже о том, как надоели им всевозможные интервьюеры и корреспонденты с фотографическими аппаратами и записными книжками, обладатели которых заносят каждое слово о Гоголе, сказанное тем даже, кто, живя на Украине, и понятия не имеет о Гоголе. Эти

пилигримы страшно надоели владельцам Яновщины, и я не хотел уподобляться им, да и вообще думал там найти мало интересного: надоело людям отвечать, будут повторяться, говорить нехотя...

Вышло наоборот.

На подъезде расположенного в саду дома Н. В. Быкова я встретил хозяйку дома и попросил разрешения только пройтись по гоголевскому саду, на что получил разрешение, и, откланявшись, назвал свою фамилию.

Меня попросили в дом. Оказалось, что Н. В. Быков знал меня по моим работам, а супруга его Мария Александровна, внучка А. С. Пушкина, слыхала обо мне от своих родственников, с которыми я был давно знаком.

Приятное разочарование: думал посмотреть сад, предполагал встретить сухой прием, не добыть ничего интересного, а оказалось, что весь-то интерес и был здесь.

Нашлась сотня общих знакомых, пошел разговор такой, будто встретились друзья после долгой разлуки.

Оказалось, что Н. В. Быков сам интересовался до мелочи всем, что касалось его гениального дяди, и сам владел еще многими интересными реликвиями, кроме тех, которые им уже ранее были пожертвованы в Румянцевский музей.

Передо мной раскрылся целый музей реликвий, рассмотрению которых я посвятил день и почти всю ночь. На другой день я посетил сестру писателя, Ольгу Васильевну Головню, и застал ее в то время, когда она только что вернулась с пасеки из Яворщины, верстах в трех, в степи, где когда-то любил бывать и Гоголь.

Любимым местом для прогулок Гоголя была Яворщина, где когда-то был старый дубовый лес, а также и Стенка (или Стенька) — урочище в пяти верстах от Яновщины, принадлежащее Н. В. Быкову. Гоголь часто ездил в Стенку — это лес, спускавшийся по обрывистому берегу Голтвы. Место весьма красивое, поэтическое. Здесь он задумал свое «Заколдованное место».

Ольга Васильевна была еще бодрой старушкой, интересующейся хозяйством и деревенской жизнью. Она плохо слышала, но любила поговорить о прошлом, хотя

ей это было довольно трудно, почему я не позволил себе беспокоить ее расспросами, ограничившись тем, что осмотрел гоголевские вещи, о которых в свое время писал в газетах.

* * *

Хорошо в Яновщине! Кругом степь, прорезанная балками, усеянная хуторами с тенистыми садочками.

Прямо от церкви начиналась степь. Подле церкви, между церковью и плотиной, которая разделяла два пруда и которая когда-то была усажена старыми-престарыми вербами, четыре раза в год собиралась ярмарка. Ее-то, говорят, Гоголь и описал и назвал ее «Сорочинской» потому, что Сорочинцы были известны по всей округе, а Яновщину в те времена и не знал никто. Какая, мол, такая ярмарка в какой-то Яновщине! Вот в Сорочинцах так ярмарка!

Назови Гоголь ярмарку не Сорочинской, которая знаменита, а Яновщицкой — и тоже б подняли на смех.

Вот по тому же самому Гоголь и назвал свои рассказы «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Диканьку все знают. После Полтавы там это самое крупное имя.

А тут еще приглашение: «Когда кто из вас будет в наших краях, то заверните ко мне: я вас напою удивительным грушевым квасом». Так приглашал пасечник Рудый Панько.

Да я сам лет 35 тому назад знал уже Диканьку и всей душой стремился туда, где

Богат и славен Кочубей.
Его луга необозримы...

стремился посмотреть и хутор близ Диканьки, где Рудый Панько рассказывал такие страшные вещи, и посмотреть Полтаву и Побиванку, где побили шведов...

И вот только через 35 лет после первых моих мечтаний передо мной самый хутор близ Диканьки, дом, осененный деревьями, которые сажал сам Николай Васильевич Гоголь и отец его Василий Афанасьевич.

Это была новая усадьба Гоголей, принадлежавшая старейшему в роде их Н. В. Быкову.

Меня встретила группа детей. В них уже слились три фамилии. Это — Быковы, Гоголи и Пушкины.

Н. В. Быков был женат на дочери Александра Александровича Пушкина — сына Александра Сергеевича. Дети у Быковых росли в том саду, который садил Николай Васильевич Гоголь, их дед.

Странно посажен сад на берегу пруда — только одна аллея, а там — все вразброс.

Таково было желание Гоголя. Он не любил симметрии.

Он входил на горку или просто вставал на скамейку, набирал горсть камешков и бросал их: где падали камни, там сажал он деревья. До того времени на месте сада был большой луг, и на нем-то Николай Васильевич образовал этот чудесный тенистый сад.

Впрочем, когда я был в Яновщине, сад не был тенистый: клены, любимое дерево Гоголя, уже облетели; уцелели листья на двух его также любимых деревьях: желтые, золотые при свете солнца — на липе и темно-зеленые, кожистые — на дубе.

Гоголь любил и сажал только три этих дерева.

Осень была ясная, солнечная. Осенний сад на меня не произвел впечатления умирающей природы, нет! Это природа освежается перед сном чистым воздухом, она умоется холодными, здоровыми дождями, а затем под белоснежным одеялом уснет, чтобы проснуться свежей, полной жизни, готовой к деятельности, прекращенной зимой во время сна.

Я люблю осень с ее особыми, яркими тонами, с ее бодрящим воздухом.

Хорошо в саду в такую осень!..

Особенно было хорошо в гоголевском саду: с большой аллеи переходишь поперек сада длинной, узкой, извилистой дорожкой.

Эта дорожка неправильной линией разрезает сад: налево — пруд, а направо — дом.

На одной из полян сада, около дубков, красивый курганчик с густым сиреневым кустом, увенчивающим его вершину.

По поводу этого кургана ходила легенда.

Один из заезжих собирателей преданий разговорился

с жившей у Быковых старой няней, Маланьей Дригой, которая еще хорошо помнила «паныча». Разговорился этот собиратель с няней и с ее слов, с добавлением своего, записал, что здесь, под этим самым курганом, Гоголь зарыл свои рукописи.

И пошла ходить легенда.

Говорил и я с няней.

— Так зарыл Гоголь бумаги в курган?

— Брат мой говорил, что когда паныча спросили, зачем это в саду горку делает, так он ответил: «Чтобы меня вспомнили».

— А видел брат твой или кто-нибудь, что паныч клал туда бумаги?

— Ни, только так говорили. А может, и нет. Тогда голод был, так паныч хлопцев собирал: они ему землю таскали на горку, а он им платил; и брат мой хлопцем был, тоже работал.

Такова была история этого кургана в саду. Вся легенда о бумагах была ложь. Гоголь, видимо, помогал в голодный год, давая эту помощь в виде оплачиваемого труда.

По ту сторону пруда находилось место старой усадьбы Гоголя, но она оказалась не в таком виде, какова была при жизни Гоголя: усадьба была перестроена вся заново, даже не были сохранены места старых построек, сад наполовину вырублен. От любимых Гоголем прямой аллеи и кленовой площадки сохранилось: от первой — только половина одной стороны, а от кленовой площадки — только два клена. На берегу пруда доживали гигантские пни столетних дубов, своей тенью покрывавшие в былые времена всю полянку, где когда-то Гоголь любил сидеть на берегу пруда.

Кроме сестры Гоголя, Ольги Васильевны, из современников его в Яновщине жили несколько человек, бывших в то время детьми, а из служивших Гоголю — только двое, супруги Юрченки: Петр — повар и Настасья— горничная Марьи Ивановны. Я видел их. Это были такие ветхие старики, каких я никогда нигде не видал. Они доживали свой век в маленькой хате. Я их застал, когда они, едва-едва двигаясь, выползали из хаты погреться на солнышке. Они при моем приезде останови-

лись у порога, такие согнутые, скрюченные да сморщенные, будто в землю вросли. А волосы у обоих были целы, зато глаза плачут, еле смотрят, особенно у старика: это сказались десятки лет у плиты. Оба они мне напомнили старые деревенские хаты, вросшие в землю, с растрепанными, облезлыми соломенными крышами, со слезящимися, тусклыми окнами. И они такие же! У старухи еще глаза более живые, но зато лицо — совершенно печеное яблоко: кожи гладкой нет, одни сплошные морщины.

О Гоголе они мало помнили и ничего интересного не сказали.

Я припомнил им один факт из гоголевских времен, слышанный мною ранее. В Яновщине был священник отец Капустянский. В день св. Пантелеймона, или, как называют здесь этот день, «на Паликопу», работать не полагается, так как, по преданию, если хлеб убран в этот день, то его сожжет молнией.

И вот однажды в день св. Пантелеймона священник отец Капустянский увидел крестьян, которые везли возы хлеба. Он выскочил с восковой свечкой, зажег возы с хлебом, а испуганные волы бросились в село и спалили хаты.

Своевременно это дело было в консистории, но не получило хода.

Вот я и спрашиваю:

— Помните, старики, как поп на Паликопу спалил возы?

— Эге... Як же... Це пип Капуста... Це вин спалив, выскочил со свечой и спалил... На Паликопу було...

И, рассказывая подробности, оба они оживились, перебивали друг друга.

А потом смолкли, потускнели и замерли, потратив последние силы на рассказ о том, что было им близко и хорошо сохранилось в памяти.

* * *

Я объехал все места, где бывал Гоголь, и как мало осталось тех, кто его помнил. В Кибенцах, имении Трощинской, и в Миргороде — никого. В Шишаке современница Гоголя, г-жа Е. П. Петрова, указала только на

один интересный факт. Мать Гоголя, Марья Ивановна, приехала в Миргород по делу в поветовый суд, после того уже, как появился рассказ об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. Миргородские чиновники были так злы на Гоголя, что Марье Ивановне не предложили сесть, и она простояла часа два, пока не получила нужную справку.

В Б. Сорочинцах жила М. Н. Кульбовская, хорошо помнящая Гоголя. О встречах с Гоголем Марья Никитична рассказывала с большой радостью. Видно, что эти воспоминания — лучшие в ее жизни. В первый приезд Гоголь был один, а во второй — совершенно изменился.

О первой встрече Марья Никитична говорила так (записано стенографически):

— Это было в 41 году. Марья Ивановна гостила у Трахимовских, а он и приехал, и пробыл больше недели. Дом, где я жила, был рядом с Трахимовским, и мы друг у друга постоянно гостили, и сразу, в первый день, познакомились с Гоголем. Любезный, приветливый, веселый! Как чудно говорил! Читал нам всем по вечерам... Не помню сейчас, что именно... Да никто не спрашивал, записать не догадались... Помню, вечером как-то сидим мы дома, а Гоголь пришел к нам, да и говорит: «Что тут засиделись, пойдем к Трахимовским!» И пошли, и танцевали вечером кадриль, и он танцевал, но только путал фигуры... Много смеялись... Тогда он мне в альбом институтский стихи написал, не помню какие: альбом в шестидесятом году сгорел во время пожара...

Самой разговорчивой и памятливой современницей Гоголя явилась Марья Григорьевна Анисимо-Яновская, состоящая даже в дальнем родстве с Гоголями.

Я разыскал ее в Полтаве на Монастырской улице в доме Харитоненко. Она жила в маленькой, чистенькой квартирке, где я просидел у нее часа два. На мой вопрос о Гоголе Марья Григорьевна сказала:

— Помнить-то я его, конечно, помню. Только мы, дети, прежде на него внимания не обращали: молчаливый такой, угрюмый, ни с кем не говорит, поест и уйдет в свою комнату. Я часто бывала в Яновщине, а звука голоса Гоголя не слыхала. Помню, последний раз, мне было лет десять, видела я его в Яновщине. Он был блед-

ный, волосы длинные, и глаз за обедом не поднял, поел немного и ушел. С тех пор я его больше и не видала. Уж после его смерти жила я долго в Яновщине; тогда Кулиш приезжал, бумаги разбирали... А ведь и не думал никто! После уже, читая его сочинения, мне многое стало ясно, с кого он писал. Впрочем, я не любила его читать: ничего для меня нового, написал то, что я сама знаю, что каждый день вижу, или уж выдумки вроде Вия. Ну, что это такое? Гоголь все это от старых баб взял: те все про ведьм да вовкулаков, бывало, нам страсти рассказывали. А какие ведьмы? Их нет. Помню, приезжал к нам дядя родной, брат отца... Отец мой был военный, заслуженный, потом разжалован из офицеров был, а там снова на войне отличился, и ему корнета дали. Тогда он вышел в отставку. Смелый был! А дядя еще смелее. За обедом раз мать жалуется отцу, что ведьма наших коров по ночам выдаивает, к утру никогда молока нет, что прислуга даже видела ведьму у коров. А коровы стояли над балкой, в загоне. Ну, дядя и говорит отцу:

— Ходимо, застукаем ведьму!

И пошли. Спрятались под дерево около загона и ждут. Вдруг в самую полночь из балки лезет она, вся в белом, волосы распущены, то собакой ворчит, то свиньей хрюкает. Отец испугался, молитву творит, а дядя выскочил да ведьму за косу. Та на него собакой лаять... А дядя кричит отцу:

— Сейчас ей уши и нос обрежу!

Да и вынул кинжал. Ведьма на колени. Посмотрели — соседка наша, казачка, целый год наше молоко ела!.. Вот они, ведьмы-то, какие!.. Вот и Вий тоже — бабьи россказни. Не люблю я этих хвантазий у Гоголя.

Марья Григорьевна закурила папироску и еще раз повторила:

— Не люблю этих хвантазий! А вот чиновников да помещиков описывал хорошо. Я сама помню, как в Миргороде чиновники жили, получали два рубля в месяц и на службу из дома шли босиком по миргородской грязи; придут, обуются в сенях — и в суд... Ось, як воно було! А важничали чиновники! Из последних сил тянулись, все богатство свое показывали. Жаль, что их Гоголь не всех знал, а то много бы еще написал. Был

один у нас чиновник такой, сосед наш в Полтаве, три рубля в месяц получал, а вел себя богатеем: одежда — ни пылинки, сапоги — как зеркало, манишка — снеговая... Каждое утро, бывало, сядет у открытого окна с папироской, с газетой и ложечкой в стакане помешивает. Товарищи идут на службу и зовут его, а он отвечает: «Прочитаю газету, напьюсь чаю и приду». А какой чай? Квас-сырец за копейку кувшин купит, нальет в стакан да ложечкой и мешает... А газета старая — с чердака достал. И вот едва этот чиновник на богатой не женился. И женился бы, да колокольчик все дело сгубил.

Марья Григорьевна встала, прошлась по комнате и продолжала:

— А тоже в Полтаве, в своем доме, жили два брата, помещики-миллионеры — дом их на базаре был, — а такие скупые, что по ночам поочередно открывали окна и с разных сторон по-собачьи лаяли. Один спит, другой лает... «Пусть, мол, знают, какая у нас псарня!» Их кто-то описал даже... А вот с колокольчиком писателям не попался... А було, було!

— Ну как же это было?

— А вот как! Начал этот самый франт-чиновник свататься к дочери богатого помещика и сам себя за богатого выдавать. Забыла я фамилию-то... А знала!.. Сквозь сон вспоминаю... А жили помещики за Ворсклой... Назначили они бал и его в качестве жениха пригласили. Ну, известно, он сапоги на палку, палку на плечо — и ходу! Грязь... Осень... Подходит к Ворскле — брод, а перебраться не знает как... Едут гости вброд в бричках. Попросить перевезти жениху — себя осрамить. Так он на корове верхом переправился и прямо в сад к ним. Вынул из кармана колокольчик — бежит и звенит, будто тройка едет. Добежал до подъезда, вошел в дом важно так... Спрашивают хозяева: «Где лошади?»

А он говорит:

— Обратно домой отправил, расковались.

Так бы и сошло, и женился бы, наверно, да одно беда: стали танцевать, а колокольчик-то из кармана на грех и вывались. А тут хозяйский сын рассказал, как «дядя с колокольчиком по саду прыгал», а другие видели, как

на корове через реку верхом ехал... Вышел скандал, драка, и жениха выгнали...

Ось як було!

И всю правду Гоголь писал, всю правду! Вот Коробочку взять... Сколько таких коробочек было! И теперь они есть... А ту Коробочку прямо, кажется, с моей тети, Пивинской, списал... А что мысль написать «Мертвые души» взята с моего дяди Пивинского, так это я наверно знаю, и знаю, как это произошло.

— Что же, Чичикова Гоголь писал с Пивинского?

— Нет. Чичикова с другого кого-то списал, а самую мысль «Мертвых душ» дал Пивинский. Это уж я достоверно знаю. Пивинские были мои дядя и тетя, у них я часто в Федунках бывала: это 17 верст от Яновщины.

Об истории «Мертвых душ» Мария Григорьевна рассказала:

— У Пивинских было 200 десятин земли и душ 30 крестьян и детей пятеро. Богато жить нельзя, и существовали Пивинские винокурней. Тогда у многих помещиков были свои винокурни, акцизов никаких не было.

Вдруг, это еще до меня было, начали разъезжать чиновники и собирать сведения о всех, у кого есть винокурни. Пошел разговор о том, что, у кого нет пятидесяти душ крестьян, тот не имеет права курить вино. Задумались тогда мелкопоместные — хоть погибай без винокурни.

А Харлампий Петрович Пивинский хлопнул себя по лбу да сказал:

— Эге! Недодумались!

И поехал он в Полтаву, да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых... А так как своих, да и с мертвыми, далеко до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по соседям и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе и, сделавшись по бумагам владельцем пятидесяти душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках, да, кроме того, и вся миргородчина знала про мертвые души Пивинского.

Чудаки были эти Пивинские! И совершенно между собою противоположные люди: Пивинская Мария Ивановна — она родная сестра моей матери — важничала,

выпяливалась, из последних кишок тянулась, а Харлампий простяк был! Ни на что внимания! Была у меня еще тетя, полковница Морская, муж у нее моряк был. Вот и приезжаем мы с тетей к Пивинским. Выходит сам в новой чумарке, как сейчас вижу: один рукав синий, другой — пестрый, одна пола синяя, другая — красная, а спина — диванной материи с турецкими огурцами.

Мы так и остолбенели.

И говорит ему Морская:

— Как тебе, Харлампий Петрович, не стыдно таким чучелом одеваться?

А он стоит, пузатый такой, смеется, говорит:

— Эге? Бачите? Добре... И ей-богу ж, гарно!

— Да стыдно...

— Абы новенько да чистенько... Гарный архалук!

И пошел к обедне.

А то раз за обедом собрались гости. Мария Ивановна подала безе. А Харлампий попробовал да как закричит на нее:

— Що се таке! Да якие чорты-батьки, чого повыдумывали! И нема лучше, как пшеняна каша, да еще молоком прилита... А що се таке: ни во роте, ни в животе!..

И вот выдумка этого самого чудака послужила темой для бессмертного произведения.

Биографы Гоголя доказывают, что Пушкин дал ему тему для «Мертвых душ».

Нисколько не отрицая этой версии, я смею полагать, что, может быть, Гоголь в беседе с Пушкиным рассказал ему под свежим впечатлением происшествие с Пивинским и Пушкин ему посоветовал воспользоваться этим материалом. Решить, откуда тема, предоставляю более сведущим людям, а мое дело было собрать о Гоголе то, что, не будь я на Украине, могло бы исчезнуть, и я рад, что помог установить более точно дату его рождения.

ШИПКА

В 1902 году исполнилось 25 лет со дня русско-турецкой войны 1877 года. Вместе со многими участниками этой войны я поехал на шипкинские торжества.

Мы прибыли на пароходе «Петербург» из Севастополя в болгарский порт Варну, откуда все участники шипкинских торжеств должны были двинуться в глубь страны, на Шипку.

Из Варны на Шипку можно было попасть с юга Балкан и с севера.

Путь с севера был интереснее. Он давал более наглядное впечатление того, что происходило на Шипке 25 лет назад.

И я выбрал путь с севера.

Пароход «Петербург» прибыл в Варну и стоял на рейде, совершенно открытый ветру, который в этот сентябрьский день, к вечеру, перешел в шторм.

Все, кто должен был ехать на Шипку с севера, на катерах и вельботах переехали на берег. Переправа была не из легких! Разгулявшееся море бросало лодочки, то скрывая их за волной, то вынося кверху. Через мол, который виднелся издали с нашего парохода, хлестала волна, сажени на две прыгая выше мола.

Большого труда стоило перевезти багаж с парохода на берег: стоять шлюпкам под бортом было невозможно, и матросы помучились изрядно. К вечеру, к семи часам,

багаж все-таки перевезли; на последней шлюпке переехал и я, решив вопреки и наперекор всему сделать переход через Балканы по пути наших войск.

Море волновалось. Вещи почти невозможно было пускать по блоку на шлюпку. Весь «Петербург» собрался на борту и смотрел погрузку. Жестоко досталось шлюпке № 1 с «Георгия Победоносца». Взволновавшееся добела море то опускало ее в бездну, то поднимало волной почти наравне с высокой палубой «Петербурга», а матросам нужно было ловить этот момент, чтобы схватить висевший громадный сундук или ящик и положить в шлюпку... Удивительные матросы! Спускают сверху сундук, только что приноровились его взять, как стоящий на корме рулевой, матрос Солнцев, душа всей шлюпки, улыбаясь, крикнет:

— Двенадцатый, погоди!..

На момент ловля сундука прекращается. Крючья упираются в борт парохода, чтобы предупредить удар, концы натягиваются, и необъятный двенадцатый вал, обливая нас всех в шлюпке пеной, поднимает ее почти до самой палубы. В это время матросы схватывают сундук — и, когда шлюпку бросает в бездну, сундук уже лежит на месте, и новый вал взбрасывает шлюпку за новым тюком кверху.

Во время одного большого броска мне канатом сшибло шапку, а одного матроса чуть не выбросило в море из шлюпки.

Нагрузка шлюпки, благодаря неловкости подающих сверху, продолжалась около полутора часов. Около полутора часов матросы шлюпки держались на стороне ветра, у работающего винта, у кормового трапа парохода.

От этих матросов требовали подвига, и они его сделали, продержавшись полтора часа при таких ужасных условиях.

Если я об этом говорю, так потому, что, празднуя четверть века со времени войны, ничего не пришлось сказать о матросах, которые также отличались в турецкую кампанию, также совершали чудеса. Лично испытывая, как единственный пассажир в шлюпке, всю лов-

кость и смелость молодцов-матросов, я понимаю, что эти люди представляли из себя в военное время!..

Эти люди могут сделать все!

Рулевой Солнцев и его команда — потомки героев прошлой войны, и они сделают то же, что сделали их знаменитые предки.

А таких, как Солнцев и его матросы, сколько угодно! Весь флот наш таков!

Шлюпку, наконец, отпустили, и помчалась она к берегу по бушующему морю, мочившему багаж своими разбивающимися в брызги гребнями волн, а пароход «Петербург» двинулся к бухте из открытого рейда.

Невольно подумалось: «Что бы это сделать раньше за полчаса!»

Гребцы работают своими длинными веслами, ловя момент, когда можно поймать воду.

С парохода отдается приказание нашим матросам:

— Надеть дождевые!

Но невозможно оставить весла на момент! И обливает нас море соленой волной!

— Есть! — кричит Солнцев, взглянув на офицера с «Петербурга», неистово машущего на своем мостике двумя флагами.

— Что это? — спрашиваю я Солнцева.

— А еще подзывают к судну!

Как бы то ни было, но я попал на берег, в Варну, когда было темно. Схватив свои вещи, я бросился к поезду и положил багаж в коридоре.

Это было вовремя: через несколько минут поезд трогался. Прибывший на торжества генералитет занял свои места. Поезд состоял из 15 вагонов. Все новенькие, изящные, блестят.

Кругом толпы народа. Оглушительное «ура» провожало нас. Вокруг шпалерами в первой линии стояла учащаяся молодежь, то линия мальчиков, то линия девочек.

В поезде я ехал «зайцем», стоя в коридоре.

Было темно. Меня никто не опросил: русские меня принимали за болгарина, а болгары за русского, который имеет право ехать в поезде.

До полуночи по линии дороги горели костры, на стан-

циях—толпы народа со свечками в руках, нескончаемое «ура».

Где останавливались на станциях — пели «Шуми, Марица!»

В вагоне-ресторане происходил ужин.

Как бы то ни было, но я, «заяц» экстренного поезда, ел, как волк, проголодавшись в море.

Нашлись знакомые.

Нашлось и купе — я чувствовал себя счастливым, когда положил под голову мягкую подушку и почувствовал себя пассажиром: ведь не будут же ночью паспорта спрашивать!

Проснулся в Ореховце, где поезд стоял довольно долго, и уже почетным гостем я приехал в Тырново.

* * *

Железная дорога, подходя к Тырнову, идет чудным ущельем, напоминающим дорогу из Ессентуков в Кисловодск. А дальше ряд глубоких тоннелей, где поезд погружается в глубокую тьму — в вагонах полное отсутствие света, так как в Болгарии в это время еще не освещали вагоны при входе в тоннель. Наконец, поезд вырывается из последнего тоннеля, мчится между скал по мосту над пропастью и останавливается у вокзала. Пересаживаемся в экипажи и поднимаемся в город. От вокзала до города, в городе — всюду шпалерами народ, ученики и ученицы, несмолкаемое «ура», полный энтузиазм, радость непритворная при виде русских — освободителей Болгарии.

Через некоторое время я в Тырнове, где поразила в нижней части города древняя церковь. Удивительное здание! Где-то внизу, под скалами, вся в зелени садов, помещается церковка, существующая несколько сот лет, как-то осевшая в землю.

Внутренность — темная: стены все в древних фресках; высокие колонны, тяжелые своды — все в древневизантийском стиле.

В окнах — грубые железные решетки, напоминающие грозное и нетерпимое турецкое владычество.

Но уцелела церковка от турецкого фанатизма. Только на одно плакался мне старый болгарин, тырновский

абориген,— плакался на то, что пропала драгоценнейшая священная библиотека, хранившаяся сотни веков под алтарем и пополнявшаяся постоянно. Библиотеку эту в половине прошлого столетия какой-то владыка из Константинополя разыскал, приказал вынести до последнего листа всю и всю ее сжег.

Оригинально снизу Тырново, амфитеатром прилепленное к высокой горе. Именно — прилепленное!

Оно напоминает пчелиный улей в разрезе: дом над домом! Все это близко сплочено, связано меж собой. Улицы узкие — едва разъехаться: до того слеплено.

Из Шейнова в экипажах по ущелью реки Янтры поехали в Габрово. Моим спутником в экипаже оказался художник А. П. Сафонов, тоже участник турецкой кампании, восторгается каждую минуту.

— Вот, посмотрите, посмотрите!..— говорил он.— Ведь это чудо... Чего наши пейзажисты не едут сюда! Ведь с ума сойти можно!

На пути опять шпалеры народа, «ура», нас забрасывают цветами. Все дома узких, кривых улиц залиты зеленью и цветами: саженные олеандры в полном цвету.

И в Дренове, как по всей дороге, триумфальные арки из зелени и цветов, с симпатичными надписями: «Добре дошли наши освободители», «Братская любовь» и пр.

После отдыха в несколько минут поехали дальше и в пятом часу прибыли в Габрово.

Та же встреча, только еще больший энтузиазм, невероятный подъем духа, искренняя сердечность.

Утром мы выехали в экипажах на Шипку...

Опять чудные картины!

Отъехали верст пять до Червеного Брега, где последовала остановка. Дальше так круто, что лошади не берут. Идет перегрузка багажа в фуры; коляски, в которых ехали гости, не привыкшие к горной езде верхом, перепрягаются: вместо лошадей появляются буйволы!

Тихо — но возможно!..

Кавалерийские лошади к услугам желающих. Это — частью местная недурная горная порода, напоминающая наших кабардинок, частью — венгерские лошади с присутствием чистой крови.

Я взял первую попавшуюся лошадь из строя... Лошадь оказалась подходящей — она сослужила свою службу. Первым делом я приказал снять мундштук, несмотря на уверения, что без мундштука на ней ехать нельзя. Это оказалось неправдой, и она без мундштука шла великолепно, хотя приходилось немного работать и держать ей голову при крутых спусках, куда она рвалась, и—большое несчастье — спотыкалась нередко, что достаточно неприятно, особенно на узких карнизах каменных гор: с одной стороны скала, с другой — бездна!

С момента, когда мы пересели верхом, подъем становился все круче и круче...

Через какие-нибудь полчаса те вершины, которые казались нам из Габрова неприступными, были уже глубоко под нами.

Дорога шла зигзагами кверху...

Поднимаемся все выше и все выше... Уж облачко кое-где под нами...

Здесь что ни шаг — воспоминания прошлой войны...

* * *

Проехали местность около горного ключа, хорошо памятного защитникам Шипки, из-за которого дрались русские и турки, одновременно ходя за водой.

Выше, на дороге — памятник с надписью: «Братская могила». «В память павшим героям при защите Шипкинского перевала с 9-го августа по 28-е декабря 1877 года. 36-го Орловского полка капитан Клиентов, прапорщики Доценко и Дмитриев, шт.-кап. Гришанов и нижних чинов 482. 9-й артиллерийской бригады полковник Беницкий, шт.-кап. Гречишников, поручик Зенькович, нижних чинов 35. Брянского полка майор Молоствов, капитан Брянцев, прапорщики: Гюне, Герасимов, Скородинский, нижних чинов 375». Все это написано на четырех сторонах памятника.

Много виделось по пути таких братских могил! 12 000 выбыло из строя в шипкинских боях, не считая погибших в пропастях и замерзших!..

Я уехал вперед всех. При подъеме к Стальной батарее меня остановила толпа стариков-болгар, георгиевских кавалеров, и один из них спросил меня: едет ли ге-

нерал Столетов? Все весьма обрадовались, когда я дал утвердительный ответ.

Это старые дружинники — герои, вышедшие из Шипки встречать своего любимого командира.

А вот и Стальная батарея с ее двумя памятниками. Выше — самый высокий пункт горы св. Николая — Промежуточная батарея, и Орлиное гнездо над нами.

Это груда скал, каким-то чудом держащаяся на заоблачной вершине, — скал, торчащих кверху, висящих над безднами.

Это высшая позиция русских войск...

Мы остановились на этом пункте дороги. Красивая группа образовалась на этой вершине: группа военных всадников, покрытых пылью, остановилась над стремниной, на самом обрыве, — группа боевых генералов и полковников с белыми крестиками, заработанными здесь, а впереди всех могучая, стройная фигура молодого генерала. Последний, сдерживая коня на краю стремнины, указывает бывшие позиции и дает объяснения.

Это был генерал Романов, который знал все позиции. Каждый из героев войны знал только то место, где он был. Генералу Романову судьбина судила иначе. Он был тогда саперный подпоручик и укреплял всю Шипку. Всюду, днем и ночью, он посещал позиции и знал все. Два раза был ранен, оба раза оставаясь после ран на позициях и продолжая свое дело. Он рассказал присутствующим историю каждого боя, демонстрируя свой рассказ на этой раскинувшейся перед нами и под нами рельефной карте горной природы...

Это был высший пункт дороги, и отсюда мы ринулись вниз по страшно крутому пути, карнизами идущему над бездной. Путь трудный, все время приходится держать коня на коротком поводе... Спускались очень быстро...

А вот под нами и знаменитая Долина Роз, долина реки Тунджи. На необъятное пространство раскинулась она. Под нами заблестели главы шипкинского храма.

* * *

Там, вверху, грозные скалы Орлиного гнезда, нависшие над дорогой, обрывисто сбегающей с упитанной кровью горы св. Николая на Долину Роз. Внизу эта до-

рога заканчивается каменной площадкой, на которой и сооружен храм-памятник, воздвигнутый на костях героев, павших за свободу соплеменников.

Яркое, блестящее, с золотыми главами здание храма оживляет серые скалы — кладбище героев, переносит мысли очевидца к грозному времени войны, к томительным годинам рабства и турецких зверств над соплеменниками, и солнечный луч, играющий в золотых главах, успокаивает сердце, говорит о счастливом будущем страны.

Нависшие над церковью-памятником стремнины были усыпаны тысячами народа, не нашедшего места внизу, на площадке.

Горы жили!

Жила дорога, ведущая с высоты св. Николая... Она металась, двигалась... Это была узкая извилистая черная полоса, движущаяся, как громадная змея, переливающая искорками... Двигалась она потому, что была переполнена войсками, которые поднимались на заоблачные позиции для маневров, и сверкали искрами на ярком солнце их штыки, кровавые и грозные четверть века тому назад, блестящие и мирные теперь.

И под торжественный благовест двигались темные массы войск к Орлиному гнезду.

Множеством черных точек по козьим тропинкам спускались вниз балканские горцы, собранные на великое торжество.

Колокольный звон переливался в ущельях Балкан, как бы говорил теперь:

«На Шипке все спокойно!»

* *
*

В 4 часа утра пришлось встать, чтобы успеть подняться на гору св. Николая. Лагерь к этому часу уже зашевелился. Ночью спустился туман, земля была сыра, сапоги, стоявшие на земле в палатке, настолько отсырели, что с трудом их можно было надеть. Около 5 часов утра головы Балкан были в белых мохнатых шапках, а бока гор местами казались обложенными ватой. Облака были густы, ждать хорошего дня было трудно.

У палаток нашего Шейновского лагеря уже стояли

оседланные кони, и я ранее других поскакал в Шипку, до которой от Шейнова версты три.

Долина Роз, через которую шел наш путь, была одета легким туманом, ущелья гор заволокло облаками. Одна освященная вчера церковь-памятник горела яркими главами у подножия Балкан.

Какая прелесть, какой необъятный простор эта Долина Роз, ограниченная с севера Большими, а с юга Малыми Балканами. Гладкая, ровная. Вся местность заставляет думать, что это было когда-то дно моря. Вдоль долины, ближе к северу, совершенно правильной линией тянется ряд громадных курганов, напоминающих наши южнорусские скифские могилы, только эти несравненно больше. Говорят, что они существовали еще до римского владычества, но здесь никогда и никто еще не раскапывал их. Самый большой курган, вправо от нашей дороги, знаменит тем, что на нем выкинул белое знамя и сдался Скобелеву Вессель-паша 28 декабря 1877 года.

Прежде, во время войны, эти курганы были связаны траншеями, но теперь траншеи давно распаханы, и там, где лилась кровь, мирно растет хлеб.

Налево от дороги вчера был громадный лагерь, а теперь он снят — войска ушли в горы. Они изображают южный отряд, турецкий. Северный отряд еще вчера ушел в горы, в то время, когда происходило освящение храма. Стройные колонны, блестя на солнце штыками, ползли вверх, на Балканы. За ними с великими трудами везли артиллерию, чтобы занять позиции вокруг горы св. Николая, изображая русские войска.

Я остановил лошадь и решил сделать подъем пешком, по тем горным тропинкам, по которым тогда пробирались турки, охотники Сулеймана. Кстати, нашлось несколько человек горцев болгар, которые знали каждую козью тропу, а один из них — старик-дружинник, который все время войны провел на Шипке.

Мы поднимались сначала по дороге, снизу доносился неясный шум переполненной народом деревни Шипки, но ее не было видно за облаками. Где-то в стороне раздался крик. Это один из офицеров сорвался с лошадью под кручу, но, как потом оказалось, отделался только ушибом.

Несколько раз мы бросали дорогу, сворачивали в сторону и выгадывали пространство, перегоняя конных, много ранее нас уехавших из Шипки. Это выгадывание пространства было утомительно. Зато я постиг те невероятные трудности, которые испытывали турки, осаждавшие Шипку, и пришел к тому убеждению, что они совершали невозможное! Каменные скалы, усыпанные острыми обломками кремня, давали себя знать. Особенно в одном месте, уже в виду Орлиного гнезда, висевшего над нами своими серыми скалами, приходилось трудно.

Возьмите ломоть черного хлеба, поставьте его в глубокое блюдо так, чтоб узкая корка его равнялась с краями блюда, и вы можете представить тот переход, по которому провел меня мой старый горец.

Громадная пропасть была перегорожена каменным узким гребнем поперек, и вот по этому гребню, на котором местами едва можно уставить ногу, пришлось пройти, чтоб выгадать пространство.

Но благодаря этому мы, выйдя на дорогу, перегнали верховых. Я догнал ехавшего на горном коне донца, войскового старшину В. В. Мержанова, и он, видя мою усталость, сказал мне:

— Отдохните по-драгомировски, как нас в горах Михаил Иванович отдыхать учил!

И, наклонившись, сунул мне в правую руку ремень от стремени. Я взялся за ремень и, опираясь на него, пошел за конем совершенно легко. Вся усталость прошла, только платье промокло в облаках и чувствовался серьезный озноб, тем более, что ветер усиливался к вершине. Но появлялась надежда, что ветер прогонит облака, настолько густые, что в нескольких шагах не узнать человека.

Так и случилось.

Когда мы поднялись на высшую точку дороги, на то место, где была Стальная батарея, ветер достиг силы урагана, и облака обрывками мчались к северу. Горизонт начал открываться.

На высоте на месте Стальной батареи стоял памятник на братской могиле. Немного ниже мы также миновали братскую могилу, каменный крест которой солда-

тик-пионер обвязывал при нас для сегодняшнего дня черным крепом. Много таких братских могил и памятников было по всему Шипкинскому проходу.

А главный — на Стальной батарее. Это громадный каменный обелиск, на нем рельефом орел и надпись:

«7-го июля 1877 года. Занятие Шипкинского перевала под начальством генерал-адъютанта Гурко. 28-го декабря 1877 года пленение турецкой армии. Генерал-адъютант Святополк-Мирский, генерал-лейтенант Скобелев, под главным начальством генерал-лейтенанта Радецкого».

Я поднялся на высокую точку, на каменное Орлиное гнездо. Здесь ни куска земли, ни признака растительности. На высшей его точке крест. Отсюда вид был поразительный. Балканский хребет с сотнями отдельных вершин лежал подо мной, и смотришь на эти горы сверху, как на рельефную карту.

Только наравне кажется один Бедек, лесистая вершина которого была занята грозной для Шипки турецкой батареей, прозванной тогда нашими героями Девятиглазой. Ниже, на том же хребте, другая батарея — Воронье гнездо. И теперь на той и другой копошились люди, устанавливая орудия...

Через час должен был начаться бой — повторение боя 11 августа 1877 года.

* * *

Блестит стальной щетиной подъемный карниз Орлиного гнезда, и далее, по гребню скал, на самой Стальной батарее сплошной линией лежат стрелки, повиснув над бездной. Так было и 11 августа 25 лет назад. Их дула обращены на грозный хребет Бедек, покрытый лесом. На высшей точке Бедека — грозная Девятиглазка и ниже немного — не менее грозное Воронье гнездо.

Вот с Бедека грянул выстрел... Другой... Белые клубы порохового дыма на минуту забелили черневшийся лес... Это заговорили орудия Девятиглазки. Откликнулась им наша Стальная батарея. На противоположной стороне Центральная загремела по неприятелю. Зарокотали ружейные залпы у ключа, внизу, в пропасти, зашумела и Волынская горка, с которой отступить русским

войскам. В защиту им грянули горные орудия Промежуточной батареи, находящейся на уровне Орлиного гнезда, невдалеке от него.

Орудия стояли под крестом братской могилы, на высшем пункте батареи. На памятнике надпись: «Братская могила. 14-й артиллерийской бригады князь Мещерский, 14-й пехотной дивизии поручик Годило-Годлевский, подпоручик Сапожков и нижних чинов 314». Невдалеке я нашел между камнями две человеческие кости, почерневшие и пожелтевшие от времени, и положил их под крест... И в других местах грозной позиции попадались кости... Вот пожелтевший череп с пробитой пулей лобной и затылочной костью... Много костей...

Промежуточная батарея — удобнейший пункт для наблюдения: все позиции открыты с нее.

Бой кипит... На всех горах клубы орудийного дыма и узкие пояски ружейных залпов или учащенного огня стрелковой цепи... Особенное внимание обращается на Волынскую горку... К выбитым войскам уже спешат подкрепления, строятся в колонны к атаке, начинают наступать на Волынскую горку. Им помогают орудия Промежуточной батареи.

Все кругом в огне и дыме выстрелов. То здесь, то там, глубоко под нами, на краях стремнин, на лесных скалах, на желтых брустверах блещут штыки, лезут люди, гремят орудия. Вот уже пробуют штурмовать Стальную батарею.

Черные точки лезут на кручу, белые стреляют в них сверху. Черные солдаты изображают турок, белые —русских и болгар.

Черные уже спустились. Они добрались на расстояние 200 шагов до северной цепи. Левее от меня турки лезут на Центральную батарею... Забрались уже на северный склон св. Николая, но там натыкаются на болгарскую дружину Л. Д. Вяземского и летят назад...

Левее — Волынская горка вся в дыму... Наступление идет по всем позициям...

А все эти позиции, раскинутые подо мною, — грандиозная могила 12 000 убитых... Не считая замерзших зимой и без вести пропавших в бездонных пропастях...

Неприятель лезет на Круглую батарею Бенецкого, но

Брянский полк и картечь отбрасывают его вниз... Лезет неприятель на Зеленую гору Липинского — плохи Липинского дела, народ перебит, но позиция еще держится... Он просит о поддержке, но дать нечего... Генерал Н. Г. Столетов посылает часть своей удалой дружины, ослабляя себя...

Так и воскресало передо мной в эти минуты все прошлое... Вокруг меня участники былой кровавой бойни, они рассказывают о прошлом.

От серьезного до мелочей.

— Вот здесь, — указывает один генерал по направлению к Круглой батарее, — денщик командира охотился за зайцами и угощал нас кулешом... Там перестрелки, турки — а он свое: бьет и бьет зайцев...

— А вот там Бенецкого убили... Только высунулся из-за бруствера — и пуля попала ему в рот...

А турки лезут и лезут по всем линиям... Положение русских становится отчаянным. Потеря Волынской горки ужасна...

Но вот вдали, по габровской дороге, на казачьих лошадях прибывает 16-й стрелковый батальон, спешивается и строится... Вот еще надвигаются снизу резервы 4-й бригады.

Фланг и тыл обеспечены, дух поднят... теперь с севера турки не страшны.

Рисуется полная картина шипкинского боя...

Вдруг все затихло... Грозное затишье! Только с Бедека громыхает батарея. Но затихла и та...

Страшно становится: чувствуется конец!

Неприятель молча двигается на позиции.

Ожидание томительное...

Только стрелки с гребня Промежуточной батареи сделали три залпа по показавшемуся внизу турецкому батальону и рассыпали его... Вот грянула Стальная батарея... Где-то внизу загремело «ура»... Около шоссе, близ Волынской горки, строятся колонны, рассыпается цепь... С Волынской горки гремят выстрелы... Белые полоски цепи перебегают открытое место, за ними стройно, широким шагом, движутся колонны — и опушка Волынской горки пестреет белыми живыми картинами: русские готовятся к атаке... Правее турки устремились на дру-

жинников, но все их атаки отбиты. Эти войска спустились с Бедека и полезли на наши батареи.

Атака по всей линии... «Ура», и выстрелы слились... На всех позициях стремительно атакуют русских, на Волынской горке русские атакуют турок и, наконец, занимают горку.

Турки отбиты. Горка занята. Бой кончился победой русских.

Картина шипкинского боя как живая! Горнисты дудят отбой. Бой окончен. Войска сползаются со всех сторон к Стальной батарее, к Зеленому шатру.

Шипкинские орлы спускаются с неприступных заоблачных вершин.

Проходит час. Войска выстраиваются по скалам св. Николая вокруг памятника. К памятнику возложены венки — от каждой части участвовавших на Шипке войск, а чешская депутация из Праги принесла свой венок от чешского народа.

Туман прошел. Только горы синеют от дыма выстрелов, да сквозь дым этот там внизу, под нами, виднеются Долина Роз и Малые Балканы за ней, окутанные синей дымкой.

Время от времени налетают порывы урагана.

Вот началась и панихида.

Десятки тысяч народа и войск опустились на колени... Старики плачут... Кругом выстрелы салютов — залпы батарей и грохот ружей.

А над нами солнце, яркое южное солнце, так же беспристрастно светит над нами, переживающими торжественную минуту, как 25 лет тому назад оно освещало трупы героев на этих заоблачных высотах.

На завтра назначался шейновский бой.

* * *

Шейновский бой 28 декабря 1877 года был повторен 17 сентября 1902 года.

И с полной иллюзией.

Около девяти часов утра вправо от Шейнова, если смотреть на Шипку, уже дымились ружейные залпы. Это отряд Святополк-Мирского отстаивал свои позиции, взятые накануне.

За ночь молодцы-саперы укрепились — все шло для укреплений: и мерзлая земля и неприятельские трупы.

Стрелки уже заняли виноградники и розовые плантации деревни Шипки, и выбить их оттуда было не так-то легко.

Бой справа все разгорался сильнее и сильнее. Русские уже заняли курган Острицу. Гремели орудия.

Слева, у Иметли, строились боевые колонны Скобелева, как и тогда, 28 декабря 1877 года, строились около того самого кургана, на котором стоял Скобелев, руководя боем.

На этом самом кургане, осыпаемый гранатами, Скобелев отдал приказание:

— Если меня убьют — слушаться графа Келлера, он знает все!

Граф Келлер заступил в этот день место начальника штаба полковника А. Н. Куропаткина, раненного накануне на Иметлийском перевале.

Здесь Скобелев решил окружить Шейново кавалерией, взять его и отрезать отступление туркам.

Так и сделал.

Пока выброшенная под выстрелы горная артиллерия билась с шейновскими батареями, войска были выстроены в боевые линии, знамена развернуты, кавалерия Дохтурова брошена в обход Шейнова.

И сейчас, через 25 лет, я поражаюсь той же картиной, став на опушке шейновского леса.

Направо все поле у гор в дыму: турки сбивают Мирского с его позиций, переходят в наступление, но их снова отбрасывают, и снова они успешно атакуют курган Шишмицу.

Вот русские бросаются на курган, Вессель-паша принимает атаку и начинает отступать к самому большому кургану, где сосредоточивает войска. Дым, гул выстрелов.

Смотрю на гору св. Николая. Сегодня она безоблачна. Каменные громады Орлиного гнезда блестят на солнце.

Сегодня там никого нет.

А 25 лет назад, в этот самый час 28 декабря, там было страшное, кровавое дело.

С утра день был туманный. Облака скрыли горы. Радецкому все время не было видно, что творится внизу. А внизу творилось неладное: дела Мирского были плохи.

Радецкому оставалось одно: не допустить турецкие полки спуститься вниз, на помощь Весселю-паше — тогда дело русских окончательно бы погибло.

И старый боевой генерал не допустил этого. Он бросил в лоб туркам сверху свои войска и задержал турок.

Дорого это стоило орлам Орлиного гнезда.

Об этом мне рассказал полковник М. А. Надеин, тот самый Надеин, который, командуя охотниками и стрелками, десять раз бросался с верхней позиции на турок, в атаку.

— Был полдень. Мы тихо спускались по опасной круче в тумане,— говорил мне Надеин,— и бросились на турецкие окопы через глубокий ров. Гранаты из орудий с Девятиглазки и Вороньего гнезда разрывались среди нас. Мы шли по трупам. Турки били на выбор. Сзади надвигались новые колонны. Люди падали. Несколько раз мне приходилось бросаться в атаку. Почти никого не оставалось кругом... Трупами завалили ров, дорогу. А мы все наступали, все дрались. Занимали один окоп за другим, устилая трупами, уливая кровью. Но это было необходимо.

Да, эта жертва тысячи храбрецов была необходима.

Выбыло из строя в полчаса 1 700 человек!

Самое ужасное было отступление из взятых завалов вверх, опять под Орлиное гнездо.

Не успели успокоиться, как на Николае опять услыхали «ура». Испугались: думали, контратака.

Но на этот раз их ждала радостная весть: бежит мимо них казачий урядник и кричит, что Вессель-паша и все турки сдались. Это был урядник Абадзиев.

Теперь наверху никого не было. Там только предполагаемый бой: все равно, тогда были облака, и ничего бы снизу видно не было. Зато внизу, в долине, сражение кипело на громадном пространстве.

Слева скобелевцы двигаются под горячим огнем орудий и громами залпов на окопы Шейнова.

Турки начали отступать.

Вот мимо меня промчалась турецкая кавалерия.

Черной массой промчалась она мимо кургана Весселя-паши, мимо Шейнова, которое с другой стороны окружала кавалерия русская.

Но башибузуки в числе трех тысяч успели ранее русской кавалерии и, прорвавшись, умчались к Казанлыку.

Это единственное войско, спасшееся тогда от плена бегством.

Казакам это не удалось. Когда штурмовали Шейнов с севера, генерал Дохтуров с 1-м Донским казачьим полком обскакал Шейново наперерез бегущим к Казанлыку турецким войскам и ударил в шашки.

Донцы 1-го полка, в стремительной атаке изрубив несколько сот турок, взяли два знамени и шесть тысяч солдат в плен. И сейчас за Шейновом повторена была эта атака...

А скобелевцы налезают на окопы. Сзади меня в Шейнове загремели залпы — это выбивают турок из улиц и садов.

Вся долина в дыму, грохот непрерывный.

В самые серьезные минуты бывают курьезы: перед отступавшими турками выскочил заяц и помчался по полю. Это произвело временное оживление, кто-то даже бросился за ним бежать... Хохот... Веселье...

А черные турки все стягиваются к Весселю-паше.

Скобелевцы, взяв окопы с боя, много потеряв убитыми, идут с развернутыми знаменами под музыку, как на параде, по вспаханному полю... 25 лет назад они так же шли по снегу.

А Мирский с его измученными войсками в положении тяжелом, потеряно 2500 человек. Вессель-паша держится крепко, и слухи о подходе Сулеймана стоят упорно.

У Радецкого наверху слышны залпы: там тоже кипит дело.

А у Скобелева сквозь гром выстрелов слышна музыка, перерываемая время от времени «ура» атакующих.

В этом деле многие винили Скобелева за то, что будто бы он не поддержал вовремя Мирского и хотел приписать победу одному себе, что вел в атаку войска под музыку, как на параде.

Многие мне в глаза говорили это и теперь. А другие говорили, что если бы командиры отрядов поменялись, то победа была бы еще легче: Скобелев сумел бы справиться!

Как бы то ни было, что бы там ни говорили, а я скажу только одно: когда турки узнали наступающего Скобелева, они закричали:

— Ак[1] паша! Шайтан[2] паша! — и бросились бежать.

А Скобелев скакал уже через Шейново и, отдав приказание графу Келлеру, чтобы в деревне прекратили кровопролитие, остановился на опушке, у красного полумесяца.

В это время на самом большом кургане Вессель-паша выкинул белый флаг.

И теперь турки отступали к кургану, а белые русские и болгарские войска окружали их стальным кольцом.

Еще выстрелы гремели, как послышались звуки отбоя.

Последний акт великолепных маневров был кончен.

Начальники скакали по направлению к Вессель-кургану.

Я ехал с есаулом Абадзиевым, горевшим на солнце своей конвойской черкеской, увешанной десятками орденов, среди которых скромно виднелись и три георгиевских креста и блестело золотое оружие «за храбрость».

И много интересного рассказывает мне храбрец есаул, бывший во время всей прошлой кампании урядником-ординарцем Скобелева. Последний умел выбирать людей!

Когда белый флаг был выкинут, Скобелев со штабом и все командиры окружили Вессель-пашу. Он сдался.

А наверху, у Радецкого, еще слышались выстрелы.

Повторяю рассказ Абадзиева.

— Надо уведомить Радецкого! — сказал Скобелев и крикнул: — Абадзиев!

Я подъехал.

---

[1] Ак — белый.
[2] Шайтан — черт.

— Марш на Орлиное гнездо, передай Радецкому, что Вессель-паша сдался, и скажи там турецкому коменданту, чтобы он тоже сложил оружие, и передай ему, что если я через два с половиною часа не получу от него ответа, так все они у Магомета в раю будут.

Я повернулся и поскакал исполнять приказание.

Передо мной высились от самой подошвы покрытые снегом Балканы, голова св. Николая была закутана облаком. Не успел еще я доехать до Шипки, как за мной скачет адъютант и передает мне записку от Весселя-паши с приказанием сдаться для паши, коменданта шипкинских высот. Я спрятал записку и поскакал через Шипку, по дороге вверх.

Вскоре так стало круто, что я слез с коня и повел его в поводу. Я горец, но скажу, что идти было не легко... На половине горы меня остановили два черкеса, один взял коня, другой схватил меня. Я потребовал, чтобы меня вели к паше. Мы стали подниматься вверх, миновали цепь, шли мимо войск, которые мало обращали внимания на меня, одетого в бурку и папаху. Наконец, черкесы привели меня к землянке. Один вошел в нее, потом вышел и толкнул меня в дверь. Посередине стоял громадного роста паша. В углу сидел человек, оказавшийся потом переводчиком. Я дословно передал слова Скобелева и записку.

Этот громадный человек, прочтя записку, опустился на скамью, положил перед собой эту записку и, опершись на локти, горько заплакал...

Потом он встал, оправился и, пригласив меня следовать за собой, пошел из палатки. Не помню, как это вышло, но я схватил его рукой за шашку. Паша остановился, отстегнул шашку от пояса — я хорошо помню только одно, что он был подпоясан, — и отдал мне шашку, которую я взял в правую руку. Мы вышли. Паша подошел к брустверу, мы вошли в него. Под бруствером сидели и лежали солдаты и офицеры. Он им начал говорить, что приказано сдаться. Внизу, под нами, начался страшный гул голосов. Из-за бруствера высунулся до половины тела офицер с горящими глазами, страшным выражением и начал что-то дерзко возражать паше. Снизу ему вторили и гудели.

Жутко стало!

Паша сверкнул глазами, его за минуту грустное лицо блеснуло гневом, он быстро обернулся ко мне, и не успел я ничего сообразить, как он выхватил эту мою шашку из ножен, взмахнул ею, и дерзивший офицер покатился за бруствер с разрубленным черепом.

Сразу все смолкло.

Паша далеко отбросил мою шашку на снег, где она проложила кровавую полосу, и энергично отдал приказание.

Все успокоилось. Войска молча стали складывать оружие. Не знаю, как это вышло, но я взял в ножны мою шашку, снова подошел к паше и снова передал приказание Скобелева, прибавив, что я еще должен сообщить о сдаче Радецкому.

Паша молча показал мне рукой на верх горы, и я отправился пешком по дороге. Через несколько минут я был у Радецкого. Он сидел в землянке. Я передал ему о взятии Весселя-паши. Он сначала не верил, а потом спросил: «Где начальник штаба?»

Я выскочил из палатки и закричал начальнику штаба. Собрались офицеры... Вышел Радецкий. Радость была неописанная. «Ура» грянуло кругом. Я плохо соображал, что со мной, рассказывая мое происшествие с пашой-комендантом, а потом подал его шашку.

— Вот оружие паши!

Радецкий взял у меня эту шашку, подержал ее в руках, посмотрел и потом, возвратив мне ее, сказал:

— Молодой человек, — и купил меня Радецкий этим словом на всю жизнь, как отец, дорог он мне, — возьмите эту шашку себе, навряд ли повторится в жизни вашей такой случай, что паша при таких условиях отдаст свою шашку!..

Я, не помня себя, оставив шашку в чьих-то руках, бросился вниз уведомлять Скобелева. В турецких ложементах солдаты уже сложили оружие. Я разыскал в их лагере свою лошадь и поехал вниз. Навстречу мне поднимались с уведомлением к Радецкому Столетов и Хоранов.

— Раньше нас попал! — выругались мне вслед.

Я вернулся к Скобелеву, когда уже стемнело.

Внизу шло ликованье... А наверху, на заоблачных позициях, крутила метель, но сквозь свист и вой урагана слышалось радостное, могучее «ура» победителей.

Они знали, что теперь «На Шипке — все спокойно!»

* * *

Борцы за свободу! Я видел вас всюду: на вершине Орлиного гнезда с дымящимися винтовками в руках, видел коленопреклоненными со слезами на глазах на заоблачной панихиде у памятника горы св. Николая. Я видел, как вы мочили свои длинные седые запорожские усы в вине за обедом в день открытия памятника; я видел ваш железный строй на шейновском параде, и наконец, я видел вас кучками, идущими по горным дорогам к своим домам после шипкинских торжеств!

Спокойны и могучи эти богатыри, дети Орлиного гнезда, борцы за свободу!

Грудь каждого блестит орденами «за храбрость».

И между этими орденами почти у каждого имелись комитские медальки.

Это — знаки отличия, показывающие, что обладатели их 26 лет назад первые, еще до сербской войны, восстали против своих угнетателей турок и первые своей кровью купили освобождение родины.

Не будь их — и не было бы этого шипкинского памятника, не стеклось бы 15 сентября к подножию Балкан столько почетных гостей. А гости эти любуются старыми дружинниками, которые выстроились вокруг памятника-храма.

Все они помнят турецкое иго, зверства башибузуков, разоренные села свои, похищенных жен и дочерей, поруганную святыню...

Это люди, у которых была разбита жизнь, отнято все дорогое, близкое сердцу...

И этот гнет создал освобождение. И брал тогда каждый из них нож, привязывал на крест кусочек земли из-под развалин своего дома и шел в горы с одной целью: мстить за своих погибших, добывать свободу живущим!

Около каждого из них собирались такие же юнаки, выбирали воевод и дрались с врагом.

Западная Европа окрестила этих борцов за свободу разбойниками, турки — мятежниками...

Так звали тогда этих вестников свободы Болгарии...

Воеводы и юнаки мстили своим угнетателям за своих поруганных жен и дочерей.

Началось местью — кончилось освобождением.

И чем больше бесчинствовали турки, тем больше осиротевших юнаков уходило в горы, тем больше лилось крови.

Трудна была жизнь юнаков-мстителей и их отважных воевод!

Зимой, когда Балканы одеты снегами, юнаки скрывались по селениям и ждали благовещенского колокола. Вместе с первым его звуком оживали горы.

Я видел их в дыму, в пыли,
Как лезли на вершины,
Как стройно, как отважно шли
Их вольные дружины.
В крестах и ранах старики —
Герои дней далеких,
Движенья быстры и легки,
И на скалах высоких,
Среди туманной, белой мглы,
Вздымаясь по стремнинам,
Слетались горные орлы
На их гнезде Орлином...
Грохочут выстрелы вдали,
Вокруг в дыму долины...
Привет, привет вам, соль земли,
Геройские дружины!

* * *

Торжественна и задушевна была встреча русским гостям в Болгарии.

Проезжая Болгарию, я видел всюду задушевные встречи, я вглядывался в самые мелочи общего, захватывающего восторга народного.

И особенно радовались нам мужчины и женщины пожилые, которым памятен турецкий гнет и неистовства башибузуков.

Сколько искренних слез блестело на их старых лицах! Они помнят прошлые ужасы и смотрят на русских

гостей, как на людей, беззаветно проливавших свою кровь за их свободу. Как только они не выражали своего восторга!

Дети вторили им.

Молодежь с любопытством смотрела на невиданное зрелище, на невиданных ими людей, на которых им указывали как на героев, дравшихся за свободу Болгарии. Чем дальше — тем сильнее восторги.

За домашним очагом старики рассказывали молодежи и детям о бедах юности своей, воскрешали тяжелое прошлое и поселяли любовь к освободителям, братьям русским.

Не будь этих празднеств — умерли бы старики, и забыла бы молодежь, и не знали бы дети, как досталась им свобода их родины...

А теперь все поколения видели своих освободителей, видели любовь к ним своих отцов и матерей, поняли взаимную братскую любовь.

Всею душой принимал нас народ болгарский, всем сердцем!

И русские гости остались довольны сердечным приемом, искренней любовью народа болгарского...

Через день мы отправились в Россию.

На обратном пути те же душевные проводы, как и встречи, те же шпалеры народа около триумфальных арок из зелени с надписью «Освободителям»...

Наши коляски буквально забрасывали цветами, венками, фруктами, совали в руки корзины с виноградом и со слезами прощались при остановках...

Прощайте, заоблачные Балканы, прощай, Болгария, симпатичная и многострадальная Македония!..

ПРИМЕЧАНИЯ

МОСКВА ГАЗЕТНАЯ

Над книгой автор работал с перерывами десять лет. Опыт своей репортерской работы В. А. Гиляровский впервые пытается обобщить в очерке «Московские газеты в 80-х годах», написанном в 1925 г. Затем газетной работе он посвящает главу «Репортерство» в книге «Мои скитания» (М., «Федерация», 1928 г.). С 1928 г. он постоянно работает над «Москвой газетной» и параллельно над книгами «Люди театра», «Друзья и встречи». В 1934 г. «Москва газетная» была закончена автором, как третья часть его автобиографической трилогии. «Москва газетная» публикуется впервые.

Стр. 15. *«Московские ведомости»* (1756—1917). С 1863 г., когда редактором газеты становится М. Н. Катков, она принимает реакционное направление, которое сохранилось до конца существования газеты.

«Русские ведомости» (1863—1918) выражали интересы либеральных помещиков и буржуазии. К середине 70-х годов «Русские ведомости» пользуются наибольшим влиянием среди русской периодики. В 80-х годах в ней сотрудничают многие демократические писатели и эмигранты-народники. С 1905 года «Русские ведомости» становятся органом правых кадетов.

«Русский вестник» (1856—1906). Журнал литературный и политический. До 1861 г. «Русский вестник» — умеренно-либеральный орган, а к 1861 г. он становится во главе лагеря реакции.

«Русская мысль» (1880—1918). Журнал научный, литературный и политический. Вначале носил славянофильский характер. С приходом В. А. Гольцева, М. Н. Ремезова, и других — орган буржуазного либерализма. В 80-х, 90-х и начале 900-х годов в ней печатались произведения крупных русских реалистов, демократических писателей. После революции 1905—1907 гг. «Русская мысль» — орган правого крыла кадетской партии.

«Русь» (1880—1886). Газета славянофильского направления, примыкавший к официальному политическому курсу.

Стр. 16. *«Современные известия»* (1867—1887). Газета политическая, общественная, литературная, художественная. Поддерживала правительственный курс.

«Русский курьер» (1879—1889). Газета общественная и политическая. Либерально-буржуазный орган.

«Московский листок» (1881—1918). Орган бульварной прессы, рассчитанный на обывателя.

Стр. 17. *«Будильник»* (1865—1917). Издавался в 1865—1871 гг. в Петербурге, в 1873—1917 гг. — в Москве. Сатирический журнал. До 70-х годов — демократическое издание. В 70-х годах «Будильник» становится безыдейным юмористическим изданием.

«Развлечение» (1859—1918). Журнал литературный и юмористический. С середины 60-х годов стал малосодержательным и вполне благонамеренным.

«Зритель» (1881—1885). Литературный, художественный и юмористический журнал. Либеральное издание.

Стр. 22. *«Вестник Европы»* (1866—1918). Журнал историко-политических наук. Орган умеренного буржуазного либерализма.

Стр. 28. *«Новости»* (1871—1880). Общественно-политическое издание, орган крупных промышленников.

Стр. 47. *«Донская речь»* (1887—1908). Издавалась в Новочеркасске. Газета политико-общественная и литературная. Либерально-буржуазного направления.

Стр. 48. *«Петербургский листок»* (1864—1917). Газета городской жизни и литературы, много раз меняла направление. В основном безыдейное издание, либо не имеющее определенного политического лица, либо поддерживающее официальный курс.

Стр. 72. *«Русская газета»* (1877—1882). Политико-общественная, экономическая и литературная газета. Монархическое издание.

Стр. 81. «*Московский телеграф*» (1881—1883). Газета политическая и литературная. Либерально-буржуазный орган.

Стр. 82. «*Новое время*» (1868—1917). Газета политическая и литературная. Поддерживала правительственный курс.

Стр. 83. «*Земство*» (1880—1882). В издании принимали участие умеренные либералы и славянофилы. Газета печатала статьи,в которых приводились факты обнищания крестьянства, упадка сельского хозяйства, за что получала цензурные предостережения.

Стр. 88. «*Новости дня*» (1883—1906). С 1885 г. политическая, общественная и литературная газета. Буржуазный орган.

Стр. 91. «*Исторический вестник*» (1880—1917). Историко-литературный журнал. Консервативно-монархическое издание.

Стр. 93. «*Голос Москвы*» (1885—1886). Политическая, литературная и экономическая газета, близкая по своему направлению к «Московским ведомостям».

Стр. 104. «*Гусляр*» (1889—1890). Иллюстрированный журнал.

Стр. 112. «*Нижегородская почта*» (1884—1903). Газета политико-общественная и литературная, издавалась во время ярмарки в Нижнем Новгороде. Защищала интересы торгово-промышленных фирм.

Стр. 134. «*Полицейские ведомости*» — см. «Ведомости московской городской полиции».

Стр. 151. «*Ведомости московской городской полиции*» (1848—1917). Официальное издание.

Стр. 154. «*Московские губернские ведомости*» (1838—1917). Газета официального характера.

Стр. 155. «*Свет и тени*» (1878—1884). Еженедельный иллюстрированный журнал, помещавший и карикатуры, рассчитанный на мелкобуржуазную и чиновничью среду.

Стр. 157. «*Курьер*» (1897—1904). Политическая и литературная газета демократического направления.

«*Русский листок*» (1890—1907). Политико-общественная и литературная газета реакционного направления.

«*Русское слово*» (1895—1918). С 1897 г. газета перешла в собственность издательства И. Д. Сытина. Широко публиковала информацию о России и зарубежных странах. В ней участвовали лучшие литературные силы.

Стр. 167. «*Осколки*» (1881—1916). Художественно-литературный и юмористический журнал с карикатурами.

Стр. 171. «*Москва*» (1882—1883). Литературно-художественный журнал, рассчитанный на демократического читателя. С 1884 по 1886 г. назывался «Волна».

Стр. 180. «*Родина*» (1879—1883). Журнал издавался для семейного чтения.

Стр. 190. «*Искра*» (1900—1903). Первая общерусская нелегальная марксистская газета. Основана по инициативе В. И. Ленина.

Стр. 196. «*Искры*» (1901—1917). Иллюстрированное приложение к газете «Русское слово».

«*Русское богатство*» (1876—1918). В 80-х и 90-х годах — орган либерального народничества. В эти годы журнал пользовался успехом в среде интеллигенции, что в значительной мере объяснялось хорошей постановкой отдела беллетристики.

«*Россия*» (1899—1902). Орган буржуазного либерализма. Газета была закрыта после опубликования в ней фельетона А. Амфитеатрова «Господа Обмановы», в котором давалась в завуалированной форме ироническая характеристика царской семьи.

Стр 199. «*Детское чтение*» (1869—1893, 1894—1906). Журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Вокруг «Детского чтения» объединялись прогрессивные педагоги того времени.

Стр. 202. «*Отечественные записки*» (1818—1884). Энциклопедический журнал. «Отечественные записки» объединяли передовые, демократические силы России на основе решительной борьбы против всяких остатков крепостничества во всех сферах экономики, политики, идеологии.

Стр. 217. «*Вокруг света*» (1885—1917). Журнал путешествий и приключений на суше и на море. Популярное издание для семейного чтения.

Стр. 224. «*Жизнь*» (1885). Вышло 239 номеров. Газета политическая и литературная. Либерально-народнический орган.

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

Стр. 287. *Прокормиться бы*. Рассказ впервые напечатан в «Новостях дня» за 1883 г., № 90.

Стр. 291. *Беглый*. Печатается по тексту сборника рассказов «Были». Датирован автором 1887 г.

Стр. 296. *На плотах*. Рассказ написан в 1888 г. В. Г. Короленко, проезжая через Москву и Петербург, взял его у

В. А. Гиляровского и передал в журнал «Северный вестник» А. Н. Плещееву. Последний 2 июля 1888 г. пишет А. П. Чехову: «Я прочел — и... принял» (Р. О. Л. биб. Ф. 331, п. 55, 44 б). 10 марта 1889 г. А. П. Чехов пишет А. М. Евреиновой, редактору-издателю «Северного вестника»: «У Вас имеется рассказ Гиляровского о том, как плоты идут. Теперь самое время пускать его» (*А. П. Чехов*. Соч., т. 14, стр. 329). В «Северном вестнике» рассказ не был напечатан. Впервые он был опубликован в «Русских ведомостях» (1892 г., № 98) под названием «Плотовщики». В 1900 г. В. А. Гиляровский включил его в сборник рассказов «Негативы», а в 1909 г.— в сборник «Были». Печатается по тексту сборника «Были».

Стр. 309. *Воля покойного.* Датирован автором 1896 г. Печатается по тексту сборника «Были».

Стр. 316. *Преступление.* Впервые напечатан в газете «Россия» (1899 г., № 53). Рассказ носит автобиографический характер. Печатается по сборнику «Были».

Стр. 321. *В огне.* Печатается по сборнику рассказов «Негативы» (М., 1900 г.).

Стр. 327. *Правое дело.* Впервые рассказ был напечатан в «Русском слове» (1903 г., № 10) и назывался «Божье дело» с подзаголовком «Из македонских мотивов». В 1909 г. был перепечатан в «Былях». Готовя в 1935 г. собрание своих сочинений, В. А. Гиляровский дал название рассказу «Правое дело». Рассказ печатается в последней редакции.

Стр. 339. *В вихре.* Впервые опубликован в сборнике «Литературные вечера» (М., 1907 г., стр. 87—89).

«В вихре» впервые публиковался с подзаголовком «Из воспоминаний репортера». В архиве писателя имеется экземпляр сборника «Литературные вечера» и гранки рассказа с авторскими пометками, указывающими название станций (чего, как видно, нет в тексте), встречавшихся на пути поезда, в котором Ухтомский вывозил дружинников: Перово, Люберцы, Раменское. В гранках, кроме того, автор вместо фразы «Впереди дымились трубы», напечатанной в сборнике, пишет: «Впереди высились бездымные трубы бастовавшей фабрики» — и поставлена дата, прямо указывающая на время описываемых событий,— 1905 год. В. А. Гиляровский проявляет живейший интерес ко всему, что было связано с событиями 1905 г., но особенно его интересовало то, что непосредственно касалось Ухтомского. В декабре 1905 г. он делает в своем дневнике большую запись

о карательной экспедиции Римана, следовавшей по пути Ухтомского. Запись сделана со слов проводника одного из вагонов состава поезда Римана Голубева Тимофея Васильевича. Содержание рассказа «В вихре» и изложенные факты позволяют предположить, что В. А. Гиляровский был близко связан с казанскими железнодорожниками и проделал вместе с Ухтомским и дружинниками весь их путь, отразив этот факт в данном рассказе.

Рассказ «В вихре» был напечатан в сборнике «Были» в несколько измененном виде, под названием «Ураган» и датирован 1900—1909 гг. В настоящем издании печатается в первой редакции.

Стр. 341. *Песня.* Рассказ впервые опубликован в «Русском слове» 30 августа 1908 г. в связи с 80-летием Л. Н. Толстого. На титульном листе книги В. А. Гиляровского «Были», подаренной автором Л. Н. Толстому, есть надпись: «Дорогой Лев Николаевич! 28 августа я хотел послать Вам телеграмму — и не послал. Сел писать Вам письмо: вышел рассказ «Песня» («Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне», изд-во «Советская Россия». М., 1958 г., стр. 161). Рассказ печатается по тексту сборника «Были» (М., 1909 г.).

Стр. 344. *Ваня Кузнец.* Рассказ печатается по рукописи. Датирован автором 1915 г.

Стр. 350. *Суслик.* Написан под впечатлением спора о сказке. На страницах еженедельника литературы и искусства «Читатель и писатель» в мае 1928 г. развернулась дискуссия о праве сказки как жанра на существование. Итог дискуссии подвел профессор Ю. М. Соколов, который утверждал, что сказка «будет жить, как жила сотни и тысячи лет». Многочисленные пометки В. А. Гиляровского на полях этой статьи («Читатель и писатель», № 18, 6 мая 1928 г.) говорят о том, что он был согласен с мнением Ю. М. Соколова. Как бы подтверждая его мысль, В. А. Гиляровский создает рассказ «Суслик».

Стр. 376. Очерк «*По следам Гоголя*» В. А. Гиляровский подготовил к печати в марте 1934 г. Написан он на основе материалов, собранных писателем во время его поездок на Украину в конце XIX—начале XX в.

С 1899 г. Москва начала готовиться к предстоящему столетию со дня рождения Н. В. Гоголя. К этому времени у биографов писателя еще были расхождения в определении точной даты и места рождения Н. В. Гоголя. В. А. Гиляровский, очень лю-

бивший Н. В. Гоголя-писателя, в январе 1899 г. отправляется на Украину и, найдя в селе Большие Сорочинцы метрическую книгу за 1809 г., уточняет дату и место рождения Н. В. Гоголя. Описание этой поездки он помещает в «Русской мысли» за февраль 1900 г.

Осенью 1900 г. В. А. Гиляровский еще дважды съездил на Украину. В эту поездку он ставил своей целью повидать оставшихся в живых современников Н. В. Гоголя и записать те сведения, которые они могли ему сообщить.

Вернувшись, В. А. Гиляровский сделал о результатах поездки доклад в Обществе любителей российской словесности. В 1902 г. доклад был издан полностью отдельной книгой — «На родине Гоголя». В том же 1902 г. в «Русской мысли» В. А. Гиляровский напечатал статью «В Гоголевщине», являющуюся частью книги «На родине Гоголя».

Стр. 401. Очерк *«Шипка»* написан в 1934 г. В основу его легли материалы, собранные писателем в 1902 г. во время шипкинских торжеств.

В сентябре 1902 г. В. А. Гиляровский как участник русско-турецкой войны 1877 г. и корреспондент «Русского слова» едет на крейсере «Петербург» в Болгарию на торжественные празднования 25-летия шипкинских боев.

Вернувшись из поездки, В. А. Гиляровский в 1902 г. выпустил книжку «Шипка прежде и теперь». В 1934 г. он ее переработал в очерк «Шипка», сделав ряд добавлений из дневников и записных книжек.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы и очерки

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ГИЛЯРОВСКИЙ

Избранное, т. II

* * *

Редактор В. Фирсов.

Художник П. Зубченков.

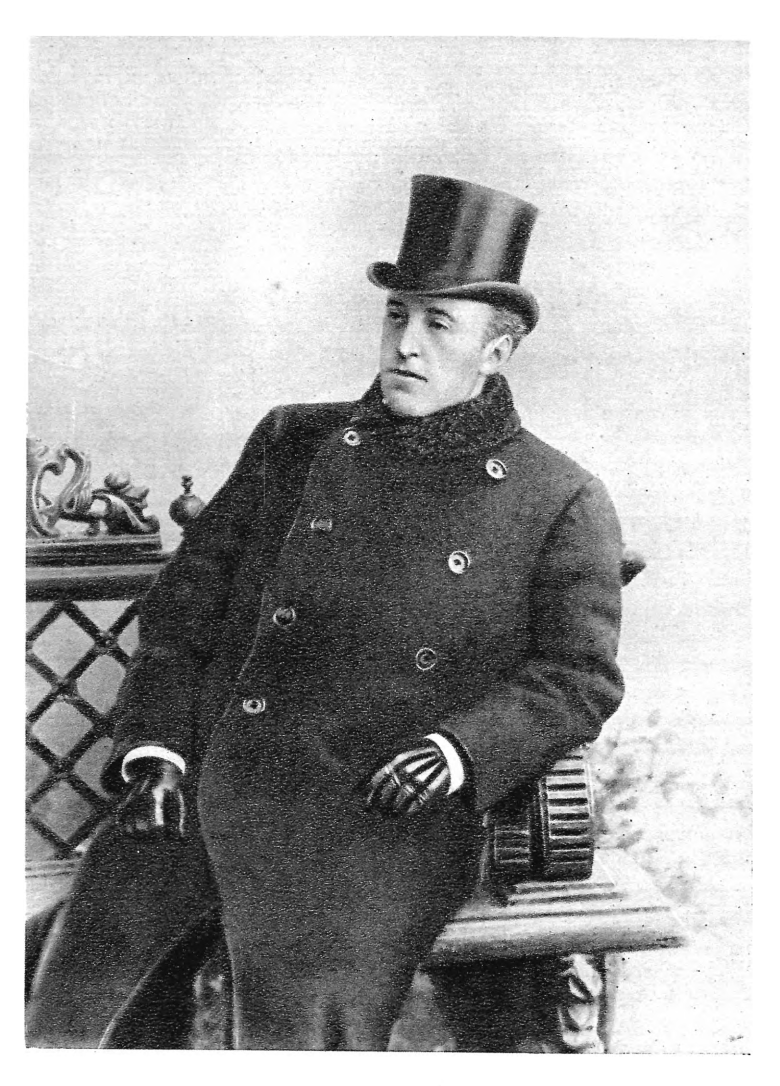
Техн. редактор М. Шлык.

* * *

Издательство «Московский рабочий», Москва, проезд Владимирова, 6

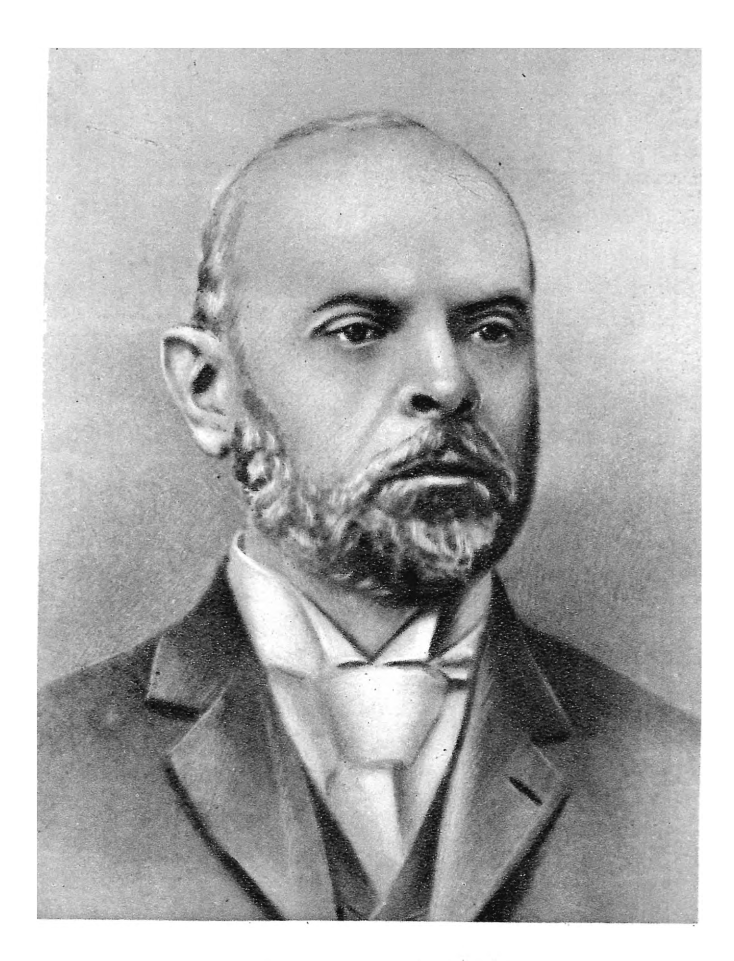
Л 52082. Подписано к печати с матриц 5/IX 1961 г. Формат бумаги 84 × 108 1/32.
Бум. л. 6,75. Печ. л. 22,14. Уч.-изд. л. 20,21. Тираж 150 000 (75 001—150 000).
Цена 90 коп. Зак. 2908.

Набрано в 1-й типографии Трансжелдориздата МПС,
Москва, Б. Переяславская, 46.
Отпечатано в типографии «Красный пролетарий» Госполитиздата
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.



Николай Петрович Пашенный

К очерку «Редакторы».



Василий Михайлович Соболевский

К очерку «Русские ведомости».



«Корреспондент с Хитровки»

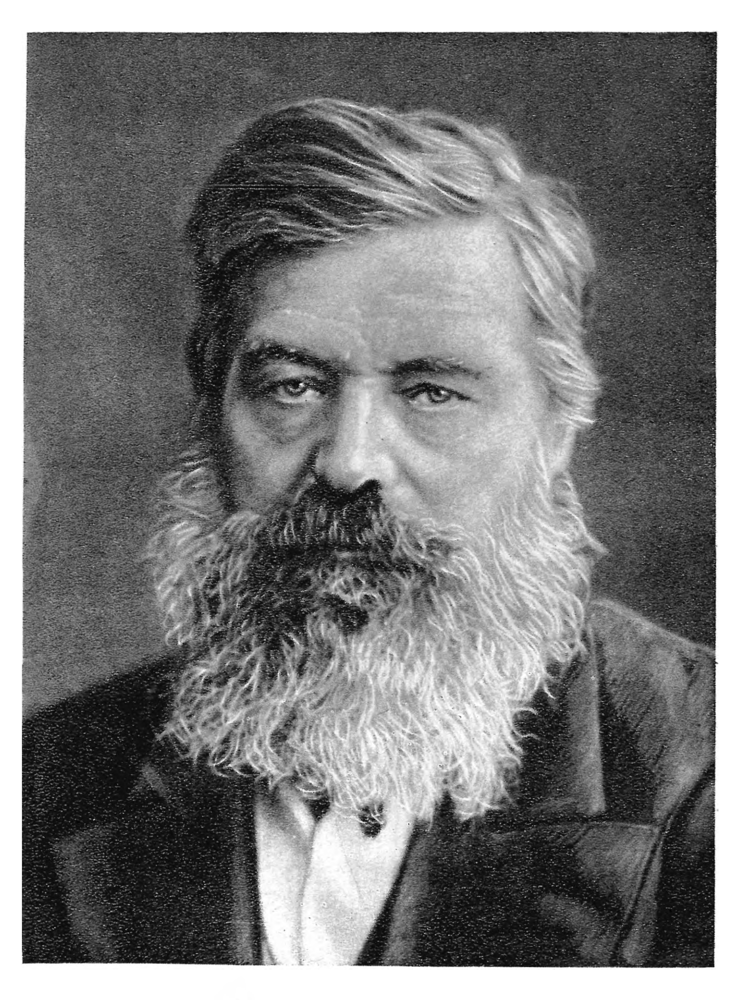
К очерку «Русская газета».

Ходынка

К очерку «Русская газета».

Московские нищие

К очерку «Русская газета».



Николай Петрович Гиляров-Платонов

К очерку «Современные известия».



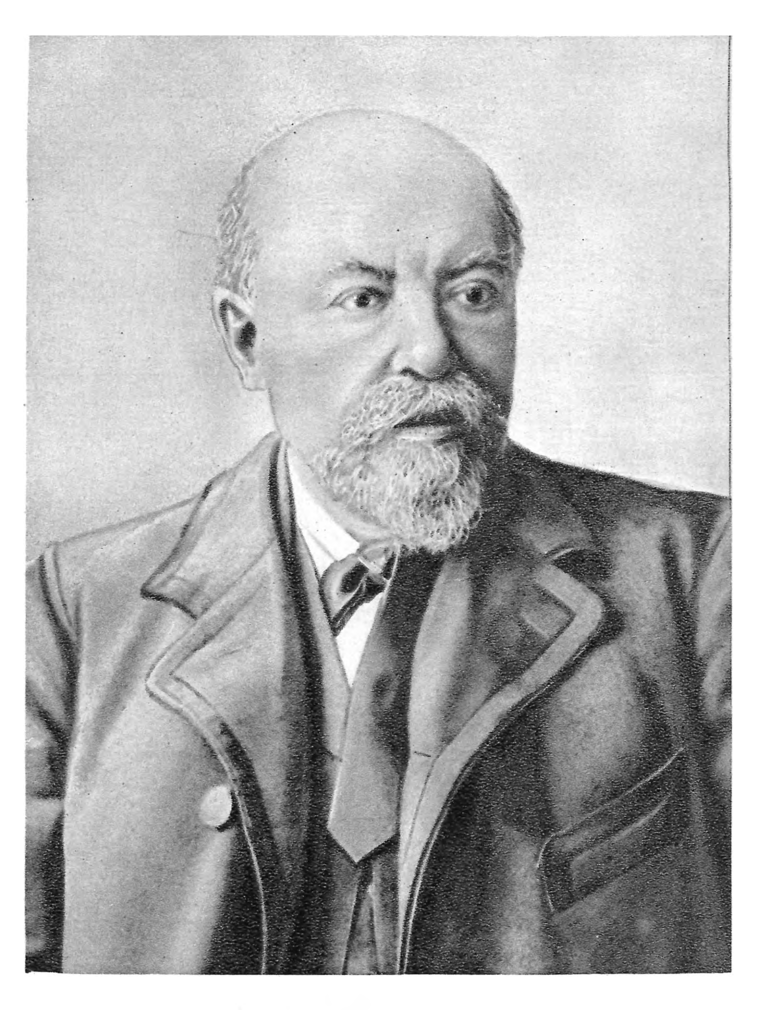
Виктор Александрович Гольцев

К очерку «Русский курьер».



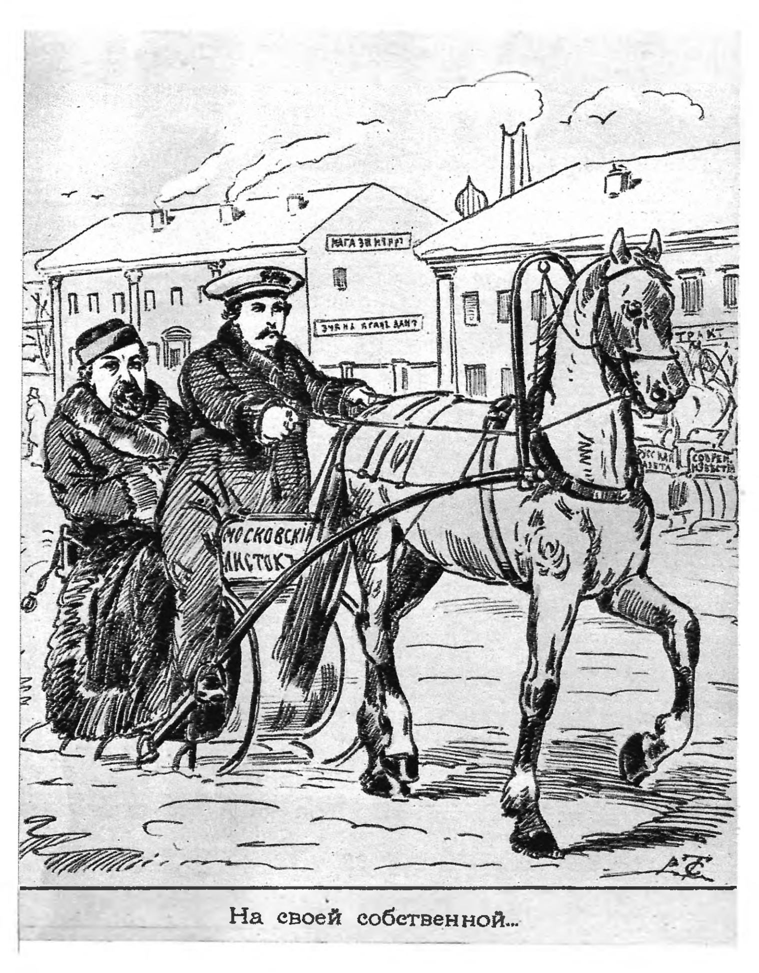
Дом, где находилась редакция газеты «Новости дня»

К очерку «Новости дня»



Николай Иванович Пастухов

К очерку «Московский листок».



На своей собственной...

Карикатура на Н. И. Пастухова

К очерку «Московский листок».



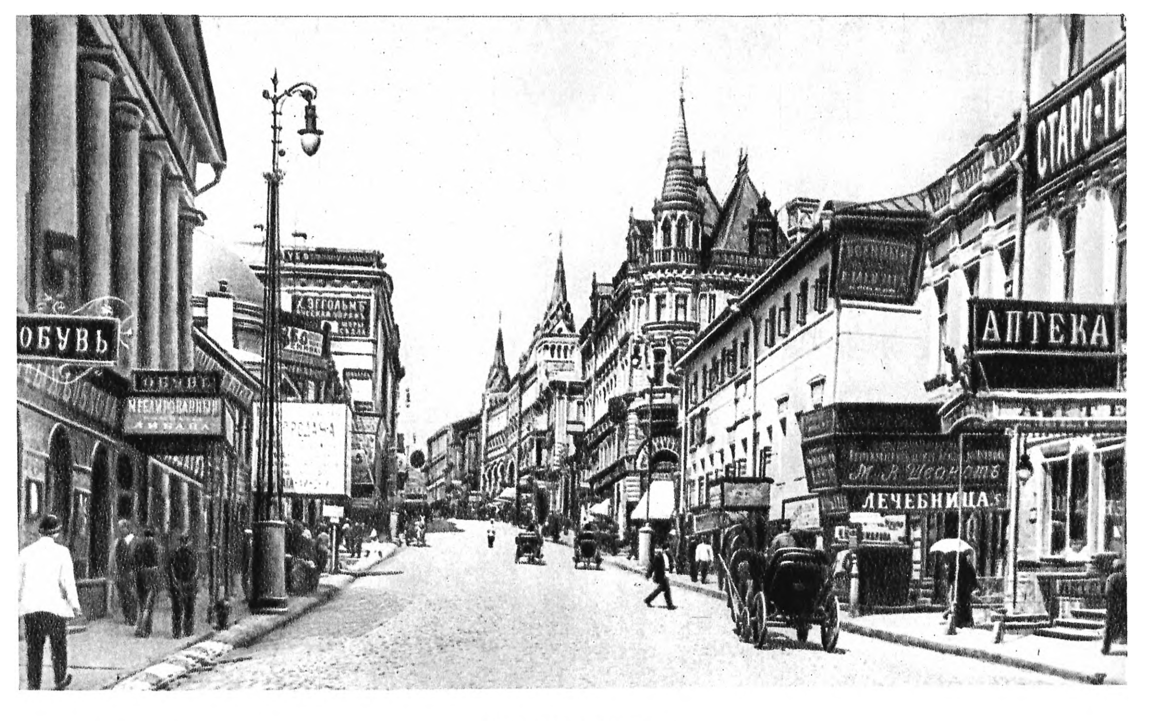
Московская улица

К очерку «Московский листок».



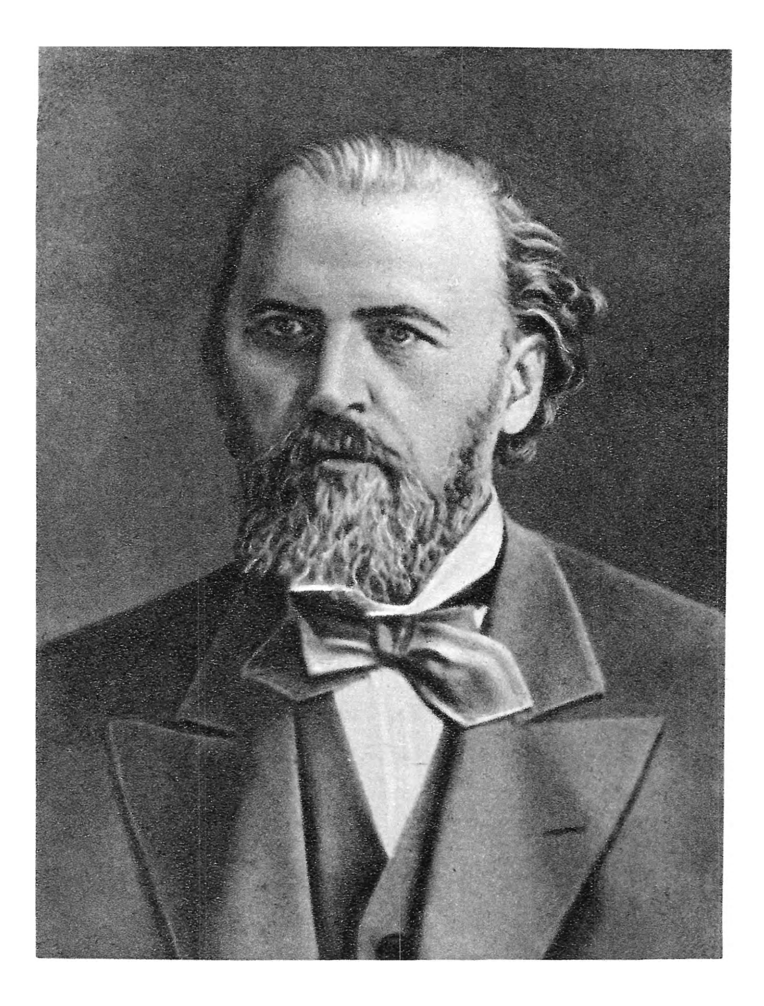
Охотнорядская площадь

К очерку «Московский листок».



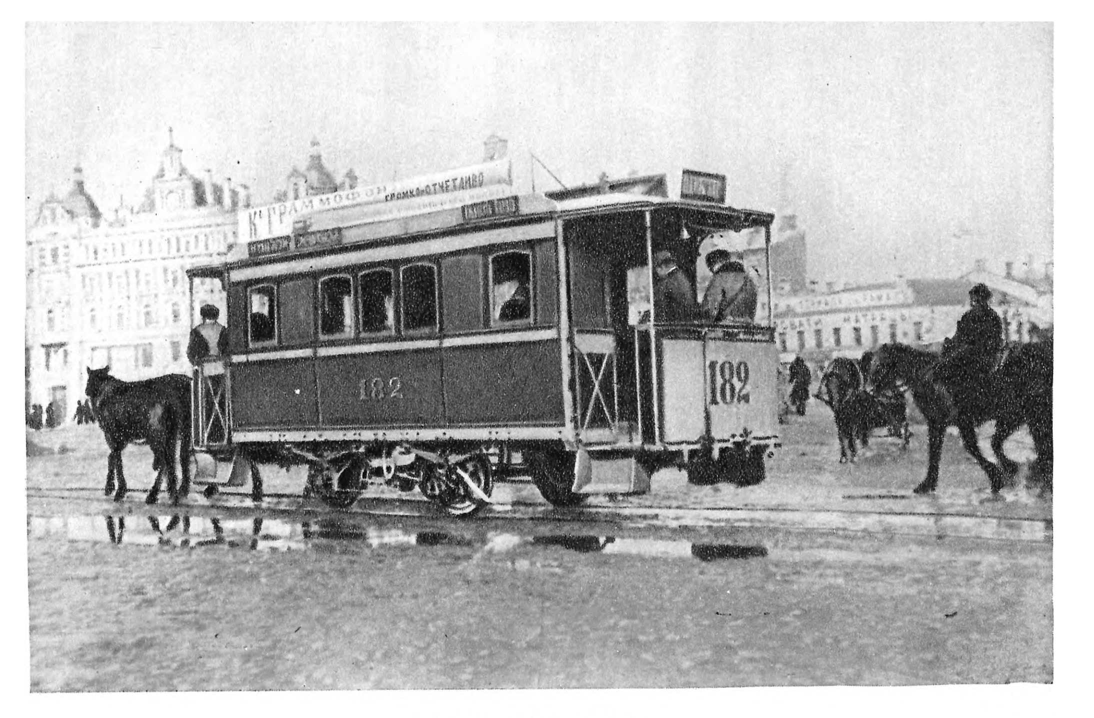
Тверская улица

К очерку «Московский листок».



Яков Петрович Полонский

К очерку «Московский листок».



Московская конка

К очерку «Московский листок».

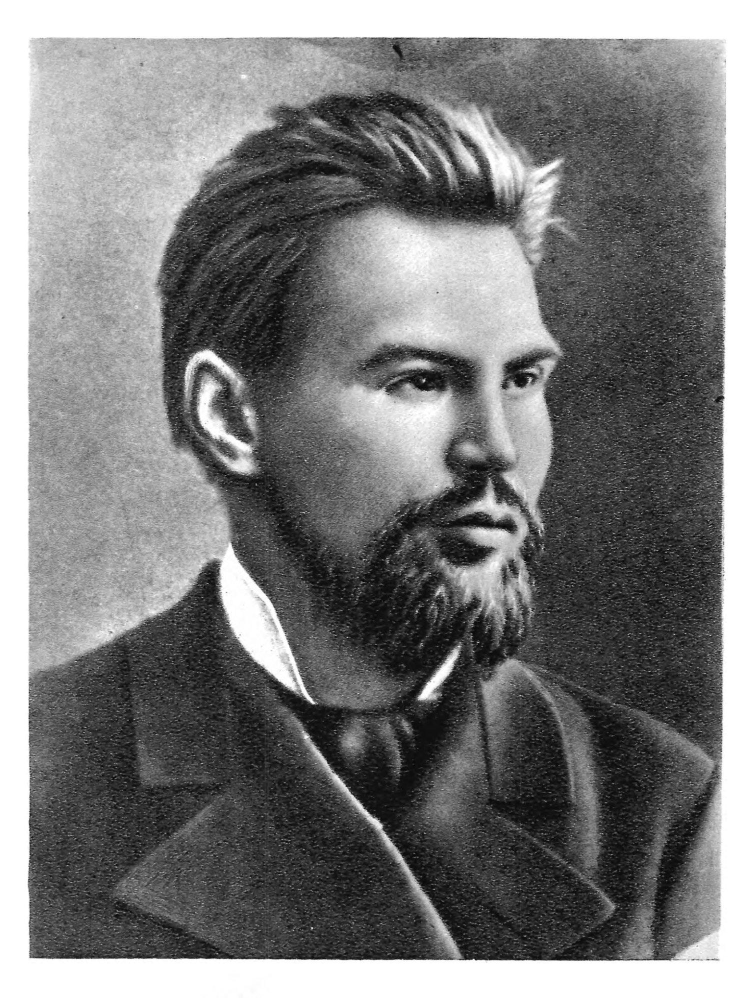


Московский романист Иван Иванович Мясницкий

К очерку «Московский листок».

Плоты на Москве-реке

К очерку «Московский листок».



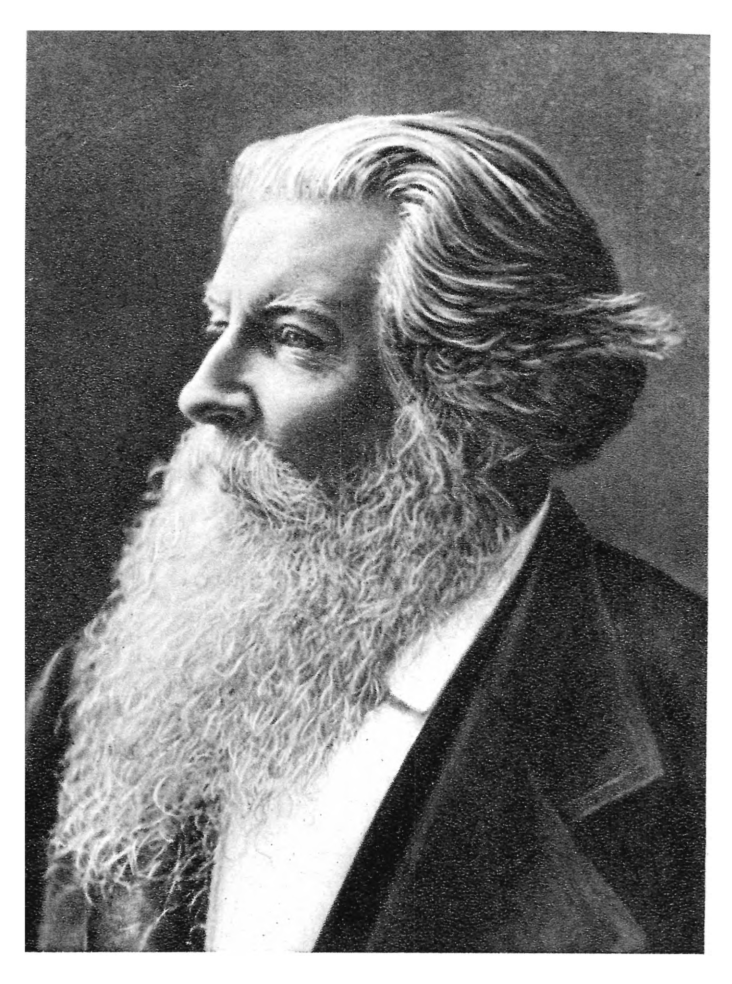
Михаил Михайлович Чемоданов, художник-сатирик московских журналов

К очерку «Зритель».



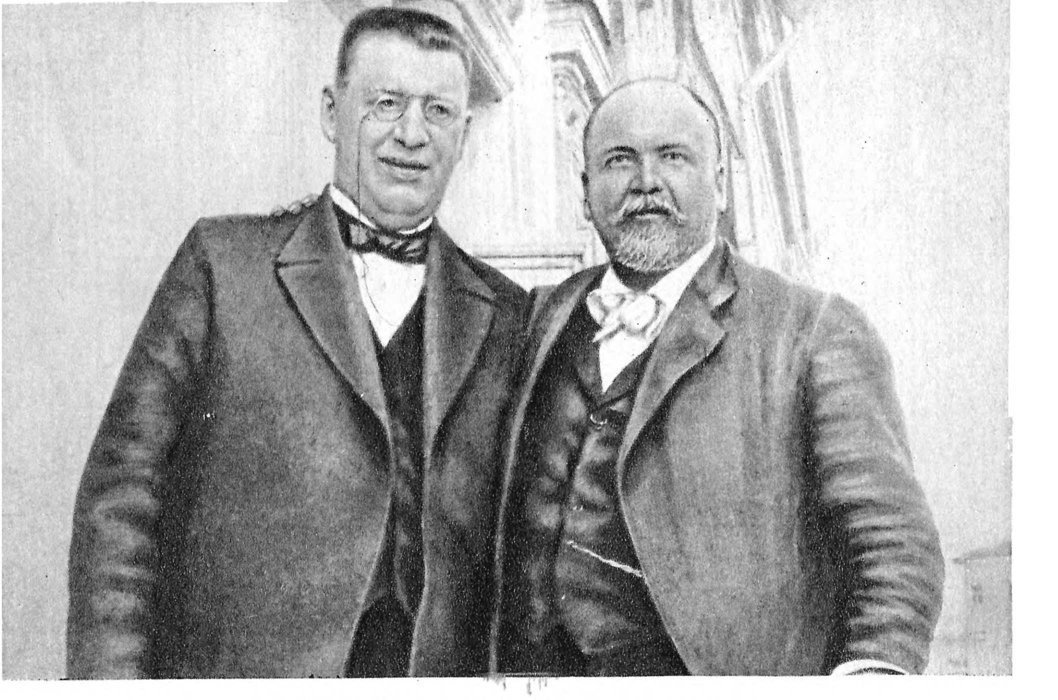
Яков Петрович Фейгин

К очерку «Курьер»



Дмитрий Иванович Тихомиров

К очерку «Детское чтение»



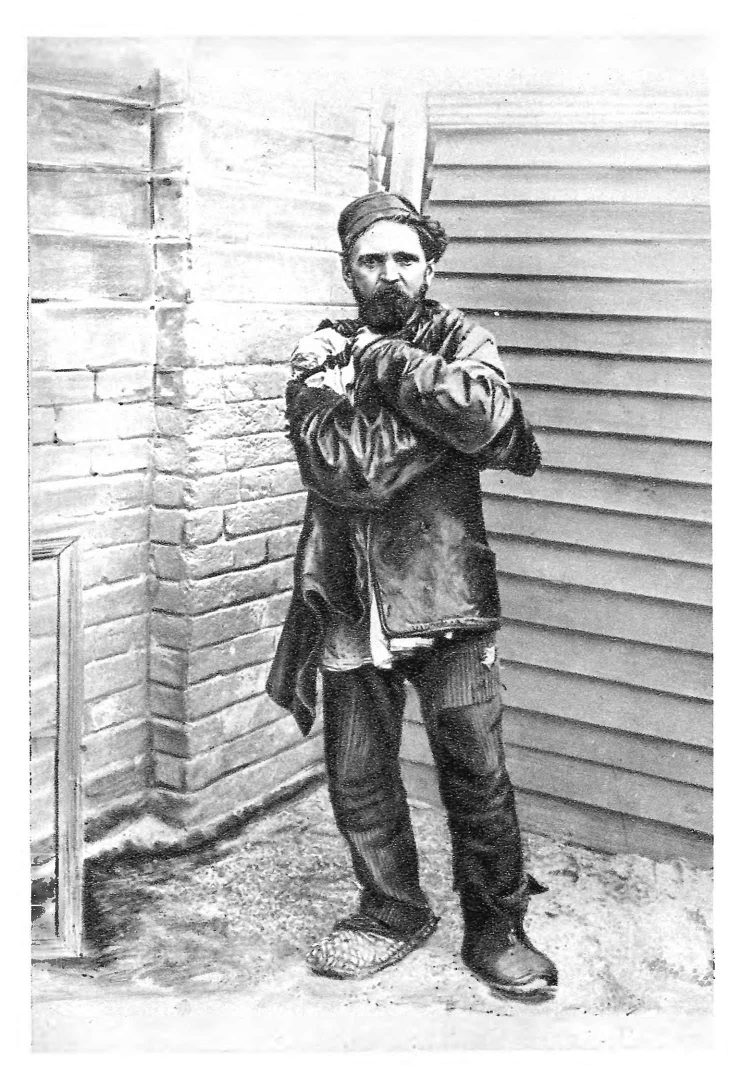
В. М. Дорошевич и В. А. Гиляровский

К очерку «Русское слово»



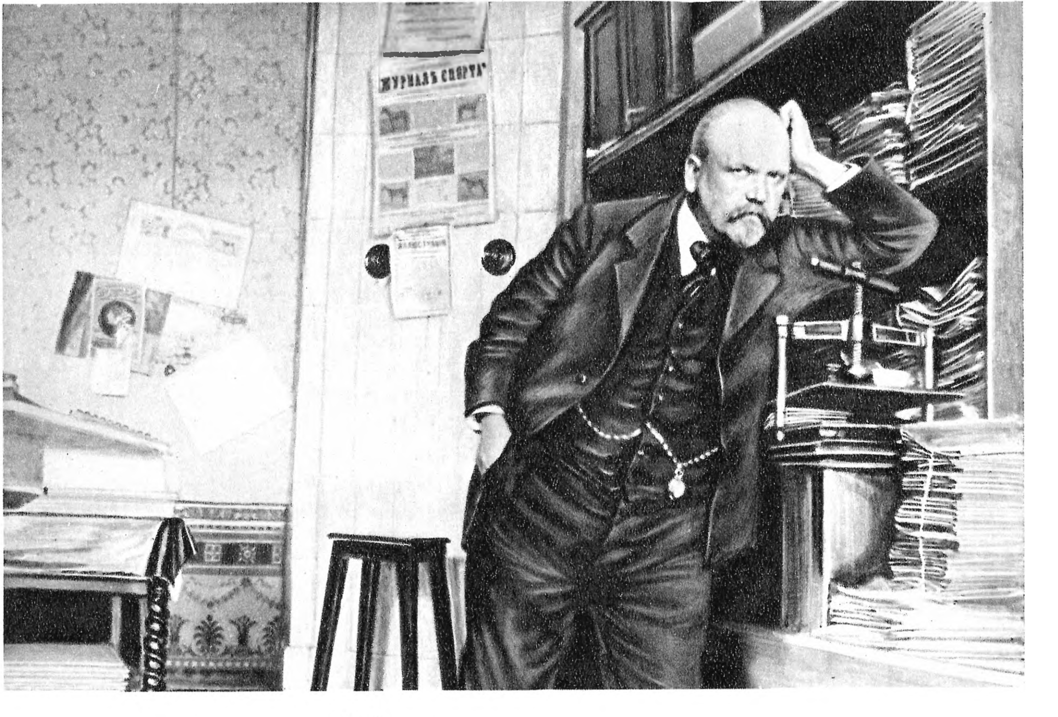
Московский трактир

К очерку «Атаман Буря».



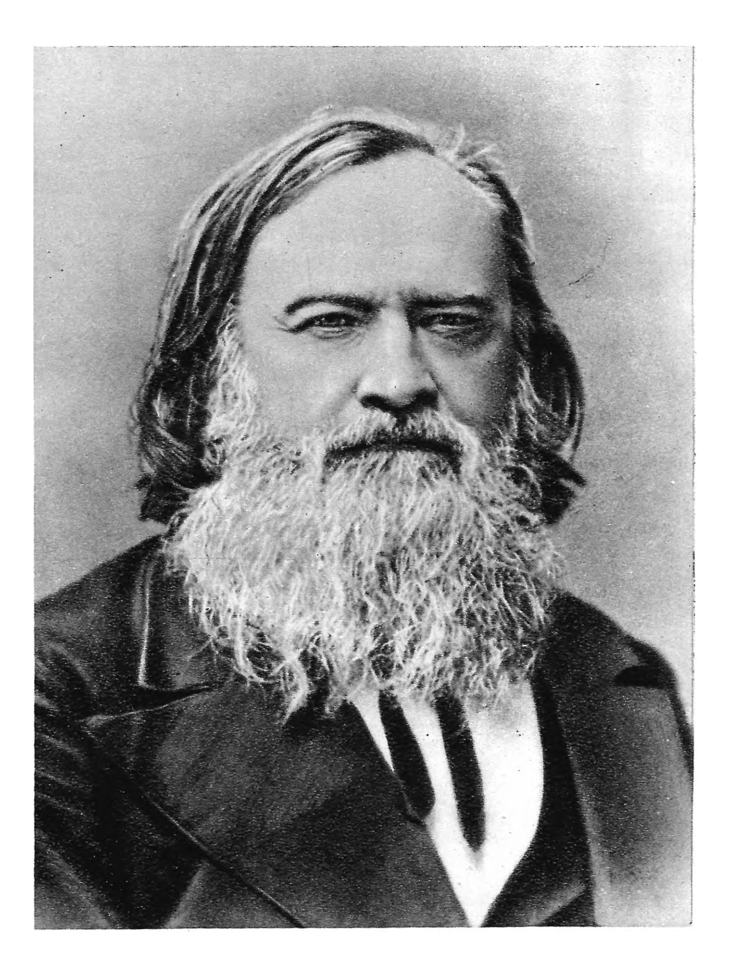
Обитатель Хитровки

К очерку «Атаман Буря»



В. А. Гиляровский в 900-х годах

К очерку «Нечто о старом».



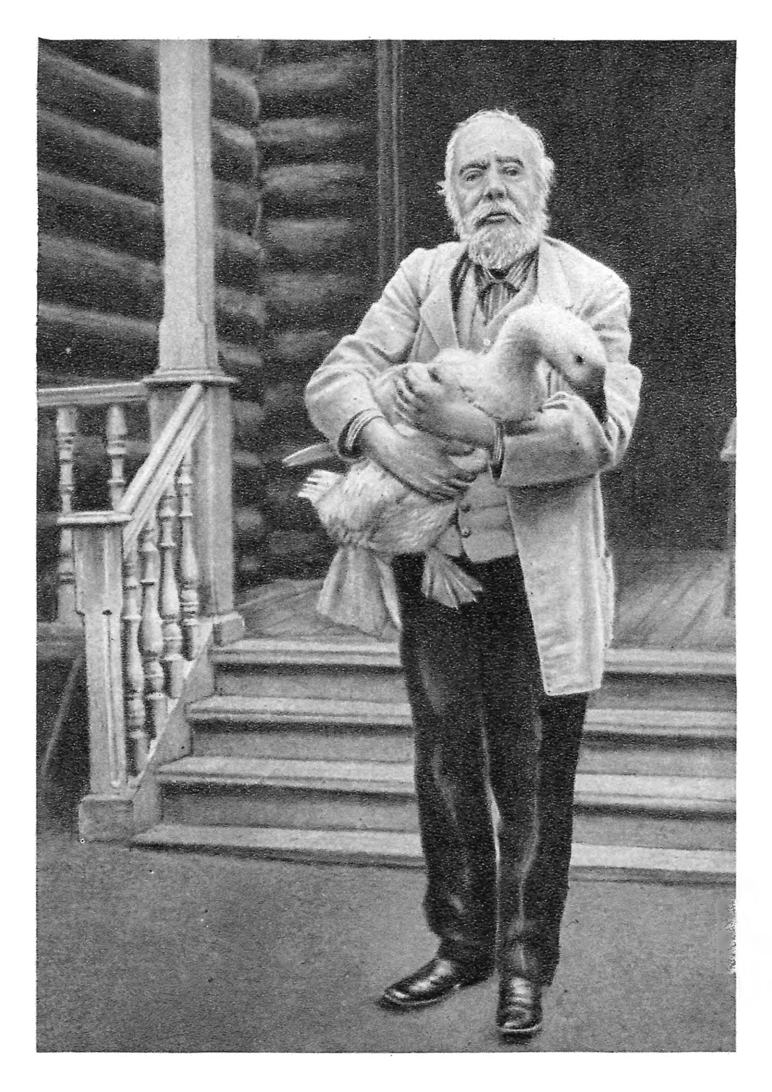
Сергей Андреевич Юрьев

К очерку «Русская мысль»



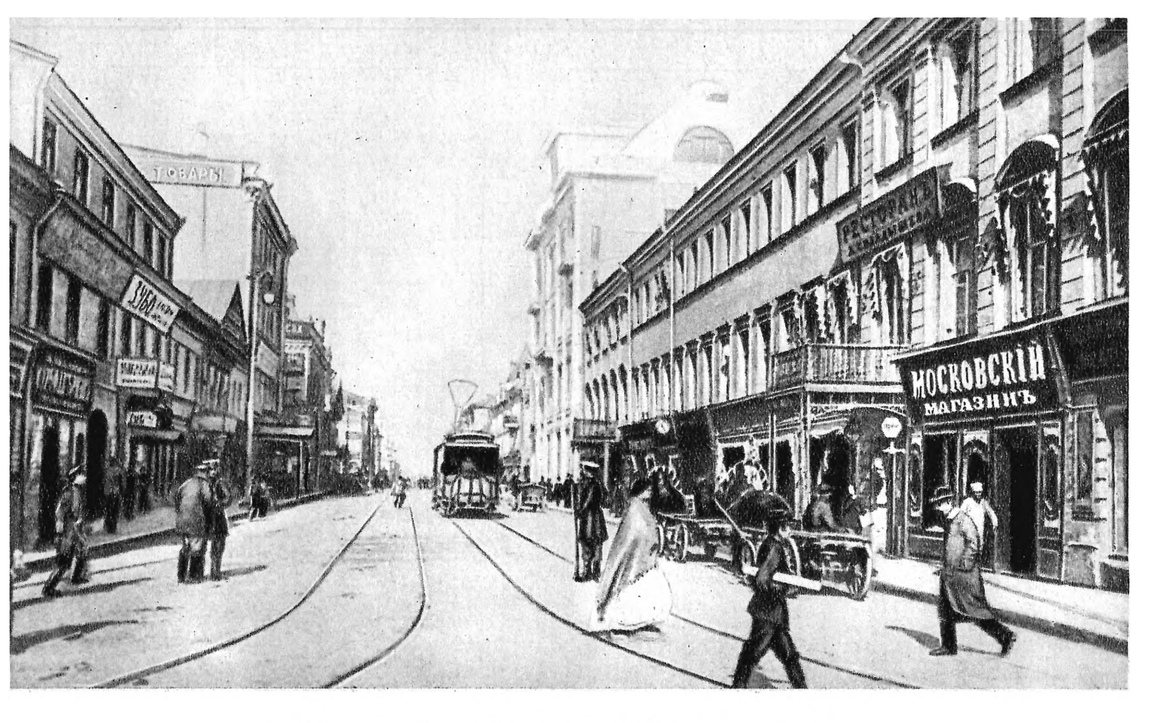
Дом Лавровых в Малеевке

К очерку «Русская мысль».



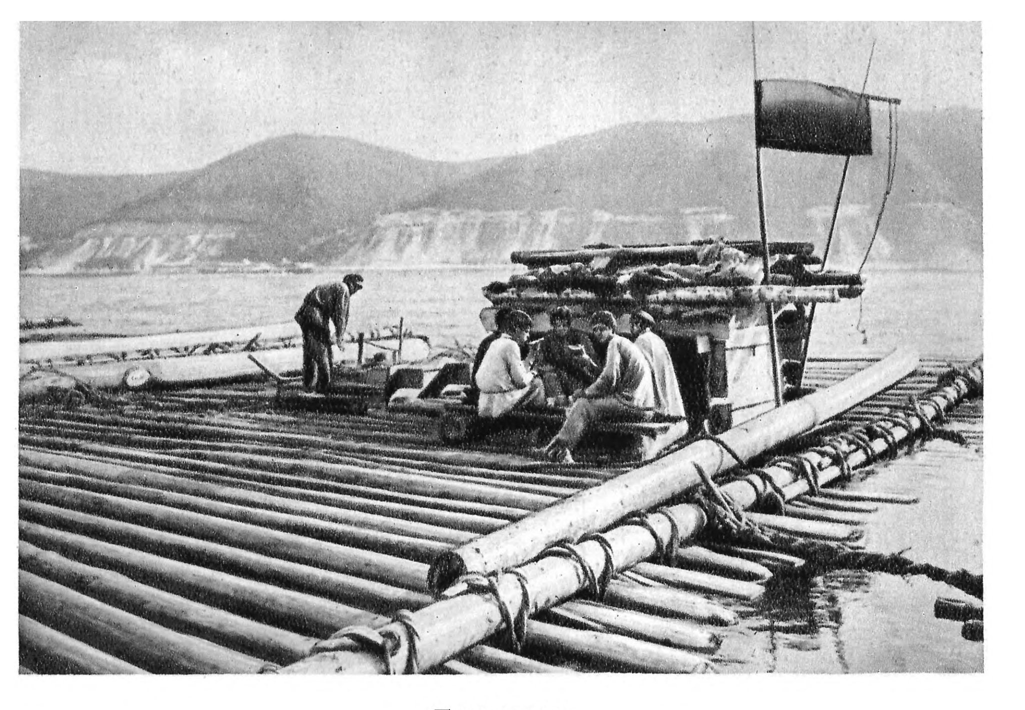
Вукол Михайлович Лавров

К очерку «Русская мысль»



Дом, где находилась редакция «Русского слова»

К очерку «Русское слово».



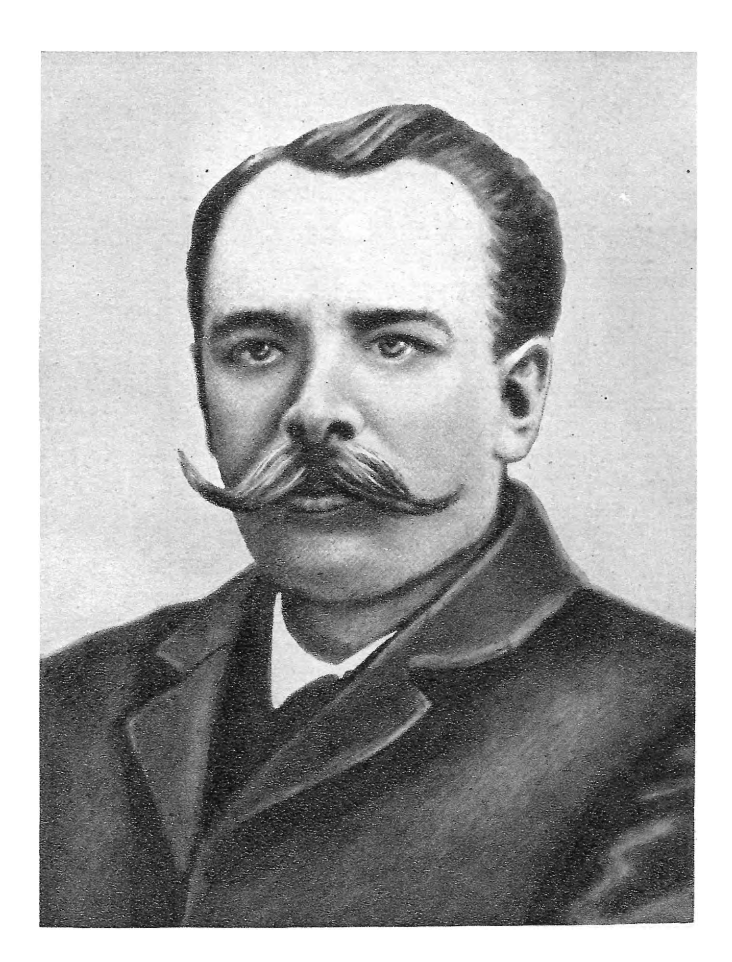
Плотовщики

К рассказу «На плотах».



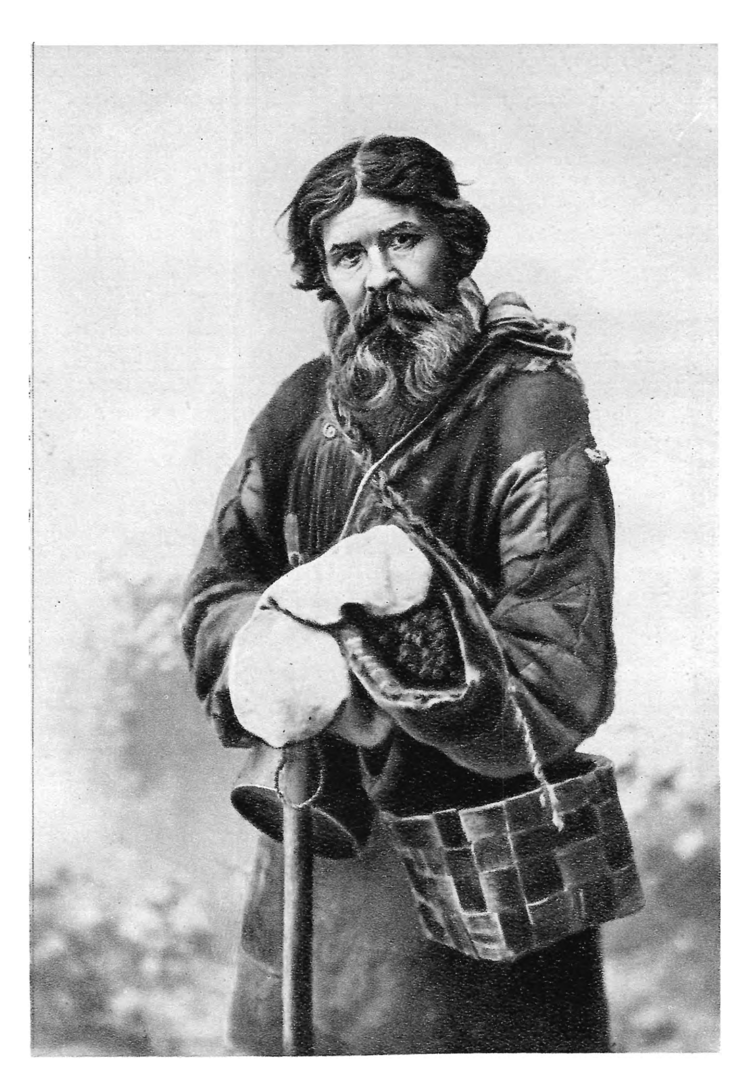
Охотники-пластуны

К рассказу «В огне».



Алексей Владимирович Ухтомский

К рассказу «Вихрь».



«Суслик»